

ВАЙНШТЕЙН ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

## Предисловие

Несколько лет тому назад мой брат Аким просил меня записать для него все, что сохранилось в моей памяти о наших покойных родителях, так как отца он не помнит, а от матери уехал в семилетнем возрасте. Действительно, отец наш скончался, когда Акиму было около трех лет, и в его памяти сохранились лишь один-два момента, не имеющие общей связи. Я не мог отклонить просьбу брата и выполнил его задание - даже шире, чем намечал, но, конечно, не без определенных усилий. Сознывая необходимость дать моему младшему брату возможность знать, как говорится, кто и что мы, я всячески пытался превозмочь все затруднения. Обладая определенным навыком водить постоянно пером по бумаге, я часто пишу, и получается более или менее складно, если не считать свойственного мне по природе многословия.

В полученных сегодня, 18 июля 1934 года, в Новосибирске московских газетах напечатаны краткие воспоминания народной артистки Книппер-Чеховой об Антоне Павловиче Чехове к тридцатилетию со дня его смерти. Ничего особенного газетная статья Книппер-Чеховой не представляет, да и пером она владеет так же, видимо, слабо. Но как память о великом Чехове статья интересна и толкнула меня на такое размышление: "Если Книппер, прожившая с Чеховым около четырех лет, теперь, спустя тридцать лет, вспоминает об этом с умилением, то мой долг, моя святая обязанность записать для моих детей, как жила и умерла их мать, великая своим трудом и подвигами". Короче говоря, чтобы дети знали "как это было..." со слов отца. Если я, правда относительно, выполнил задание брата Акима, то

отчего не попытаться выполнить второе обязательство - воздать дань уважения и преданности светлой памяти нашей мамочки, прожившей со мною около 43 лет?

Сознаю, понимаю - эти краткие записи не являются полным биографическим повествованием о нашей семье. Это лишь отрывки отдельных воспоминаний, сохранившихся в моей памяти; беглый, краткий рассказ о некоторых эпизодах из истории нашей семьи. Наконец, мне, прожившему столь долгую жизнь, есть что рассказать. Это мой долг, моя обязанность. Буду писать как могу, как умею. Надеюсь, дети меня не осудят. Новосибирск, 18 июня 1934 года.

Г.М. Вайнштейн.

"Не говори с тоской - их нет!

Но с благодарностью - были!"

В.А. Жуковский

"Не говорите мне: "он умер", - он живет.

Пусть жертвенник разбит, - огонь еще пылает.

Пусть роза сорвана, - она еще цветет,

Пусть арфа сломана, - аккорд еще рыдает!.."

С.Я. Надсон

"Как в море льются быстры воды, Так в вечность льются дни и

годы".

Г.Р. Державин

## ■ Детство, учеба

### Детство в еврейском местечке, дедушка

Я родился 15 апреля 1862 года по старому стилю в городе Староконстантинове бывшей Волынской губернии Юго-Западного края, в прежней черте еврейской оседлости, в семье еврея Шмил-Мордхе Вайнштейна, отец которого, Ицхок Вайнштейн, происходил из торговой среды местечка Корец, кажется, того же Староконстантиновского уезда. В настоящее время местечко Корец находится в пределах Польши.

Не знаю, как и чем торговал мой дед Ицхок Вайнштейн в Корице; не слышал никогда в семье отца разговоров о том, почему дед переселился в Староконстантинов, где он оказался владельцем мануфактурной лавочки на базаре и "заезжего дома" (номера для приезжающих) на Маджибожской улице.

Смутно припоминаю деда Ицхока сидящим в кресле. На голове типичная еврейская ермолка, в руках едва дымится длинный чубук. Длинные типичные пейсы спускались завитками почти до усов; белая как лунь борода, аккуратно причесанная, закрывала грудь, шею. Худой, болезненный дедушка, надо полагать, уже не работал, ограничиваясь сидением в кресле, сосанием чубука-трубки. Хозяйством и всем домом заправляла бабушка Хайя-Кейла - худая, суетливая старуха, успевавшая справиться с хозяйством, лавкой, заезжим домом, обмыть, одеть, обусть своего старика, приласкать внучат. По сие время помню ее печенье: вкусные миндальные крендельки, которыми она угощала внучат, обычно в субботу. Меня, как младшего, она ласкала больше

других. Все знали лишь ее - "паню Вайнштейнову", как ее величали польские паны, приезжавшие из своих деревень в город и пользовавшиеся заезжим домом бабушки, чтобы отдохнуть, накормить и почистить лошадей.

Когда она скончалась - не знаю.

Дедушка Ицхок скончался 102 лет от роду, приблизительно в 1867 году, когда мне было около пяти-шести лет. Дом, лавку и все имущество деда Ицхока и бабушки Хайи-Кейлы унаследовали четыре сына (мой отец старший) и две дочери. Дом взял мой отец, лавку - брат отца Иосиф. Остальные наследники по обоюдному согласию получили свои доли наличными деньгами.

По рассказам моих старших братьев, деда нашего считали в городке "атеистом". Ставлю слово "атеист" в кавычки, так как, глядя теперь на фотографическую карточку этого "вольнодумца", родившегося в XVIII веке и росшего в районе старого еврейского гетто прежней Польши, в той среде, мне не ясно, непонятно, как он мог, даже формально, не выполнять некоторых обрядов еврейской веры. А это фактически было именно так, как передавали мои старшие братья Иосиф и Лазарь, очевидцы поступков деда. Так, например, дед не только открыто поднимал на смех, вышучивал, будучи в 100-летнем возрасте, самозванных еврейских рабби, но - о ужас! - даже курил в субботу, что среди местечкового еврейства того времени считалось необычайно тяжким грехом, преступлением.

Мало того, на смертном одре, за несколько минут до своей кончины, этот 102-летний старец, будучи в здравом уме и твердой памяти, - а это, как на грех, было в субботу, - попросил дать ему "последнюю трубочку". Мой старший брат Лазарь, находившийся тогда на дежурстве у одра больного

деда, исполнил его желание. Дедушка Ицхок, рассказывал брат Лазарь, с наслаждением пососал чубук и тихо скончался.

Таким образом, надо как будто считать установленным, что "атеизм", точнее отказ от религиозных обрядов, обычаев веры, начал тлеть в нашей семье очень давно. Да, очень давно, еще в крови моего деда Ицхока, родившегося в царствование Екатерины II приблизительно в 1765 году, т.е. до Великой французской революции, задолго до знаменательной западноевропейской "эпохи бури и натиска". Фотографии бабушки Хайи-Кейлы не осталось. И никогда не было. Почему? Еще в детстве я слышал не раз такие объяснения. Глубоко и искренно веровавшая (за себя и деда, очевидно), эта еврейка опасалась, чтобы после смерти потомки не превратили ее фотографический снимок в святыню или нечто подобное для поклонения. "Не глядели бы на меня, - как она не раз говорила, - как на Матерь Божью".

Необходимо пояснить, что "божественность" происхождения Христа от Девы Марии находилась у евреев под большим сомнением, чтобы не сказать более. Евреи свято чтили заповедь библейскую: "Не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему". Иными словами, бабушка Хайя-Кейла не хотела, чтобы ее потомки не глядели когда-либо на ее фотографию, как на презренную евреями икону.

Таковы были мои предки по линии отца.

О предках матери знаю весьма мало. Моя мать, урожденная Лысая, росла у своих родителей в местечке Острополь, кажется, бывшей Подольской губ. Чем они занимались - не знаю. Об этом как-то при мне не было речи, а, может быть, я и забыл. По первому браку моя мама, как она рассказывала, была замужем за каким-то "святошей", занимавшимся

исключительно изучением талмуда. О своем первом супруге мама вспоминала с омерзением, как о ханже. После рождения первого ребенка она с ним развелась и вышла замуж за моего отца, незадолго до этого овдовевшего после смерти первой жены. У отца было шестеро детей от первого брака, да мама привела свою дочку Эстер-Рухел от первого брака. Образовалась большая семья с малыми средствами для существования даже в масштабе мизерного городишка в черте еврейской оседлости. Как видите, дети мои, предки вашего отца не были голубоглазыми арийцами. Правда, не по мартовским котам и не по гусиному крику, как говорили в старину, познается Капитолий. А все же это надо знать не только для того, чтобы суметь понять ненависть евреев к "гоям" (христианам), поклоняющимся "малцеру" (байструку, незаконнорожденному), и столь же звериную ненависть христиан к "жидам пархатым", "христородавцам", но и чтобы вы, дети мои, могли проникнуться должным уважением и преданностью к светлой памяти незабвенной мамочки вашей, сумевшей много лет назад в обстановке Сергеевки отрешиться от всех предрассудков, чтобы стать моей женой и вашей матерью.

Итак, продолжаю прерванные воспоминания о былом.

Мои родители занимали маленький домик, состоявший из трех комнатшек, недостаточных для столь обширной семьи с взрослыми дочерьми и сыновьями от первого брака. Если к этому присовокупить, что мама моя рожала почти каждый год, то будет ясно, насколько наша семья была стеснена в плане жилплощади и почему отец стремился купить у своих братьев дедовский наследственный дом. Мама рожала совершенно здоровых ребят, сама всех кормила грудью, однако дети почему-то повально умирали в

возрасте около года. Были слухи, будто мама "присыпала" детей, т.е. неосознанно во сне наваливалась на ребенка ночью во время кормления грудью и младенец задыхался. Эти слухи очень обижали маму, она их называла вздорными, не заслуживающими внимания. Все же необходимо отметить, что моя мама, будучи три раза замужем, родила 24 раза, но выжили лишь четверо, а остальные, повторяю, умирали в возрасте до года.

От этого второго брака родителей я был старшим ребенком в семье. Меня баловали как первого уцелевшего и выжившего после умерших моих сестер и братьев. Наше семейное предание гласит, что по настоянию матери я был назван при ритуале обрезания именем какого-то необычайного праведника. Действительно, имя Герш (в переводе - олень) встречается реже Авраама, Исаака, Якова и других библейских имен. Почему Герш пользовался таким почетом - не знаю. Моих же стараний в том, чтобы не только поддержать, увеличить столь высокую репутацию, не было ни капли. Я рос и остался неверующим. Для спасения меня от гибели глубоко веровавшая мама не ограничилась тем, что назвала меня таким именем. Требовалось еще уберечь меня от дурного глаза. Для сего по чьему-то совету мама прибегла к еще двум средствам: приспособили правое ухо для ношения серьги и, чтобы окончательно, бесповоротно уберечь меня от наваждения бесов, от них скрыли мое настоящее, святое имя и назвали в домашнем обиходе ласкательной кличкой Бузя, Бузинька. По существу, это ласкательная кличка любимого ребенка, а по значению - ловкий маневр, чтобы обмануть нечистую силу, беса. Мол, будешь искать для своей пакости Герша, так накася, выкуси:

у нас такого нет, а есть Бузя, Бузинька. Сконфуженный бес и уйдет тогда несолоно хлебавши.

Так и случилось: я не только не погиб в младенчестве, а дожил до глубокой старости. Так удалось околпачить, выражаясь грубо, нечистую силу. Прекрасно помню себя в возрасте трех-четырёх лет от роду. Отец, мать, братья, сестры - все меня ласкали, баловали. Няни не было.

Я уже упомянул, что у нас в доме жила дочь моей матери от первого брака, Эстер-Рухел. На ней, на Эстер-Рухел, моей, как это называлось, единоутробной сестре, лежала главная забота обо мне, так как лишь ей мама доверяла целиком и полностью. Она меня умывала, купала, причесывала, укладывала спать, одевала, рассказывала первые сказки. Если говорить о нежной детской любви к кому-либо, кроме родителей, то я должен и обязан назвать прежде всего Эстер-Рухел, которую по сие время вспоминаю с умилением.

Забегая вперед, не могу не вспомнить два дальнейших эпизода. После смерти моей мамы в 1885 году меня вызвали в Староконстантинов, где объявили словесную, личную волю покойной: чтобы мы поделили между собой добровольно, по обоюдному согласию ее имущество. Эстер-Рухел уже была замужем, имела детей, я работал на железной дороге и был сравнительно обеспечен. Я решил хоть в некоторой степени отметить мою признательность и отказался от своей доли наследства в пользу ее детей.

Другой случай, мелкий, но более характерный, имел место много лет спустя, когда у меня были свои дети-подростки. Эстер-Рухел и ее старший сын обратились ко мне с пространной просьбой после весьма длительного, случайного перерыва письменных сношений между нами. Не было возможности полностью исполнить их просьбу, о чем я

совершенно откровенно сообщил, посылая ей свою фотографическую карточку с надписью: "Ей Богу - Бузя". Эта надпись так тронула мою сестру, что, как сообщил мне ее сын, она "не расставалась с этой карточкой, обливала слезами восторженной радости снимок того, кого она любила больше своих детей".

Возвращаюсь к последовательному изложению. Каковы были материальные средства отца? Надо полагать, весьма ограниченные для столь большой семьи, как наша. Братья учились вне дома: Иосиф в Житомире, Лазарь в Ровенской гимназии. Почти ежегодные роды матери и беспрестанные похороны новорожденных - все это было сопряжено со значительными расходами. Отец по своей природе был расчетлив и чрезвычайно заботлив о черном дне. Не ручаюсь за точность, но если память мне не изменяет, отец давал матери на базарные расходы полтора рубля в неделю. Конечно, в конце шестидесятых годов все было дешево в нашем глухом городишке с населением в 10-12 тысяч человек, но прокормить такую семью на полтора рубля в неделю кажется теперь чем-то диким, неправдоподобным. А между тем приблизительно так. Позволю себе некоторое сопоставление.

Мне было 28 лет, когда у меня в семье праздновался первый год рождения моей старшей дочери, Лели. Это было в 1891 году. За первые туфельки для Лели, на кожаной подошве, в Курске уплачено было 20 копеек. Теперь такие туфельки для годовалого ребенка стоят около 9 рублей. Как говорили, "скупость - не глупость" - чрезмерная бережливость отца пригодилась и мне. Припоминаю такой случай.

Мне было около пяти-шести лет от роду. Кто-то подарил мне необычайно больших размеров апельсин. Надо было

поделить его поровну между всеми членами нашей семьи. Притом это надо было сделать не в каждодневной, так сказать, обстановке, а в праздничный день. Время шло, и когда, наконец, спохватились делить апельсин, он оказался испорченным, и его пришлось выкинуть. Многие мои близкие считают этот эпизод "варварским". Я же думаю, что случай с апельсином имел известное воспитательное значение, тренировал волю - надо было ограничить свое стремление съесть вкусное сейчас, немедленно, сегодня.

Мама моя - разумная, образцовая хозяйка, работавшая по целым дням не покладая рук, чистюха, обшивавшая с помощью своих взрослых падчериц всю семью, - как ни странно, не могла равнодушно глядеть на огонь в печи, в костре. При виде зарева пожара мама падала в обморок, и эту боязнь огня передала мне: я боюсь горящей лампы, примуса, не говоря уже о жаре в печке. Мне всегда во всем мерещится пожар и его последствия. С малых лет я на ночь аккуратно складываю в определенном порядке платье, белье, ставлю в определенном месте и порядке обувь, вешаю пальто, шубу, шапку на определенную вешалку, всегда в одном месте, чтобы в случае возникновения пожара я мог полностью одеться в темноте с наименьшей затратой времени. И я так к этому привык, что почти никогда ничего не ищу: всякая мелочь, даже булавка или иголка, должна иметь свое место - даже помимо пожарных соображений. Так меня родители воспитывали, за что, конечно, не могу не быть чрезвычайно признателен. Этот жизненный строй мне не раз пригодился, и по этому поводу я бесконечно вспоминаю маму и папу с умилением.

Возникает невольно вопрос: откуда эта пунктуальность или немецкая, как говорят, аккуратность в той еврейской

среде, в которой я рос? Мне кажется, ответить надо так: отчужденность от культуры, бесправность, объект для чиновной эксплуатации (взятки, поборы, безнаказанные притеснения) выработали в еврействе не только отрицательные качества: хитрость, изворотливость - как реальные средства для самозащиты, но в некоторых слоях еврейства, в либеральную эпоху шестидесятых годов XIX века, когда я рос, стали появляться уже не только культурные, грамотные люди - врачи, адвокаты, но и начала зарождаться еврейская интеллигенция, выделявшаяся среди мракобесов и религиозных фанатиков правдивостью слова, честностью, аккуратностью и чрезмерной бережливостью к каждой своей копейке, заработанной тяжким трудом. Если чрезмерную бережливость можно отнести к отрицательным качествам, то во всяком случае оно не было во вред окружающим, а лишь себе. К таким людям принадлежали мои родители, так они меня воспитывали, и таким я остался на всю жизнь.

Припоминаю такой детский эпизод. Напившись горячего чая, я незаметно удрал на каток. Вечером появилась температура, ночью бред, а к утру больно стало глотать, пропал голос. Естественный переполох в доме: Бузя болен, Бузе хуже, с Бузей неладно. Имя Бузя склоняли во всех падежах со страхом и трепетом. Необходимо заметить, что незадолго до этого погиб один из моих младших братьев, по кличке Буня. Я его поныне прекрасно помню. Здоровый, толстомордый, жизнерадостный мальчишка в возрасте около года с небольшим проболел несколько дней и скончался неожиданно. Эта потеря была так свежа в памяти всех. Приятель моего отца, старичок - доктор Ярошевский, стал навещать меня каждодневно по два-три раза. Ярошевский объяснил моим родителям и причину

заболевания: нет, мол, должно присмотра за сорванцом Бузиной. Ничего удивительного, что заболел. Подумать только: напился горячего чая, кое-как накиннул тулупчик и в таком виде больше часа на катке орал, дрался, катался, валялся на льду и т.д. Да тут сам Геркулес заболит, а не только ребенок. Напугал он, видимо, моих родителей так, что дальше некуда. Передавали, что болезнь моя протекала очень тяжело, будто я при высокой температуре долго бредил, был без памяти. Родители были в отчаянии. Наконец-то произошел перелом - я стал поправляться. Ярошевский продолжал бывать ежедневно, сам поил меня лекарствами, ставил компрессы. Признательность отца и матери к доктору достигла апогея, когда Ярошевский разрешил мне встать. Денег за лечение пан Ярошевский с нас не брал, будучи чем-то обязан отцу. На вопрос моих родителей: "Что меня спасло?" - пан Ярошевский ответил: "У Бузи горло широкое, это его спасло, а то он бы задохнулся. Теперь от вас зависит беречь Бузинку от простуды".

Это врачебное и приятельское поучение передавалось в нашем доме из уст в уста, и отец решил: "Хорошо, будем беречь Бузю - чаю ему больше не давать". Слово отца было твердо, и мне чая не давали несколько лет подряд, заменив его кипяченым остуженным молоком и особой дотацией по одной копейке за каждый стакан чая. Так как у нас дома чай подавали не только утром и вечером, но и после обеда, то отец ежедневно сам записывал размер моих чайных доходов. Текущий счет хранился под замком в письменном бюро отца, там же, в строго определенном месте, хранились и наличные деньги (медяками), которые мне предоставлено было расходовать на "что угодно". На свои деньги я покупал конфеты, переводные картинки, яблоки и т.д. Конфеты

продавались по копейке за две-три штуки, яблоки по грошу (полкопейки) штука. Цену переводных картинок забыл. Был случай, когда мама сделала "внутренний заем", и это было отмечено отцом в моем текущем счете. В общем, у меня всегда были сбережения, так как я расходовал деньги экономно. Я не был скуп, но бережлив. Точно не помню, но замена чая молоком длилась несколько лет. Сначала мне это было неприятно, но, поощряемый похвалой пана Ярошевского, привык, втянулся и даже гордился этим. Ярошевский бывал у нас в доме не только как врач, но и запросто. Между прочим, он говорил только лишь польски, будто в отместку за какие-то репрессии при подавлении польского восстания 1863 года. Мои родители владели польским языком и объяснялись с Ярошевским свободно, но когда кто-либо из братьев или сестер случайно обращался к доктору с вопросом по-русски, Ярошевский отвечал руганью по-польски или же молча отворачивался.

После тяжелой болезни я быстро поправился, и жизнь вошла в нормальную колею. Правда, я оставался всеобщим баловнем, но в вопросах воспитания отец вел строго спартанскую линию, без малейших уклонов. Так, например, стригли меня зимой и летом настолько коротко, чтобы и кончиками пальцев нельзя было за волосы взять; о шубе, шарфе, калошах я не имел понятия, и мама не смела заикнуться об этом; утром умывался сам лишь холодной водой, подставляя стриженую голову под холодную струю, коей обильно растирал шею и грудь. Не знаю, было ли тогда известно отцу водолечение по системе Кнейпа, но меня постоянно поощряли бегать босиком после дождя. Обувь и платье, которые я обязан был сам чистить, полагалось беречь, что, однако, не препятствовало мне, как передавали,

быть большим сорванцом, являться нередко после уличных драк с мальчишками в растерзанном виде. На обычные вопросы мамы: "Где порвал штаны?" - я трафаретно отвечал так: "Не знаю, иду мимо пустого дома, гляжу - штаны порваны". Этой вольной или невольной шуткой домашние меня изводили долго, когда я уже умел беречь целостность штанов.

"Пустой дом" прекрасно помню. Кто-то когда-то строил большой дом, но не достроил. Большая часть начатой постройки оставалась пустой, мрачно глядела на прохожих. Конечно, не обошлось без легенд о нечистой силе в "пустом доме", которой к ночи пугали малышей.

Маму всегда можно было видеть только лишь за работой: что-то шьет, чинит, вяжет, поправляет или возится на кухне со стряпней. Сама убирала комнаты, подметала полы, вытирала пыль. Словом, делала в доме и по хозяйству все сама, при наличии работниц. Одного моя мама не могла превозмочь - готовить в русской печи. Из-за огня.

Почему? - может вспыхнуть, возникнет пожар и т.п.

Отец внушал мне внимание к окружающим, предупредительность, вежливость. Помню такой случай. Кто-то подарил мне кнутик со свистком. Кнутик быстро размочалился, пришел в негодность. Я поднял рев, требуя покупки нового кнутика. Отец толково, разумно объяснил мне, почему кнутик так быстро испортился, и сказал, что рев ничего не даст. Надо, мол, добыть веревку и попытаться самому сделать кнут, не такой маленький, а большой, длинный, как у нашего пастуха, чтобы хлопал с треском. Вот это будет забавно.

Не помню, помог ли мне кто-либо, но такой самодельный кнут по местному образцу польского кучерского бича

оказался у меня в руках. Моей радости не было предела: треск и хлопанье бича раздавались громко, обращая всеобщее внимание. После этого мне уж не стоило особого труда самому смастерить второй такой кнут, затем третий, а отец, пользуясь каждым случаем, внушал мне, что не те несколько копеек важны, на которые можно приобрести в лавке кнутик, а важно умение при необходимости помочь себе своим трудом, своими силами. Я как-то потерял пуговицу от костюма, и у меня обнажилось тело в неудобноназываемом месте. Я заревел, а мама никак не могла найти соответствующей пуговицы по качеству и размеру. Что делать? Конечно, реветь. "Какой же ты мужчина? - сказал мне отец, - ревет, точно пьяная баба". И пошел, и пошел отчитывать, срамить. В общем, его наставления в тот раз и в дальнейшем сводились к тому, что терять пуговицы не следует и нельзя. Всякий аккуратный человек, убеждал он меня многократно, должен следить за собой и своим костюмом. Если ослабла пуговица, немедленно ее укрепить. Если что надорвалось, сейчас же просить маму или сестру зашить, заштопать.

Эти поучения повторялись беспрестанно, всячески, всегда. Мало того, отец своим личным примером показывал образец такого бережного отношения к своим вещам. В конечном счете я научился пришивать пуговицы, сшивать тетради, беречь свою обувь, платье, книги и все остальное. В возрасте 10-12 лет я сам метил свое белье. Неважно, но все же лучше, чем без всякой метки. Простыня с такой меткой у меня сохранялась и после моей женитьбы, и на этой простыне спали мои дети.

Все привитое мне моими родителями я высоко ценю и поныне: и аккуратность, и бережливость, и чистоту, и

опрятность, и любознательность, и стремление к овладению знаниями. Этих качеств у меня меньше, чем у моих славных покойных родителей, но что-то потомственно сохранилось во мне. Все хорошо - кроме, конечно, беспричинной боязни огня в лампе, печке, примусе и т.п. Боязнь огня во мне столь велика, что не могу не вспомнить курьез, имевший место, когда мне было 25 лет от роду.

На станции Курск, где я тогда работал в передаточной конторе, построили новое здание, впервые с теплой уборной, проточной водой. Уборная, без окон, находилась в темном углу здания, поэтому днем и ночью освещалась лампой. Как-то случилось, что я неудачно повернул дверной ключ, у которого отломилась бородка, и я, оставшись в уборной, не мог открыть дверь. Пока услышали мой стук да позвали слесаря, я все глядел со страхом на мирно висевшую лампочку. Мне все казалось, что вот лампа вспыхнет или упадет и я сгорю живьем. Никчемный ужас такого пылкого воображения был столь велик, что у меня буквально поджилки тряслись, пока слесарь возился с замком. Когда открыли дверь, все обратили внимание, как я был бледен. Вот он - потомственный страх огня.

Не знаю почему, но в детстве я мечтал о военной карьере, маршировке, даже участии в военных походах. Играл, конечно, в солдаты. Кроме обычных детских увлечений "солдатиками", эта страсть к муштре могла у меня, полагаю, возникнуть под впечатлением тогда еще свежих рассказов о Севастопольской кампании, героев коей можно было видеть на улице, на базаре. Наконец, под впечатлением рассказов о польском восстании 1863 года. Если оборона Севастополя была от нас сравнительно далека по времени и пространству и сохранились лишь устные

предания, то польское восстание было еще свежо. Ведь оно произошло вот-вот, недавно, так сказать на глазах населения Юго-Западного края и нашего городка, где шли кровопролитные, жестокие, бои. Я этих боев не помню, мне было тогда полтора года от роду, но рассказы очевидцев сохранились в моей памяти настолько, как будто я сам принимал участие в боях.

Отец пытался остудить мой восторженный пыл, но не всегда удачно. Я и сейчас не могу определить, были ли тогда мои личные симпатии на стороне повстанцев или правительственных войск, жестоко усмирявших восставших поляков. В этом тогда не отдавал себе отчета: мне нравились бои, стрельба, нападения, победоносные шествия вооруженных людей - и только. В то же время я изводил старших недоуменными вопросами: отчего, почему, для чего убивают людей, как маневрируют, чтобы уничтожить противника. Если, мол, днем, то все видно и никакая хитрость не удастся, а если ночью, когда темно и все спят, - ничего не увидишь. Со слов отца я уже знал легенду о Троянском коне.

В конечном счете, жалея людей, я предложил отцу такой компромисс: нельзя ли научить солдат так ловко стрелять, чтобы пули противников сталкивались между собой на лету, не достигая мишени? Убийство людей на войне не входило тогда в активный план моего воинственного мышления: я хотел победы над живыми, а не мертвыми людьми. Моя идея, видимо, понравилась отцу. Не дав мне исчерпывающего ответа, отец предложил не забыть это предложение, когда вырасту большой. Вот я сейчас, спустя семьдесят лет, вспомнил о своем миролюбивом предложении. Не поздно ли?

Наблюдая мою бережливость, а может быть, и скупость, мои дети и внучата спрашивают: ел ли я сласти в детстве и часто ли? Отвечаю: да, ел, но не каждодневно, а, так сказать, при подходящей okazji - в праздничные или иные, особо отмечаемые в семье дни. Давали иногда конфетку, чаще - варенье, медовые пряники или что-либо в этом роде. Отказа не было, но мне внушали, что жизненные условия рассчитаны не на празднества, а на труд; что сласти - не еда, а лакомство; что кушать, а не жрать, надобно прежде всего необходимое, полезное: суп, щи, жареное и т.п., а затем уже сласти, если таковые имеются.

По бытовым условиям евреев того времени сладкое полагалось лишь в субботу, когда готовили на меду или сахаре так называемый "кугель" - нечто вроде лапшевника. Хотя мой отец, живя в окружении местечкового еврейства, соблюдал обычаи старины, все же специфическая бытовая национальная окраска порядком уже полиняла. Дедовский "атеизм" к тому времени пустил в нашей семье глубокие корни, но "для вида", как я уже писал, соблюдались еще многие обычаи. Если мои старшие братья, учившиеся в средних учебных заведениях, свободно брили бороды, стриглись коротко, ели без разбора то, что воспрещалось еврейскими законами, а сестры читали романы, говорили свободно по-русски и по-польски, бравирюя таким "вольнодумством" открыто, то отец всячески старался "не дразнить гусей", насколько это было возможно. Надо полагать, он сознавал необходимость не только самому вырваться из замкнутого круга, но и вести людей за собой, что ему, как представителю местного еврейства, нередко удавалось. А этого можно было достигнуть не насилием или

пренебрежением, а иным образом, выполняя, при этом хотя бы лишь для вида, главные религиозные и бытовые обряды.

В то печальной памяти время население Юго-Западного края глядело на евреев, как на скотов, не считалось с людьми. Отцу приходилось лавировать между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, развенчивать некоторых местечковых рабби, а с другой - выполнять необходимые обряды. Поэтому, когда в конце 60-х годов XIX века выходила замуж моя старшая сестра, то свадебный обряд состоялся, как тогда было принято, под хупой в синагоге. Моя мама приходилась невесте мачехой, что обязывало ее заменить родную мать и соблюсти все религиозные обычаи до мелочей. Так и было. Обряд начинался расплетением кос девушки, плачем до истерики о тяжелой женской доле и, наконец, причитанием нараспев о том, что тут также присутствует незримая тень покойной матери плачущей невесты. Я внимательно наблюдал за всем, стараясь впитать виденное и слышанное. На все мои вопросы получал от отца ответы: "так надо, так принято", еще более разжигавшие мое детское любопытство. Наконец, нудная канитель закончилась, музыка заиграла что-то торжественное, не плаксивое, и все отправились к синагоге, где состоялся свадебный обряд под хупой. Общее настроение было торжественно-сосредоточенное, и тут произошел эпизод, фотографически сохранившийся в моей памяти поныне.

В числе обычных в подобных случаях любопытствующих зевак, стремившихся поглазеть на молодых, оказалась маленькая девочка, невольно загородившая мне дорогу в толпе. Не отдавая себе отчета, я ударил девочку по щеке так сильно, что раздался громкий хлопок, обративший на себя всеобщее внимание. Возникло некоторое замешательство, а

молодые, стоявшие под хупой, естественно, были сконфужены. Отец ничего мне не сказал, а лишь крепко сжал мою руку. Затем, после окончания обряда, когда процессия направилась к дому, отец стал мне объяснять, как стыдны и недостойны драки, и в данном случае в особенности: ведь я ударил маленькую девочку. Стыд и срам! Поучения отца в такой исключительной обстановке произвели на меня потрясающее впечатление.

Мысленно оглядываясь теперь далеко назад, вижу себя, как в зеркале, бойким, шустрым мальчуганом. Меня лелеяли, а мама, кроме того, всячески оберегала от дурного глаза. И сейчас вижу ее милую улыбку, ласковый взор, слышу песенку, которую она обычно напевала у моей постельки. Ведь я не только ее старший сын, уцелевший в критическом годовалом возрасте. Я ее "нахес" - честь, счастье, гордость, по образному еврейскому определению. Почему? А потому, что мальчик - это будущий основатель семьи, глава дома, а девочка, по тем представлениям, - ничто. Затем, мальчик молится об упокоении предков, о прощении грехов умерших родителей. Я помню, как мама напевала у моей постельки, чтобы я рос большой, здоровый, сильный, богатый; чтобы жена народила мне много сыновей, которые будут затем молиться за меня. А чем мне заниматься, как добывать средства к жизни и, главное, наживать богатство? На этот счет еврейский фольклор предвидел определенный путь - торговлю. А чем торговать, дети мои, как полагаете? "Изюмом, в далеких странах". Почему изюмом, а не чем-либо иным, - не знаю. Но из песни слова не выкинешь.

Отец вел свою линию. Евреи не вегетарианцы, говорил он. И если существующий строй создает для евреев условия, в которых "они не могут ни жить, ни подохнуть", то надо

уметь бороться за лучшее будущее. Для этого надо обладать знаниями, добиваться именно приобретения знаний, а не богатства.

Припоминаю такой эпизод. В то время, во второй половине шестидесятых годов, братья Николай Рубинштейн и Антон Рубинштейн были на высоте своей музыкальной славы. Мало того, они были назначены первыми директорами консерваторий в Москве и Петербурге. Если не ошибаюсь, это был первый случай выдвижения на столь высокие административные посты лиц из еврейской среды, что не могло не отразиться на настроении наших единоверцев в черте их оседлости, где, как я уже указал, евреев как будто не считали людьми. Евреи, ограниченные в правах, стесненные в определенной для них черте оседлости, имели право лишь торговать или заниматься кустарным мелким мастерством. Забитые невежеством, они ничем не брезговали ради денег. Евреи не заслужили такого зверского к себе отношения потому, что они прежде всего люди со всеми свойственными им недостатками и достоинствами. Собаку нельзя дразнить до бесконечности, а тут людей травили столетиями, без передышки. Они не имели права свободного передвижения, права учиться и заниматься тем, к чему каждого влекли его способности. Не следует удивляться, что евреи чтити "своих", так или иначе обративших на себя всеобщее внимание талантом, способностями и тому подобными качествами.

Правда, братья Рубинштейны являлись уже "бывшими" евреями, но евреям льстило считать их своими. Затем, у евреев сложилось убеждение, что лишь их национальность дает наиболее способных деятелей музыкального искусства. Мой отец, в числе многих других, чтит славу Рубинштейнов

и не мог не мечтать о такой же головокружительной карьере и славе хотя бы для одного из своих детей. Для кого же?

Конечно, для меня, наиболее любимого Бузи или Бузиньки. Сказано - сделано. Где-то купили скрипку, которую торжественно повесили у моей кровати. Почему скрипку, а не иной инструмент? Точно ответить на такой вопрос затрудняюсь, но полагаю, что скрипичного преподавателя, несомненно, легче можно было найти в нашем захудалом городке; тогда почему-то считали, что лучшие музыканты начинали играть на скрипке, а затем и на других инструментах.

Итак, скрипку для меня приобрели, торжественно повесили в ожидании появления преподавателя музыки. Разговорам, конечно, не было конца. Мама уже предвосхищала мою артистическую славу, считала "второй знаменитостью" после Антона Рубинштейна, хотя, как известно, Антон Рубинштейн никогда не играл на скрипке. Вдруг скрипку торжественно сняли со стены и, кажется, продали за бесценок, разговоры о музыке предали забвению. А случилось вот что. Эту скрипку увидел приятель отца, врач Розенэль (дед артистки Московского Малого театра Розенэль-Луначарской), убедивший отца в том, что музыка препятствует успешной учебе, задерживает умственное развитие ребенка.

Отец, сам увлекавшийся Шиллером, Гете, Мицкевичем, Пушкиным, свободно читавший (или, как теперь говорят, "прорабатывавший") их в подлинниках, мечтавший о своеобразном моем воспитании и развитии любви к книге, быстро отбросил мысль о моей музыкальной славе по стопам братьев Рубинштейнов. И хорошо, что так случилось, - у меня не было музыкального слуха.

Необходимо отметить, что все изложенное в этой тетради относится ко времени пребывания нашей семьи в так называемом "маленьком домике", то есть до переселения в "большой дом", приобретенный отцом после смерти деда Ицхока у братьев сонаследников приблизительно в 1867-1868 годах.

Там же, "в маленьком домике", я постиг первые азы учебы. Отец в числе разных периодических изданий получал также газету "Сын Отечества", выходившую, кажется, в Петербурге. Всякие картинки, портреты храбрых генералов, там печатавшиеся, мне чрезвычайно нравились. Но отец скупно предоставлял в мое распоряжение эти милые моему сердцу листы "Сына Отечества". Он их аккуратно складывал в хронологическом порядке, хранил для каких-то справок, привлекая меня к участию в этой работе. Вскоре я стал знакомиться с цифрами, умело извлекая из пачки тот или иной номер газеты и затем клал его на свое место по поручению отца. Газета выходила ежедневно, кроме послепраздничных дней; значит, за год набиралось более 300 номеров, которые связывались за каждый месяц бечевкой в пачку. Я быстро постиг названия месяцев и, не умея читать, свободно мог достать ту или иную пачку, а из пачки тот или иной номер газеты, так как пачки и газетные листы были сложены аккуратно, что называется, в линейчку, в последовательном порядке.

Наступила осень. Надо было вставить, замазать и заклеить зимние оконные рамы. Эту обязанность аккуратно, тщательно выполнял отец самолично в начале сентября, в разгар "бабьего лета", чтобы, как объяснял он, "окна не потели, не слезились зимой". К этой работе отец привлек и меня. Я подавал замазку, стирал тряпкой пятна со стекол и

т.п. С неделю замазка подсыхала, и в строго положенное время отец, опять-таки сам, нарезал длинные газетные полосы старых номеров "Сына Отечества" для заклейки зимних рам самодельным клейстером. Само собою разумеется, все газетные полосы были одного размера, без малейших повреждений или царапин. На этих оконных полосах старых газет я научился читать, вернее, разбирать по складам буквы, т.к. обрезы полос нередко приходились не только в середине слов, но и отдельных букв. Постепенно я стал не только читать, но отгадывать отсутствовавшие окончания слов. От газетных полос я перешел к газетным листам и стал "политиком", как называла мои достижения восторженная мама. Правда, восторг ее омрачался сознанием, что читать я начал по-русски, а не по-еврейски.

В то время существовали еврейские хедеры, куда мальчиков отправляли для учебы с четырех-пяти лет. Отец противился хедеру и долго меня не посылал туда. Но когда я в этом возрасте уже свободно читал по-русски, меня все же не отдали в "хедер", а сговорились с каким-то большим знатоком Священного Писания для обучения меня, как говорится, "уму- разуму". Я ходил к этому учителю на дом, и он со мной занимался единолично; видимо, я был внимательным учеником, судя по отзывам моего учителя, преподававшего мне около года так называемый Ветхий Завет на древнееврейском языке. В этой книге шла речь о сотворении мира в шесть дней, об Адаме и Еве, их сыновьях Каине и Авеле, Всемирном потопе, Ноевом ковчеге и т.д. Особенно, помню, меня поразило убийство Каином Авеля, родного брата, то, что он продал Авелю за чечевичную похлебку свое первородство и лживо ответил Богу на вопрос: "Где же Авель?" - "Разве я сторож брата своего?"

Я сделал тогда соответствующие выводы не в пользу разбойника Каина. Да и о божественности Всевышнего крепко задумался, если он, вездесущий, всезнающий, обращается с подобным вопросом к спекулянту и братоубийце. На этом мое изучение Священного Писания по древнееврейскому тексту закончилось. Началось обучение русскому языку и письму. Приблизительно к этому времени относится фотографический снимок, на котором я снят с отцом в первых штиблетах и в первой тройке: длинных брюках, жилетке и пиджаке. Правда, произошла, так сказать, "авария": не то я утерял галстук, не то его кто-то забыл прицепить или завязать, но - о ужас! - эту катастрофу обнаружили, когда получили готовые карточки из фотографии. Мама и сестры очень горевали об этом несчастье, а затем успокоились. Карточка эта у меня хранится и поныне - на протяжении 70 лет. Странно, что даже из букв этой рукописи и теперь глядят на меня милые черты покойного отца моего.

### **Учусь писать**

Преподаванием письма занималась со мной какая-то женщина, ежедневно по одному часу, кроме праздничных дней, за плату один рубль в месяц. Да, один рубль за 24 часовых урока, т.е. около четырех копеек за часовой урок. Так ценили тогда начальный педагогический труд с малышами.

На письмо я набросился с увлечением, и занятия пошли как будто вполне успешно. Но вновь произошло событие, причинившее моей первой преподавательнице, да и маме, большое огорчение. Писали тогда гусиными перьями, но

кое-где уже стали появляться стальные перья, начавшие вытеснять гусиные. Детям строго было воспрещено писать стальными перьями - педагоги находили, что эти твердые перья портят почерк. Красивый, ясный, твердый почерк поощрялся и был в большой цене. В учебных заведениях в младших классах были особые уроки чистописания. Такое "вольнодумство", как замена гусиного пера стальным, коснулось и школ, хотя родители и преподаватели противились этому. Но "голь на выдумки хитра". Какие-то мальчишки и меня научили хитроумно вставлять стальное перо в полость гусиного пера. Конечно, преподавательница быстро обнаружила мой фортель. А так как она была глубоко убеждена во вреде стальных перьев, то, чтобы наказать меня, отказалась от занятий, хотя очень нуждалась в заработке. Этот эпизод произвел на меня сильное впечатление, мне основательно попало от отца за обман преподавательницы. Попутно возник вопрос: где я добыл стальное перо? Оказалось, что я его взял без спроса у отца.

Я много раз говорил моим детям восторженно о своем покойном отце. И теперь, заполняя, так сказать, последнюю свою житейскую анкету, не могу не вспомнить о нем без умиления. Он старательно сеял в моей детской душе не только дельное, но и разумное. Если мама, как женщина, мечтала, чтобы я был богат, то отец глядел глубже, ставя во главу угла нравственные основы.

После того как преподавательница прекратила занятия со мной, решили, что заниматься со мной "по всем предметам" будет брат Лазарь. Учеба началась торжественным чтением басни "Муха". Оказалось, что на рогах быка, тащившегося на покой после утомительной работы, сидела муха, объяснявшая встречным бездельникам-мухам: "Мы

пахали". Я увлекся и выучил больше заданного. Захотелось похвалиться. Попросил отца прослушать заученный урок, и получился конфуз. Оказалось, что я читаю без передышки, не останавливаясь на знаках препинания, поэтому я читал "муха бык тащился на покой" и т.д. Отец спокойно, толково объяснил мне значение знаков препинания и преимущество выразительного чтения. Кличка "муха-бык" ко мне прилипла надолго, и домашние нередко дразнили меня этой кличкой, но в то же время и отцовский урок дикции и декламации не прошел бесследно для меня.

### **Дискуссия об употреблении евреями крови христианских младенцев**

Я уже упомянул, что отец получал газету "Сын Отечества". Кроме этой газеты я видал у него на столе нашу краевую газету "Киевлянин", петербургский "Голос" и петербургскую газету на иврите "Гамелиц" известного в то время ученого, еврея Цедербаума (отца или деда меньшевика Цедербаума-Мартова, современника Ленина). О прочитанном отец, конечно, нередко говорил в кругу семьи. Слушал и я. Из событий того времени, по рассказам отца, помню полемику в печати между Цедербаумом и ксендзом Лютостанским относительно употребления евреями крови христианских младенцев для ритуальных целей при печении пасхальной мацы (опресноков). Пожалуй, мои дети никогда не слышали об этом обвинении. Давным-давно существовала легенда, что евреи, распявшие Христа, убивают к своей Пасхе христианского младенца, кровь которого пользуют в тесто пасхальной мацы. Кто сочинил столь глупую легенду, я не знаю, но многие христиане по злобе или невежеству не только распространяли устно эту чушь в народных массах,

но уверяли, что убийство евреями христианских младенцев обязательно на основании каких-то еврейских законов веры.

Среди православного духовенства было немало знавших древнееврейский язык, изучение коего в духовных академиях всегда было обязательным. Стало быть, проверить столь тяжкое обвинение по первоисточникам как будто было нетрудно. Однако рассказывали о судебных процессах, кончавшихся осуждением на каторгу подсудимых евреев лишь на основании необоснованных свидетельских показаний кликуш, неуравновешенных людей.

Либеральная печать того времени, как "Голос", "Вестник Европы" и другие, была, конечно, против подобных иезуитских обвинений, ни на чем не основанных, а черносотенные газеты, не приводя документальных данных, сеяли в народе такую мысль: а кто его знает, ведь не бывает дыма без огня, а глас народа - глас Божий.

В то время вышла брошюра ксендза Лютостанского, еврея по происхождению, пытавшегося доказать на основании каких-то ссылок на текст Священного Писания, что евреи обязательно примешивают в тесто мацы кровь христианских младенцев. Столь веское выступление бывшего еврея, основанное не только на личном убеждении, но и на тексте законов веры, произвело сильное впечатление. Евреи всполошились. При проверке доводы Лютостанского не только не подтвердились, а оказались невежественными искажениями, что имел смелость доказать в своей брошюре православный протоиерей Протопопов, известный в то время знаток древнееврейского языка.

Тогда выступил Цедербаум, предложивший Лютостанскому публичный диспут в Петербурге в Академии наук с

участием православного и католического духовенства. Лютостанский не откликнулся на вызов Цедербаума. Ему послали деньги на проезд до Петербурга, заявив, что его будут ожидать год, в продолжение которого он мог бы доказать публично на диспуте, в присутствии православного и католического духовенства, правдивость своих доводов об употреблении евреями, его бывшими единоверцами, христианской крови для ритуальных целей. Лютостанский и на этот вызов не откликнулся.

Тогда он был объявлен евреями в печати провокатором. Дело это приняло громкую огласку. По распоряжению Рима Лютостанского лишили сана. Окончил он свою бесславную жизнь в каком-то монастыре.

Отец много рассказывал об этом, передавая выступления в печати ученых разных национальностей. Осуждая гнусный поступок Лютостанского, он очень страдал за свой народ. Мы, дети, и я в том числе, не могли не воспринять отцовских чувств. Через несколько лет печальному примеру Лютостанского последовал некий Брафман, также крещеный еврей. Брафман выступил в черносотенной печати с рядом статей и заметок против евреев. Брафман уверял, что евреи по своим религиозным убеждениям действительно употребляют в пищу кровь христианских младенцев и, кроме того, занимаясь торговлей, подрядами и т.п., эксплуатируют "святой" русский народ, "сосут его кровь". Выступление Брафмана прошло, насколько припоминаю, менее шумно, но все же причинило евреям, как говорил отец, много горя и страданий. Теперь, при ином государственном у нас строе, когда подобные обвинения уже не могут иметь места, я обязан на склоне лет, так сказать, на краю могилы, убежденно заявить, что ложные, гнусные обвинения евреев в

убийстве христианских детей для ритуальных целей не имеют никакой почвы и являются нелепыми, рассчитанными на невежество масс выдумками.

Что же касается обвинения Брафманом евреев в эксплуатации коренного русского населения, то не могу не отметить, как его поучения отразились прежде всего на его семье, например, на его сыновьях, инженерах путей сообщения. Я с ними встретился уже будучи взрослым. До этого я о них лишь слышал.

В начале 1890-х годов, когда я был начальником станции Золотухино, началась на южном участке Московско-Курской дороги постройка второго пути. К работам приступили на наиболее затрудненных по профилю перегонах, и в первую очередь на перегоне Золотухино-Карасевка. В новых бараках поселились рабочие. Главным подрядчиком по производству земляных работ оказался инженер Брафман. Он сам не работал, а сдавал небольшие участки мелким подрядчикам, наживая денежки без малейших хлопот. Что это - благотворительность, народолюбие или что-то иное?

Но вернусь к истории нашей семьи. В доме моего отца была постоянная толчея. Приходили нередко ксендзы из католического монастыря, для которых отец хлопотал о земле, будто ошибочно конфискованной после польского восстания 1863 года; приходили евреи по случаю горя и радости, для того или иного совета. Отец для каждого находил ласку, доброе слово - все его ценили. Припоминаю такой случай.

## Про раввинов

В Староконстантинове, как в каждом еврейском городке, были два раввина: один, так называемый "казенный раввин", регистрировавший браки, разводы, родившихся, умерших, являющийся официальным у властей представителем еврейского общества; другой раввин, по прозвищу "духовный раввин", разъяснял необходимость тех или иных религиозных треб, главенствовал в синагоге и разбирал, судил, рядил мелкие личные недоразумения между теми, кто к нему обращался. Обычно указание или совет, решение духовного раввина, основанное на толковании Священного Писания (Ветхого Завета) или талмуда, считались обязательными, не требующим возражений. На этом стороны мирились. Но что-то произошло у духовного раввина, с кем-то он не поладил, кто-то на него стал коситься. А так как это было незадолго до перевыборов, то "друзья-приятели" повели в массах агитацию за провозглашение другого раввина, так как этот, мол, "разжирел, зазнался". Было ясно, что раввину "укажут на дверь", т.е. с треском провалят на выборах. Он струсил, всполошился, стал обивать пороги влиятельных людей, но, видимо, нигде не встретил должного сочувствия. Отец в таких делах не принимал участия - "некогда, да и не до того". Он стоял выше этих мелочей, но все же был в курсе всех общественных явлений в городе, его слово было веско. В еврейской местечковой среде мнение общества расценивалось очень высоко, по поговорке: глас народа - глас Божий. Отсюда вывод: если раввина "выставят", это не останется секретом, и его потом никуда не возьмут. А так как нападки напрасны, то необходимо найти выход, чем-либо помочь. С такой отчаянной просьбой, чуть не накануне выборов, раввин

пришел к отцу. "Хорошо, зайдите к вечеру, - сказал отец, - быть может, что-либо сообразим". И сообразил. По его указанию раввин подал кагалу официальное письменное заявление: ввиду предстоящих перевыборов раввин заявляет кагалу, что, проработав на пользу общества столько-то лет, он соглашается в дальнейшем выставить на выборы свою кандидатуру только лишь в том случае, если ему прибавят жалованья, дадут лучшую квартиру и т.д. Если кагал на эти условия не согласится, то он снимает свою кандидатуру и просит освободить его к определенному сроку. Такое официальное письменное заявление раввина, которого стремились прогнать, ошельмовать, произвело ошеломляющее впечатление на главарей оппозиции: пропал весь смысл их действий. Образовались два течения: за и против раввина. Пошли разговоры, пересуды. Люди стали интересоваться мнением по этому вопросу влиятельных людей, к которым обращались за разъяснениями, советом. Оппозиция таяла как снег весной. В результате старый раввин был вновь переизбран огромным большинством, ему дали увеличенный оклад жалованья, хорошую квартиру и еще что-то.

Другой случай, более пикантный, был с казенным раввином, Рислингом, на которого неожиданно свалилось обвинение в том, что он "купался со своей женой". Обычаи и нравы евреев того времени не допускали мысли о возможности подобного. А произошло вот что. В пятницу к вечеру, к концу трудового дня, когда в городе спешно прекращалась торговля, чтобы верующие евреи успели собраться в синагогу к вечерней субботней молитве, по базарной площади и главной улице проехал на единственном в городе извозчике Рислинг с женой. Любопытные евреи

не могли не заинтересоваться этим из ряда вон выдающимся событием: где был Рислинг? Куда, зачем, для чего, по какому делу? Почему с женой, а не один?

Рислинг не может опоздать в синагогу и поручает жене рассчитать извозчика. Женщины, говорят, по своей природе скупы, а тут жена Рислинга торопится, спешит - суббота на носу. Короче говоря, единственный в городе извозчик, "аристократ", недовольный расчетом, решил: ладно, покажу Рислингам кузькину мать. На другой день, в субботу, на досуге, после кугеля "весь город" нашептывал друг другу сенсационную новость:

"Слышали, какой позор? Рислинг купался в купальне с женой. Да, с женой вместе, в одно время. До чего дожили?" "Не верите? Спросите извозчика Лейбу. Он сам видел и привез их оттуда попоздней, чтобы народ не видел".

Так говорили мужчины, а женщины лишь молча краснели, не веря своим ушам. Конечно, извозчик Лейба врал, Рислинги купались не вместе, а врозь. Но пущенная Лейбой клевета уже шагала по городу в различных вариациях, все больше и больше разрастаясь, и вопрос стал так: просить Рислинга уехать из города, подобру-поздорову скрыться с глаз. А если этот развратник, бесстыдник немедленно не исчезнет из нашего богоспасенного города, о, тогда пусть пеняет на себя. Глупый эпизод, созданный фантазией глупого, зазнавшегося извозчика, взбудоражил еврейское общество настолько, что благоразумное меньшинство предложило обратиться к Шмил-Мордхе, к моему отцу. Шмил-Мордхе, мол, человек умный, начитанный, образованный, наш друг и защитник, послушаем его мнение по этому вопросу. Пока длиннобородые, с пейсами горожане наши шли к отцу, они успели размякнуть и растерять часть

своей злобной ненависти к Рислингу. Отцу удалось убедить их, что логика извозчика Лейбы по данному делу настолько дырява, что стоит лишь указать обществу на эти дыры, чтобы облыжное обвинение отпало, - тогда его попросили прийти на общее собрание и изложить свои доводы там. Отец умел влиять на толпу. В конечном счете попало извозчику Лейбе, вралю, фантазеру. Короче говоря, добродетель восторжествовала, порок был наказан. Долго, долго этот глупый эпизод был темой для пространных бесед в нашем городке, и длиннобородые евреи, ухмыляясь, повторяли нередко:

"Ва! Ну и умная голова у Шмил-Мордхе. Ему бы министром надо стать! Не меньше".

- "Да, все это так, - соглашались многие. - Но ведь "из наших" министра не допустят".

- "Почему? А разве первый министр Англии Дизраэли-Биконсфильд не такой же еврей? Чем наш Шмил-Мордхе хуже?"

Необычайная в то время карьера Дизраэли-Биконсфильда, ставшего лордом Англии и первым министром, льстила его бывшим единоверцам.

## **Моя учеба**

Моя учеба подвигалась вполне успешно настолько, что через год брат Лазарь имел возможность похвалиться своими и моими достижениями. Я свободно читал, умел складно рассказать прочитанное своими словами, писал диктант, состоявший из отдельных слов и кратких фраз. Знал, что Пушкин хорошо писал стихи и прозу, но "пушек" не делал; что "конец" - не маленькая лошадка, а окончание

написанного или напечатанного. Словом, по своему возрасту и тому времени считал себя некоторым образом "образованным", о чем не замедлил объявить Айзику-Пайзику, Срулю-больноголовому и другим мальчишкам, с которыми играл в лошадки, перегонки, орехи (азартная еврейская игра). Необходимо отметить, что в раннем возрасте моими товарищами были почти исключительно еврейские дети. Отец, проверив мои познания, прежде всего указал на необходимость научиться писать и читать по-русски без еврейского акцента. Он снял с полки басни Крылова, затем том Пушкина и, указывая на эти книжки, говорил: "Вот у кого надо учиться читать и писать по-русски, а не подражать твоим товарищам Коле Терлецкому и Коле Заячковскому, знающим еврейский язык лучше русского, своего родного. Ты, Бузя, старайся думать по-русски, видеть сны по-русски, тогда ты постигнешь всю прелесть и красоту того, что писали Крылов и Пушкин. Ты будешь жить в иное время, когда, быть может, будут владеть словом лучше Пушкина, лучше Крылова". Эти и иные подобные отцовские наставления я крепко запомнил.

Мама была на этот счет иного мнения. Она считала, что ребенка не следует обременять лишней учебой, и мечтала, чтобы я стал торговцем. Отец, желая, чтобы я владел русским языком в совершенстве, пригласил к нам преподавателя русского языка городского 2-классного училища Тарновского. Тот проверил мои начальные познания, похвалил и потребовал 18 рублей в месяц за часовой урок.

- Почему 18, а не больше или меньше? - спросил Тарновского отец, зная, что в городском училище Тарновский получает 20 рублей в месяц за четыре ежедневных урока у мальчиков и девочек.

- Видите ли, - ответил Тарновский, - расчет простой: 18 рублей в месяц за 30 уроков, значит, лишь 60 копеек за урок или по копейке в минуту. Как будто недорого.

- Конечно, вы вправе ценить свой труд по своему усмотрению, - с улыбкой возразил отец, - но разрешите существенную поправку. Мы решили, что вы будете репетировать моего сына кроме воскресенья и субботы, значит, пять раз в неделю, что составит округленно 22 урока в месяц, а не 30, и на эту разницу увеличивается стоимость каждого урока, так как вы требуете определенную месячную плату в 18 рублей.

- Да, так, - ответил Тарновский, - но у евреев так много денег, что с них не жалко и лишнее взять.

Отец нахмурился и встал, дав понять, что беседа окончена. У меня создалось впечатление, что отец не хотел в моем присутствии говорить с Тарновским о национальной розни и поспешил прекратить беседу. Лишь после поступления в городское училище я стал учеником Тарновского, талантливого педагога, в совершенстве знавшего свой предмет. С тех пор прошло много, много лет. Должен сказать, что только Тарновский заложил во мне прочный фундамент знаний по русскому языку и литературе. И он меня ценил, оставаясь по природе и глубокому убеждению ярким юдофобом.

Между прочим, на свадьбе Тарновского мне пришлось быть в первый раз в жизни в церкви. Обряд венчания совершал дед Тарновского - глубокий старец. Церковный обряд, певчие и вся процедура произвели на меня сильное впечатление.

## О кантонистах

Из событий далекого прошлого припоминаю рассказы матери, сестер, братьев о кантонистах. Рассказы, полные апокалиптических ужасов. Я лично этих печальных эпизодов не видел, но много слышал от очевидцев и затем в дальнейшем мне приходилось встречать бывших кантонистов-евреев или их потомков.

По закону того времени брали в солдаты на 25 лет детей 9-10 лет от роду с тем, чтобы из таких ребят воспитать надлежащих служак царю и отечеству. (Действительная служба считалась не со времени приема, а с 19-20-летнего возраста.) Можно себе представить, как там, вдали от родины, дядьки воспитывали детишек в страхе мордобоя и угнетения, в особенности "жиденят", которых и людьми не считали. По этому вопросу имеется обширная литература. Многие бывшие кантонисты оставили потомству свои воспоминания, полные трепета и ужаса. Те, которых я встречал во время своего зрелого юношества, служили в учреждениях сторожами, рассыльными, полицейскими, городовыми, вспоминая нередко в своих рассказах "минувшие дни". Некоторые, конечно, единицы, очевидно, исключительно талантливые, устойчивые, выдвигались, стали заметными.

Так, например, известный герой Кавказа генерал Гейман происходил из кантонистов. Старейший в Москве пристав Басманной полицейской части Шварцман любил рассказывать, где и как его "взяли", как учили уму- разуму. Из полка он ушел с чином подполковника и попал в московскую полицию лишь по особой протекции.

Когда мне было 8 лет, я увидел как-то у отца блестящего офицера в сопровождении евреев с типичными пейсами и старой женщины. Этот военный, как рассказывал отец, командир какого-то полка, вспомнив своих родных, приехал на родину обеспечить мать и брата. Он купил им дом, дал денег. Эти дарственные от полковника Иванова еврейке Фейгельман юридически оформлял отец. Но, повторяю, такие счастливы попадались редко, остальные кантонисты или погибали, или тянули ляжку на действительной военной службе и затем, на старости лет, в сторожах под лестницей или в дворницкой будке.

Как вербовались кантонисты из среды евреев? Помню такие рассказы. Ежегодно еврейское общество города Староконстантинова с населением около 10 тысяч обязано было "сдать в кантонисты" около 40-50 ребят. Дети купцов и некоторых привилегированных слоев были освобождены от этой повинности, и к этим привилегированным принадлежала наша семья. Ребята, подлежащие призыву, персонально не намечались администрацией, состояние здоровья и фактический возраст призываемых никем не проверялись. А так как никому не было охоты отдавать своего ребенка и на этой почве возникали пререкания, бесконечные жалобы, то какая-то "умная" голова решила этот вопрос проще. В каждом городке были особые "ловцы", которые ловили ребят на улице днем, а ночью брили им головы и сдавали администрации счетом, как сдают кур, гусей или цыплят. Ловцы были вправе явиться в дом в любое время дня и ночи, чтобы искать намеченного ребенка. Можно себе представить, какие сцены разыгрывались при этом. Рассказывали, что матери прятали ребят под подолом, под перинами, в печных трубах, в выгребных ямах, но

искусные "ловцы" знали все лазейки и, конечно, находили ребят. Тогда поднимался вой, крик, как по покойнику, а "ловец", крепко сжимая в объятиях свою жертву, уходил преспокойно, охраняемый полицейскими. Наконец, когда партия была укомплектована, этих малышей с бритыми головами, связанных веревками, "угоняли из города". Если жутко было глядеть на отцов и матерей, то можно себе представить состояние угоняемых, связанных, как воров, малышей, непосредственных жертв этого ужаса, шагавших по тысяче и более верст до места своей гибели. Этими "ловцами" пугали к ночи капризных ребят много лет спустя, когда подобных ужасов уже не было.

Небезынтересно, что "ловцами" являлись евреи же, не знаю, право, за какое вознаграждение. Ясно, какой репутацией пользовались эти "ловцы-молодцы". В нашем городке одним таким "ловцом" был наш случайный однофамилец, и когда этот Вайнштейн в конечном счете попал под суд за какое-то уголовное преступление и его родные обратились к моему отцу за юридической помощью, отец отказал. Это, очевидно, был первый и единственный случай отказа отца кому-либо в помощи.

Прошло много лет. Я давно забыл об этом проходимце. Моих родителей уже не было в живых, сам я стал отцом большой семьи. Старшая дочь Леля была в восьмом классе гимназии, Шура в шестом классе, Володя в четвертом классе. Меня перевели на Урал, и я поселился в Перми. Проходя как-то по одной из центральных улиц города, около базара, увидел такую вывеску:

"Торговля кожевенным товаром Вайнштейна". Не знаю почему, но наличие такой вывески в центре мне было весьма неприятно. Как-то раз я невольно заглянул в раствор этой

лавки, где типичный еврей с длинной седой бородой и такими же пейсами важно восседал в кресле. Я вспомнил печальной памяти "ловца" Вайнштейна, своего земляка. Не он ли? Навел справки - оказалось, что мое брезгливое предчувствие меня не обмануло. Отбыв где-то наказание, этот герой поселился в Перми, удачно стал торговать, даже разбогател, стал домовладельцем. К тому времени ему, очевидно, было уже далеко за 80 лет, имелись взрослые внуки. Один внук был владельцем аптеки, младшие еще учились в средней школе. Стыдно сознаться, но у меня и к третьему поколению этого "героя" было какое-то физическое отвращение, и я всячески старался не встречаться с ними. Без вины виноватые. Но чувство презрения и омерзения к их родоначальнику я был не в силах преодолеть.

### **Впервые оказался в театре**

Приблизительно в восьмилетнем возрасте я впервые оказался в театре. В наш городок приехала на гастроли, очевидно, какая-то бродячая труппа, состоявшая из бывших польских актеров. После польского восстания 1863 года игра на польском языке была запрещена, и голодные артисты быстро переквалифицировались, стали играть русские пьесы в глухих уголках обширного Юго-Западного края, густо населенного поляками и евреями. Они давали у нас "Рука Всевышнего отечество спасала", "Дочь русского актера", "Современная барышня", "Жилец с тромбоном" и еще что-то. Всякими правдами и неправдами я был на нескольких спектаклях. Особо сильное впечатление произвела на меня пьеса "Современная барышня". Точно не помню содержание пьесы, но отдельные эпизоды таковы: молодой еврей бросает свой городишко, уходит учиться. По окончании

университета он собирается жениться на дочери генерала. Об этом и слушать не хочет старый генерал, но в дальнейшем по настоянию дочери дает согласие на этот брак, узнав, что будущий зять уже оставил еврейство и перешел в православие. Этим огорчен отец молодого ученого, мечтавший об иной карьере для сына. В конечном счете и это препятствие преодолено: генерал пытается убедить старого еврея в необходимости предоставить молодым устраивать свою жизнь как им удобней. Будущее, мол, принадлежит не нам, старикам, а молодежи и т.д. и т.п. Ветхозаветный еврей, встречавший всю свою жизнь лишь презрение и ненависть, заинтересованный такой логикой генерала, также дает свое согласие на этот брак. Генерал дружески ведет к себе в кабинет старого еврея, последняя фраза коего такова: "Что-то будет, что только будет? Сам генерал с Янкелем Штейнбергом под ручки, весь свет перевернулся вверх дном: Янкель Штейнберг с самим генералом под ручки!" Эта реплика, под занавес, производила особо сильное впечатление на зрителей. И на меня, конечно.

Через несколько дней я смастерил в дровянике сцену, сняв с петель двери, и предложил ребятам поставить спектакль. Конечно, "Современную барышню". Я знал пьесу наизусть и в книжке не нуждался. Плохо ли, хорошо ли, но спектакль состоялся. Я играл генерала, а Соломон Шефтель, впоследствии известный фотограф, исполнял роль Янкеля Штейнберга. Больше всего наши зрители хвалили мою игру: "Бузя - настоящий генерал, ничуть не хуже Богуцкого. Ей Богу". (Богуцкий - артист, исполнявший роль генерала в театре.)

## Помню первую керосиновую лампу

Помню первую керосиновую лампу, вернее, лампочку. Отец был, кажется, в Житомире и оттуда привез это чудо из чудес, жестяную лампочку для коридора. Не знаю, где добыли керосин, но лампу заправили, зажгли и водворили на место. О столь необычайном событии быстро узнал "весь город", и народ валил глазеть на новое чудо. Еврейская любознательность, завистливость, предусмотрительность, хвастовство, гордость избранного Богом народа сказались в суждениях о первой, невиданной до того времени, керосиновой лампе.

- Да, это что-нибудь за-а-а-а-а-мечательное! Светло, как днем при солнце! Даже в глазах рябит. А кто выдумал такое чудо? Наверное, еврей, изучавший талмуд? Не иначе. Только лишь еврей способен сообразить, что мокрое (керосин) может гореть.

- Позвольте, - посмел заметить кто-то из ребят, - но ведь масло тоже мокрое и промасленный фитиль также горит.

- Ты большой дурак, - ответил мальцу длиннородый, - масло кушают, а керосин нет. В этом вся штука. Понимаешь?

- Нет, не понимаю.

- Поэтому я и говорю, что ты дурак.

Такие или приблизительно такие суждения я слышал в детстве по поводу первой керосиновой лампы, которую у нас в доме долго осматривали, оценивали, щупали, гладили. От посетителей не было отбоя весьма долго. Лампа имела бы более значительный успех, если бы не керосин, названный каким-то глупцом "трефным", т.е. которым евреи по закону веры не могут пользоваться.

Прошло несколько лет, ламп появилось много, у нас в доме их было несколько, на них перестали обращать особое внимание, лампа стала насущной потребностью в каждом доме. Лишь мой отец не пользовался лампой для работы. Он находил, что сильный свет керосиновой лампы вреден его зрению. Он работал у себя в кабинете только лишь при двух стеариновых свечах.

### **Как проводили у нас первый телеграф, 1870 г**

Припоминаю, как проводили у нас первый телеграф, приблизительно в 1870 году. Конечно, пошли толки, разговоры: что такое телеграф, кто его выдумал? Почему проволока подвешивается на высоких столбах, когда, если уж необходимо высоко подвесить провод, можно использовать крыши домов, сараев, наконец церковную колокольню? Еврейский пытливый ум не мирился с шаблоном. Возобладало прутковское "объять необъятное" сейчас, немедленно, тут же. Разве мог местечковый, деловитый, всегда сообразительный еврей примириться с тем, чтобы тут же, немедленно не знать, кто и каким образом может передать телеграмму не только в соседний, ближайший город, но "даже в Петербург". По субботам, на досуге, у телеграфной линии собирались, что называется, стар и млад для научно-наивных суждений. Выдающихся людей всяких поприщ дает человечеству лишь еврейство, считали они, мало того, гениальным может быть лишь еврей, изучавший талмуд, - "еврейская голова". Отсюда вывод, что телеграф изобрел, конечно, еврей и никто больше. Кто-то, где-то, краем уха слышал об известном ориенталисте, петербургском профессоре Хвольсоне. Довольно. Остальное ясно как день. Не важно, что Даниил Хвольсон - ориента-

лист, знаток восточных языков, главное то, что он, профессор, знает талмуд. Этого достаточно, чтобы стоустая молва приписала ему изобретение телеграфа - и никаких гвоздей.

- Ты, пожалуй, скажешь, что Даниил Абрамович Хвольсон не еврей, а русский москаль? Хорошее дело! Ты слушай внимательно: Хвольсон Даниил Абрамович!!! Это тебе не Максим Петрович Круглов и не Панас Панасович Хоменко. Ясно? Что же это значит? А значит, что Хвольсон знает хорошо талмуд и только поэтому он "выдумал" телеграф.

Дальше - больше. Толпа осведомилась об истинном изобретателе телеграфа Самуиле Морзе. И тут радости не было конца.

- Ну, хорошо. Ты говоришь, что телеграф "выдумал" не Хвольсон, а Самуил Морзе. Пусть будет по-твоему. А какая разница? Никакой. И тут наш еврей, и этот тоже, оба изучали талмуд.

- Позвольте, - возражали иные, - вот в газетах пишут, что Морзе сын пастора.

- Ты глуп. Если его отец стал пастором, это его дело, а Самуил есть Самуил - не Иван и не Степан. Понимаешь?

- Ты не знаешь, почему колесико аппарата поднимается, скажем, здесь, у нас, когда в Житомире или Киеве нажмут ключ? Какой же ты после этого еврей? Гляди: лежит собака, спит. Попробуй наступить ей больно на хвост. Как ты думаешь, что она прежде всего поднимет - хвост или голову?

- Конечно, голову.

- Так и в телеграфе. Нажимаешь ключ от аппарата, скажем, здесь, а пишущее колесико поднимается и опускается там, куда проведен телеграф. Ясно?

Остроумное сопоставление еврейского пытливого ума. Однако к работе на телеграфе царское правительство не допускало евреев.

## **Староконстантиновское городское училище**

Весной 1872 года мне исполнилось 10 лет, а в августе я поступил в городское училище. По тому времени необычайное событие. Мама была в отчаянии, так как мое пребывание в русской, а не еврейской школе указывало на отступления, нарушения некоторых законов еврейской веры. О ужас! Я не крестился, но все же присутствовал в классе, стоя перед иконой, когда читали молитвы до и после окончания учения. Я ходил в школу даже в субботу, что евреям воспрещается, и т.д. На нарекания матери отец отвечал спокойно, плавно, не подчеркивая своего мнения, а выражая его с тонким юмором. Понимай, мол, как знаешь, а так надо, и никаких гвоздей.

Конечно, городское училище не было похоже на еврейский хедер. Всюду порядок, чинопочитание, лоск, если можно так выразиться, по сравнению с хедером, где ребята на земляном полу, грязные, в соплях. Ведь евреи отдавали детей в хедер в возрасте трех-четырёх лет, чтобы привыкали к стенам того места, где происходила учеба, а главное, чтобы дома под ногами не путались, не мешали работать.

В городском училище преподаватели в вицмундирах, со светлыми пуговицами, входя в класс, здоровались - учащиеся вставали. Те же приветствия по окончании урока. Эти новшества мне вскружили голову: я стал о них горделиво рассказывать, подражать походке, манере преподавателей.

Отец, качая головой, улыбчиво молчал. Мама с грустью глядела на мое постепенное удаление от еврейских обычаев, законов веры. Особо она печалилась об этом, когда я заболел экземой. Нечто вроде чесотки между пальцами ног и рук. По совету врача необходимо было прежде всего соблюдать абсолютную чистоту и для сего мыться в бане как можно чаще, да еще в парильной на верхней полке. Какой-то полицейский чин, узнав, что мне запрещено являться в школу до полного выздоровления, предложил отцу присылать меня по субботам, утром, в полицейскую баню, когда там свободно и моется "лишь начальство". За вознаграждение банщик меня мыл, чистил, растирал всякими снадобьями. Через месяц я был вновь совершенно здоров и допущен к посещению уроков. Но что стоила баня? В субботу, у всех на виду, когда благоверные евреи спешили в синагогу молиться старому еврейскому Богу, я шел в баню. Этот эпизод стал предметом суждений всего городка. Осуждали меня и моих родителей. Взрослые с ужасом, а некоторые с жалостью глядели на меня, отщепенца. Мальчишки дразнили "гоем" (нечистью). Каково было маме мириться с этим?

Если некоторые нарушали законы еврейской веры, то в тиши, за стеной, подальше от людских глаз. А тут - на вот! Открытое как бы отречение от веры Авраама, Исаака и Иакова. Что смотрят отец и мать? Неужели хотят Бузю окрестить в христианскую веру? Отец на такие разговоры при мне не реагировал, а мама оплакивала мои великие прегрешения, одновременно радуясь моему выздоровлению благодаря той же бане.

Необходимо пояснить, что в еврейских городишках баня, как таковая, не пользовалась, видимо, почетом. Единствен-

ную баню топили лишь два дня в неделю: в четверг для женщин и в пятницу для мужчин. Там было тесно, грязно, скверно. Имело ли христианское население, составляющее менее 20% городских жителей, свою общую баню, не знаю.

Когда я возобновил учебу в городском училище, батюшка, отец Александр, даже погладил по головке. Этой лаской он меня покорила. С одной стороны, я как будто опасался взглянуть батюшке прямо в глаза, как чужому, ненавидящему "жиденят", а тут вдруг такое внимание, вызвавшее трепет детской души.

В городском училище было всего три еврейских ученика: я, Хаим Зингер и Израиль Зильберберг. Городское еврейство в целом начинало лишь приглядываться, что это, мол, за кушанье - городское училище, Не крестят ли там насильно ребят, как у кантонистов? Если мы трое присутствовали на уроках наравне со всеми, то сидение в классе на уроке Закона Божия для евреев и католиков не являлось обязательным. И мы на этот часовой урок уходили. Куда? Этим никто не интересовался. Важно было явиться к следующему уроку без опоздания. Фактически мы бродили по находящимся невдалеке русскому и польскому кладбищам, читая надписи на крестах и могильных плитах. До сих пор у меня сохранилась в памяти такая, например, надпись: "Прохожий, взгляни на прах моих костей и увидишь, что я уже дома, а ты еще в гостях". О таких наших прогулках не знали не только преподаватели, но и домашние. Один случай заставил меня рассказать об этих похождениях отцу.

Гуляя по польскому кладбищу, мы забрались в старинный склеп, так как двери от ветхости свалились с петель. В склепе было несколько гробов, и в том числе один

маленький гробик, почему-то нас, ребят, особо заинтересовавший. Крышка легко отпала, и мы открыли гробик, в коем, как мне показалось, лежал плоский, как будто нарисованный трупик, одетый в яркий костюм, на ногах туфельки. Чтобы проверить, не обман ли это зрения, я ткнул пальцем в туфельку, и мой палец ушел во что-то мягкое, точно в толстый слой пыли. Я вскрикнул и в ужасе бежал. За мной устремились мои товарищи, оставив гробик раскрытым. Когда я рассказал это отцу, он сильно нахмурился и долго не решался со мной говорить. Видимо, когда волнение его улеглось, он грозно приказал мне не трогать покойников, да и вообще не шляться по кладбищам.

- А куда деваться во время уроков Закона Божия? - спросил я.

- Сиди в классе и слушай, что батюшка рассказывает, - сказал отец.

- Ладно, если он меня не прогонит, - ответил я.

И я стал оставаться на уроках батюшки, не только не удалявшего меня из класса, но ласково гладившего меня по головке. Я не заучивал его уроков, но его спокойные объяснения постиг быстро, внимательно слушая речь о. Александра. Бывали случаи, когда я даже пытался подсказывать сидевшему впереди меня долговязому Мартинюку. Батюшка это заметил и любовно погрозил мне пальцем. Из других преподавателей училища мне особо памятен учитель чистописания и рисования Завалич. На его уроках считалось почему-то обязательным поднимать крик, шум, галдеж. Завалич бегал от одного ученика к другому, больно драл за уши, сам кричал, топал ногами, суетился - до тех пор, пока вдруг, неожиданно не исчезал из класса, появляясь через несколько минут в сопровождении грозного

"штатного смотрителя" Чугаевича. Тут все смолкало, застывало, наступала мертвая тишина, как на кладбище. Лишь один Чугаевич, безобразный (он сильно пил), поводил глазами во все стороны, грозил кулаком и, уходя, говорил:

"Я вам, чертякам, покажу, як реве тай стогне Днипр широкий. Покажу. Всех разгоню к чертовой матери". Этой угрозой обычно исчерпывался визит Чугаевича. Но после его ухода вновь возникал невероятный шум. Завалич опять начинал бегать, суетиться, дергать за уши, топтать ногами. Так проходил почти каждый его урок. Ребята его доводили до иступления, и он у них не оставался в долгу: он не только больно драл за уши, ставил у доски на колени, но и больно бил линейкой по ладоням за плохое чистописание, неопрятную тетрадь. В общем, он был человек скорее добрый, чем злобный. В свободное от службы время занимался фотографией, тратил на это все свои средства. Семьи Завалич не имел. Работая уже на транспорте, будучи взрослым молодым человеком, я вновь встретился с Заваличем, приехав на родину хоронить маму. Неизменный Завалич оставался таким же, каким я его оставил в детстве. Мы разговорились, вспомнили былое. Оказалось, что ребята неизменно продолжают его изводить. На мой недоуменный вопрос по этому поводу Завалич ответил:

"Знаете, под каждого человека надо уметь подобрать ключик, а я вот не умею". Пожалуй, так. Не могу не рассказать и о других преподавателях Староконстантиновского городского училища, имевших немалое влияние на воспитание юношества вообще и в частности еврейского. Чугаевич, Завалич, Якубовский, Тарновский и другие, фамилии коих забыл, - все они были униатами. Штатный смотритель Чугаевич преподавал математику. Хороший

педагог, знающий свой предмет до совершенства, жил одиноко, пил горькую, заливая какое-то злосчастье. Ходили смутные слухи о его разногласиях с представителями униатской церкви, большом скандале, когда Чугаевич был где-то инспектором гимназии. Его "выставили", точнее, прогнали со службы. Чугаевич вел бродяжнический образ жизни, бедствовал, голодал. Затем каялся в своих заблуждениях, и "для обрусения края" его прислали к нам, в ссылку. Он смиренно покорился, но пьянствовал отчаянно. Это ему в упрек не ставили. Преподаватель географии и истории Якубовский - типичный украинец того времени. Упрямый, настойчивый, открыто говорил и делал все, что требовало начальство, а на самом деле до испуга ненавидел русских (москалей). Во сне и наяву видел "самостийную Украину". Шевченко ставил выше Пушкина, выше Гоголя, выше Шекспира. Уверял своих учеников - украинцев, поляков, евреев, что нет выше гражданского долга, чем содействие восстановлению великой Украины. Тогда сами собой рухнут всякие национальные пререкания. Не будет, мол, тогда хохлов, поляков, жидов, а будет одна свободная Украина для всех здешних уроженцев.

Об учителе русского языка и словесности Александре Тарновском я уже упоминал. Отец Тарновского - униатский священник, мать - дочь нашего престарелого соборного протоиерея. Он успешно закончил духовную семинарию, учился где-то в университете и за "вольномыслие" попал лишь в преподаватели городского училища. Ему мы обязаны прежде всего приобретенными знаниями литературы и русского языка - задача для преподавателя того времени нелегкая. Так, например, на 35 учащихся моего класса было пятнадцать украинцев, столько же поляков, три еврея и двое

русских, т.е. коренных Ивановых и Петровых. Заниматься с таким классом было нелегко. Правда, в классе строго воспрещалось говорить по-малороссийски, по-польски, а тем более по-еврейски. Говорили лишь по-русски, но как! Получалась не смесь "французского с нижегородским", а что-то вроде волапука, самодельного изобретения. У себя дома каждый говорил на своем родном языке, ненавидя русских чиновников-угнетателей. И вот этих зверенышей-ребят надо было заставить осознать, что русский - это государственный язык прежде всего, а затем - заставить понять и полюбить русскую литературу. Но Тарновский дал нам многое, больше, чем полагалось по куцей программе. Он научил нас грамотно писать, научил читать и понимать Гоголя и Пушкина.

Если еврейчик, конечно, по-своему, нараспев, не сочетая звуков, читал стихи: "Что-о-о ты рже-е-шь м-о-ой ко-о-о-нь ретивый", то понять гоголевское "галстух, возбуждающий удивление, усы, повергающие в изумление" он был бессилён. А Тарновский преодолел и эту преграду. Так началась, возникла моя тяга к книге, а в дальнейшем - к самообразованию.

Не помню точно, в каком возрасте, но приблизительно около 10 лет от роду я был "лунатиком", как уверяли окружавшие меня. Конечно, не в точном смысле этого слова, но все же. По ночам меня одолевали кошмарные сны, я вставал с постели; мне становилось холодно в одной рубашонке, и я, сонный, бродил по комнате, искал ощупью свою постель, чувствуя непреодолимое желание лечь. Обычно кто-либо из домашних, услышав мою возню, вставал, водворял меня на место. Был даже случай, и сейчас его помню, когда я, сонный, зимой открыл двери в холодные сени и лишь там проснулся от испуга и стужи. По крышам,

карнизам, как полагается лунатикам, я не бродил. Все прошло как-то само собой, без лекарств, о чем врачи и предупредили отца. Бабы пугали маму уверениями, что я "порченный", ловко скрываю свои ночные похождения, путешествия по карнизам и даже на вышку церковной колокольни. Ничего подобного, конечно, не было. Бабы сказки.

### **Болезнь и смерть отца Вайнштейна Г.М. в 1875 году**

Чтобы не затягивать записки описанием мелочей, перехожу к печальному событию: болезни и смерти отца в 1875 году. Чем болел отец - точно не помню. Он долго лечился, что-то находили у него в легких, что-то в почках. Недалеко от нас находилось Винницкое имение известного врача Николая Ивановича Пирогова, знавшего отца. Пирогов был уже стар, но у себя в имении, куда он приезжал на лето, не отказывал в медицинской помощи крестьянам и некоторым избранным. Отец поехал к Пирогову. Вернулся оттуда довольный, веселый, а через некоторое время слег в постель, чтобы уже не встать. Ухаживали за больным отцом старший брат мой Иосиф (брат Лазарь уже работал в Курске) и мама. Лечил больного живший у нас в доме на квартире народоволец, доктор Сошин, о котором вспоминает в своих записках Лев Дейч. Летом меня отправили в деревню к дяде Цале (Целестину), управляющему имением какого-то помещика в 15 верстах от нашего городка. 10 августа кто-то из домашних дяди собрался ехать по хозяйственным делам в город. Я потребовал, чтобы меня отвезли домой. Зачем, к чему так скоро? Ведь в деревне так хорошо. Что-то неясное, непонятное влекло меня домой, и я настоял на своем. Ехали

спокойно, ничего не предвидя и не подозревая. Подъезжая к нашему дому, обратили внимание на людскую суету: кто-то куда-то спешил, торопился... У крыльца возился мой маленький трехлетний братишка Хаимуня (Аким), встретивший меня бравурным возгласом: "А у нас папа скончался!" У меня ноги подкосились. Из дома слышались рыдания. В зале несчастный отец мой, воспитатель и руководитель, лежал, как полагается по еврейскому обычаю, на полу, на трех соломинках. Удел брэнной человеческой жизни.

Я не плакал, не мог плакать. В горле что-то застряло, как будто я не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Выяснилось, что около полудня отцу приготовили куриный суп. Мама налила суп в тарелку, предложив брату Иосифу посадить больного и накормить. Отец согласился, и даже сам стал подыматься. Но когда Иосиф стал поправлять подушку, больной свалился на эту подушку мертвый. Вызванный доктор Социн развел руками, заявив, что он уже бессилён. Хоронили отца вечером в тот же день, 10 августа 1875 года, на еврейском кладбище по обряду еврейской веры. Я был на кладбище, видел открытую могилу и видел там милые черты с характерной, как бы оттопыренной нижней губой, казавшейся мне не в меру красной.

Скончался отец 54 лет от роду. С тех пор прошло 60 лет. Судьба захотела, чтобы я оказался причастным к жизни не только двух эпох, но и двух миров. Много я понял, многое постиг, кое от чего отрёкся, но память своих родителей чту с восторженным умилением. Пишу эти признательные строки 2 июля 1935 года. У евреев полагается поминать усопших ежедневно, до года, утром и вечером, особой молитвой в присутствии десяти взрослых мужчин. Я тогда заучил эту

молитву и ходил в синагогу каждодневно рано утром и вечером поминать покойного отца, уверенный, что моя молитва облегчает его страдания, хотя не был верующим.

Без отца наша жизнь пошла по-иному, на каждом шагу чувствовалось отсутствие главного руководителя и дирижера семьи. По духовному завещанию опекунами надо мной и Акимом, как малолетними, являлись мама и старший брат Иосиф, между собой не ладившие. Затем, для того, чтобы каждый наследник, и мама в их числе, мог получить свою долю, надобно было формально, почему-то через сенат, утвердиться в правах наследства, а затем получить право продать дом.

Словом, хлопот немало, а расходы постоянные, каждодневно. По совету дяди Иосифа, брата покойного отца нашего, дом сдали пока в аренду для обеспечения воспитания малолетних и хлопот в Петербурге о скорейшем утверждении сенатом духовного завещания.

Моя учеба выбилась из колеи, и я с трудом дотянул до конца учебного года. А осенью 1876 года брат Иосиф отвез меня в наш губернский город Житомир, где я поступил в еврейский учительский институт. Назывался институт "еврейский" потому, что он готовил преподавателей для будущих реформированных еврейских начальных училищ на периферии. Преподавание велось на русском языке. Отличался институт от других, ему подобных учебных заведений тем, что инспектором института был еврей, преподававший закон веры, еврейский закон Божий, также на русском языке. Обрусение на всех фронтах.

Первое время я увлекся этим новшеством: мол, пойду служить своему народу, просвещать, извлекать страдальцев из недр векового невежества и т.п. Что может быть краше?

Прошло два года, мне это надоело, вернее, я счел себя призванным к более реальной миссии: я мечтал об университете. А для сего надо было окончить гимназию, получить аттестат зрелости. В моем юном, пылком уме эта задача мысленно решалась легко и просто: мол, раз-два, и готово.

Это было в разгар русско-турецкой войны. Наши войска брали Плевну, Шипку, Каре и еще что-то. Меня эти подвиги не прельщали, я мечтал о более высоких материях: лекциях известных профессоров, ученой степени. Стоит лишь захотеть! За чем же остановка?

### **Попытка поступить в прогимназию в Остроге**

Арендатор нашего дома присылал мне ежемесячно в Житомир 10 рублей. На эти деньги я существовал, с этими деньгами пустился смело в плавание по волнам житейского океана. В Волынской губернии был тогда небольшой городишко Острог (теперь Польша), основанный князьями Острожскими. В дальнейшем Острог принадлежал графам Блудовым, один из потомков коих принимал в 1860-х годах участие в работе комиссии по освобождению крестьян. Этот последний Блудов основал в Остроге шестиклассную прогимназию, названную им "крестьянской". Там учились прежде всего крестьяне, а затем уже свободные места предоставлялись детям остальных сословий. Мне почему-то казалось, что там, в Остроге, я легко преодолею все препятствия и достигну своих целей. Но не тут-то было. Я с места в карьер наткнулся на преграду. Приехал туда в сентябре, когда уж начался учебный год. Крестьянская шестиклассная прогимназия занимала мизерное помещение,

в каждом классе было не больше 20 учащихся. Местные евреи, по своей косности, не посылали детей учиться в гимназию, и там было всего лишь двое-трое иногородних еврейских ребят, к которым администрация относилась весьма холодно, считая прогимназию "крестьянской, а не жидовской". Оставалось терпеливо ждать случая для поступления, а пока готовиться к экзамену. Войдя в некоторое соприкосновение с преподавателями, я, к своему удивлению, обнаружил здесь бывшего "штатного смотрителя" Петра Чугаевича. Его за что-то выставили с прежней должности, и он очутился сверхштатным преподавателем математики Острожской прогимназии. Чугаевич и помог мне сориентироваться в окружающей обстановке.

Прежде всего - и это главное - мои познания, вынесенные из житомирского института, были столь невелики, что с такой подготовкой нечего было и думать о поступлении. Затем, латынь и греческий являлись обязательными - латынь с первого, а греческий язык с третьего класса, а я об этих древних языках не имел и приблизительного представления. Наконец, согласно воле покойного графа Блудова прогимназия была строго "крестьянской", и дети остальных сословий, как уже указывалось выше, принимались во вторую очередь. Что касается евреев, то на них смотрели, как на "вредный элемент". Было совершенно ясно, что мне надо основательно подготовиться, а затем уже мечтать о поступлении в гимназию. Для чего я остался в Остроге, стал готовиться. Арендатор нашего дома продолжал аккуратно присылать мне ежемесячно 10 рублей. Стол, квартира, стирка белья, покупка книг, мелкие расходы являлись неотложными, необходимыми. Денег не хватало. Стал искать

работу, но безуспешно. О моей нужде случайно узнал некий Рубинштейн, арендатор мельницы села в 15-20 верстах от Острога, где-то в Кременецком уезде. Рубинштейн предложил мне 10 рублей в месяц, отдельную комнату и полный пансион за подготовку его сына, Иосифа, в первый класс гимназии. Но так как я и сам должен был готовиться, то мне была гарантирована лошадь для поездки два раза в месяц в Острог, где я мог бы поддерживать связь с прогимназией. Соглашение состоялось, я уехал в деревню. Своего ученика я готовил хорошо, успешно, а сам вперед почти не двигался. Через два-три месяца стала совершенно ясной безуспешность моих стараний, в особенности по изучению древних языков. Надо было найти иной выход. И я решил дерзнуть. Без аттестата зрелости, без знаний махнуть в университет.

Поступать вольнослушателем, а там видно будет.

### **Тщетные попытки поступить в университет или реальное училище**

Я слышал и знал кое-что о вольнослушателях в университетах, но как это фактически, документально осуществить - мне было не ясно. Поехал к братьям в Курск поговорить, посоветоваться, - что делать, что предпринять. Это было ранней весной, в начале апреля 1879 года. Курск на меня произвел своеобразное впечатление. Не чета Старокопачеву и даже Житомиру. Оригинальные выкрики торговцев: "нуте яблочек, нуте редьки, нуте огурчиков", ласкательные названия всего съедобного: "селечка, яблочко, огурчик, хлебец, чаек" и т.д. поражали мой слух. Наконец, сплошная русская речь на улице, в доме, на базаре

резко отличала местный быт от черты еврейской оседлости. В то же время отсутствовали, почти не встречались, евреи в своих оригинальных шляпах, как будто снятых с огородных пугал, те евреи, так называемые "торговцы воздухом", которые с голодухи и от нечего делать доказывают, убеждают друг друга в том, что "Волга впадает в Каспийское море и почему". Таких в Курске почти не было. Словом, это был иной мир, где евреям жить, селиться воспрещалось законами того времени, за исключением ремесленников, купцов первой гильдии и окончивших высшие учебные заведения. Ни тем, ни другим, ни третьим мои братья и я не обладали. Все же устраивались. Как, каким образом? Мои старшие братья, работавшие на железной дороге, и я взятки полиции за прописку паспортов никогда не давали, но хлопот, неприятностей было немало каждый раз, когда выпадал снег, наступала еще одна зима, когда мы получали с родины возобновленные годовые паспорта, в которых черным по белому значилось: "Мещанин города Староконстантинова, еврей Герш Мордкович" и т.д.

Кажется, при Лорис-Меликове царское правительство пошло на уступки, разрешив "подстрочный перевод" для желающих, и тогда в наших паспортах Староконстантиновская мещанская управа обозначала владельца паспорта так: "еврей Герш Мордкович, он же Григорий Маркович" и т.д. Во избежание недоразумений слово "еврей" ставилось неизменно не только в паспортах, но и во всех коммерческих документах, например, при оплате купцом акциза, ремесленником при получении свидетельства на право занятия ремеслом и т.д.

Еврей обязан был знать, крепко помнить, что он презренная пария, с которой считаются "постольку-поскольку".

Представляю, дети мои, вашему воображению тогдашнее состояние мое и многих мне подобных.

Помню факт, отмеченный газетами того времени.

В Петербург приехала еврейская девушка, - окончившая гимназию, для поступления на высшие женские курсы. Полицейский участок отказался прописать ее паспорт, она еще не была студенткой, а высшие курсы не могли зачислить ее студенткой и выдать студенческий билет до предъявления прописанного в полиции паспорта. Возник заколдованный круг. В конечном счете на паспорте появилась злосчастная отметка "к выезду в 24 часа". Девушка покушалась на самоубийство, но ее случайно спасли. "Спаситель", своевременно снявший девушку с петли, дал ей "реальный" совет: взять в полицейском участке "желтый билет" , т.е. записаться в проститутки, так как в то печальной памяти время проституция считалась "ремеслом" и давала право жительства вне черты еврейской оседлости. Скрепя сердце, девушка исполнила этот совет.

Паспорт немедленно прописали в участке. Через некоторое время кто-то из соседей донес куда следует, что "девица такая-то на улицу не ходит, а учится там-то". Короче говоря, обманывает правительство. Расследованием донос полностью подтвердился. При унижительном медицинском освидетельствовании "проститутка оказалась физически девственной", как значилось в полицейском протоколе. Скандал проник в печать, принял широкую огласку. Таких и им подобных эпизодов было тогда немало. Так, например, вся Сибирь, от Урала до Великого океана, находилась вне черты еврейской оседлости, и евреи в Сибири не могли жить добровольно, а лишь осужденные судом за те или иные преступления и сосланные туда. Таковы были времена и

нравы тогдашних мудрецов. Вообразите, дети мои, мое состояние. Ведь и Харьков, куда я должен был ехать учиться, также находился вне черты еврейской оседлости. Недурно? Жить приходилось, как говорили тогда, сжав зубы. Пробыл я в Курске (в Ямской слободе) месяца два-три, думая, что делать, что предпринять? Заявление, или прошение, как тогда говорили, о зачислении меня вольнослушателем Харьковского университета было послано, а к осени я сам поехал в Харьков, запасшись рекомендательными письмами "на всякий пожарный случай".

Окунувшись в студенческую гущу Харькова, я, к удивлению своему, обнаружил, что наукой, как таковой, почти никто из мне известных не занимается. Много говорят, козыряют хлесткими, крылатыми фразами, словами, играют в преферанс, нередко до утра, стараются посещать театры, криком, до хрипоты, вызывают любимых артистов, поднимают шум, галдеж, если кто посмеет похлопать в ладоши не студенческому любимчику, иногда выпивают. Лекции посещали лишь новички, пока не остывали, а затем являлись в аудитории "между прочим", "походя, когда возможно".

Многие профессора не только не препятствовали студентам бить баклуши, а, заискивая у студенческих организаций, поощряли подобный порядок. Такие профессора считались "популярными". Зачеты студенты сдавали пятое через десятое, с грехом пополам. Нередко не сами, а через подставных. Говорю о тех студентах Харькова, с которыми я сталкивался, и все указанное выше видел воочию. Такова была та студенческая гуща, в которую я окунулся. Я еще не успел, как говорится, оглянуться, когда возникли студенческие беспорядки.

Появились полицейские, затем казаки. Шум, гам, ведут арестованных, собираются кружки, обсуждают, спорят. О чем - не знаю, нас не посвящают. Вскоре стало известно, что вольнослушателей всех отчислили по распоряжению министра. Вольнослушателей в университетах не будет, т.к. правительство считает их виновниками студенческих беспорядков в университетах.

Я оказался на мели, без руля и ветрил. Решил остаться в Харькове, поступить в реальное училище, где знание латыни и греческого не требовалось. Стал нащупывать почву. Оказалось, что для младших классов реального училища я переросток, а для старших не подготовлен. Значит, нужно подготовиться. Легко сказать, но трудно осуществить. А когда человеку нечего жрать, он плюет на логарифмы и прет против рожна. Так и я тогда поступил легкомысленно, уверив себя в возможности добыть средства к жизни незамысловатым педагогическим трудом. Я наивно прикинул, сколько в Харькове имеется ребят 9-10-летнего возраста и сколько лиц готовит этих ребят к поступлению в среднюю школу. Быстро решил: каждому такому репетитору достается около десятка таких ребят. Считая по 10 рублей в месяц за урок, получим  $10 \times 10 = 100$  рублей, а мне нужно лишь 25-30 рублей. Красота! Некуда деньги девать! "Харьковские ведомости" печатали за 40 копеек такие объявления ищущих труда три дня подряд. Чего лучше! Я дал объявление:

"Молодой человек успешно готовит в младшие классы гимназии и реального училища. Дома для переговоров во всякое время. Московская улица, дом такой-то".

Рано утром купил за пятак газету, прочел с умилением свое объявление и поспешил быстро, быстро на квартиру.

Придут, а меня дома нет. Неловко, неудобно. Волновался чрезвычайно. Весь день и вечер просидел у себя в комнате безотлучно. Ни один "сукин сын" не явился к "молодому человеку". То же было и на другой, и на третий день. Я аккуратно покупал газету, внимательно прочитывал объявление и ждал, ждал. Но безуспешно. Во всем стотысячном населении Харькова не оказалось ни одного, кому потребовались бы мои услуги. Меня охватил апокалиптический ужас. Что же делать? В чужом городе, без определенных занятий, без средств, с непрописанным паспортом в кармане. Грустно.

Иду как-то под вечер по Рыбной улице. Слышу, где-то заунывно поют:

Реве тай стогне Днипр широкий, Сердито витер завыва...  
На Украине умеют, любят попеть, чтобы за душу хватало. А у меня такое настроение. Захотелось поплакать. Нет, плакать не надо: моя жизнь впереди. Быстро смотал удочки, уехал в Курск. Там, решил, все же легче будет около своих. Я думал: не может быть, чтобы я ни к чему не был пригоден. Найдутся и для меня занятия. Вспомнил, где-то вычитал: "под человека надо уметь подбирать ключи". Может быть, и для меня ключик найдется, хотя я и не принадлежал к тем баловням судьбы, которым тогда жизнь давалась легко.

Приехал я в Курск из Харькова глубокой осенью 1879 года. Пошли разговоры, что и как предпринять в дальнейшем. Было совершенно ясно, что моя школьная учеба кончилась. Мысль об университете надо оставить. Значит, надо работать. Но где и как? Ехать в черту оседлости учительствовать в низшем еврейском училище, где преследовалась правительством специфическая цель русификации? Душа не лежала. Значит, надо остаться в

Курске и идти по стопам старших братьев. А с паспортом как быть? Ведь здесь его не пропишут - Курск за чертой еврейской оседлости.

### **По примеру старших братьев я стал служить на железной дороге**

Необходимо хотя бы вкратце пояснить, как здесь в Курске устроились, обосновались мои старшие братья: Лазарь и Иосиф. Приблизительно в 1873 году отец снарядил Лазаря в Харьков к своему земляку, ровеснику, приятелю детства Роману Яковлевичу Рубинштейну. Чем занимался этот Рубинштейн у себя на родине, в Староконстантинове, я не знаю, а в Харькове он стоял во главе банкирской конторы, был богат, имел дома, сахарный завод и еще что-то. Конечно, был купцом первой гильдии, поэтому имел право жительства вне черты еврейской оседлости и за какое-то количество рублей мог иметь служащих евреев вне черты еврейской оседлости.

Рубинштейн встретил Лазаря приветливо и с места в карьер отправил его для работы в свой Курский сахарный склад в качестве счетовода. Склад находился в Ямской слободе, вблизи Курского вокзала. Паспорт Лазаря полиция прописала вполне законно, как "приказчику купца первой гильдии Рубинштейна". Конечно, полицейский пристав получил от конторы Рубинштейна к Пасхе, Рождеству, "на Онуфрия и Прохора", к именинам жены, тещи и прочих домочадцев какое-то количество рублей и голов сахара в виде mzды или благодарности "за благополучие". Но это не в счет. Таков был порядок, обычай. Все "давали" и все "брали" .

Брат Лазарь, человек корректный, лояльный, уживчивый, быстро вошел в дела, сблизился с местной железнодорожной администрацией, с коей сталкивался при получении и отправке сахара. В Курске сходились тогда три частные дороги. Пассажирская станция была одна, общего пользования, в ведении Московско-Курской железной дороги, а товарных, грузовых станций было три. Каждая дорога имела свою товарную станцию и там - начальника станции. Начальником станции Курско-Харьковско-Азовской дороги был тогда некий Протопопов, бонвиван, картежник, не считавшийся ни с какими средствами. Билетным кассиром служил некий Золотарев - нечто вроде Протопопова. С ними сошелся близко, подружился брат Лазарь. Настолько, что когда Золотарев уезжал в город в клуб кутить, поиграть в карты, то ключи от билетной кассы передавал доверчиво брату Лазарю, ставшему фактически заместителем билетного кассира, конечно, с ведома и согласия начальника станции Протопопова. Постигнуть премудрость продажи билетов было нетрудно, тем более что негласно разрешалось "набавлять копеечку" на каждый билет, давать не полностью сдачу. Ведь у каждой кассы было объявление "не затруднять кассиров разменом денег". Значит, давай копейку в копейку или же... проваливай, не мешай работать. Это знал твердо каждый пассажир. Правда, кассиру приходилось давать после каждого поезда рублевку-другую жандарму, стоявшему у кассы, но тем спокойнее можно было работать, "не стесняясь". Короче говоря, все были довольны. Через некоторое время Золотарев получил наследство, стал кутить сильнее, решил бросить службу. Пока суд да дело, Лазарь работал в кассе, скрывая отсутствие билетного кассира. А когда наступило время отъезда и передачи кассы, Золотарев убедил начальника станции

Протопопова представить к зачислению на должность билетного кассира моего брата Лазаря.

Курско-Харьковско-Азовская дорога принадлежала тогда известному строителю, еврею Самуилу Соломоновичу Полякову. Не было закона не принимать евреев на службу на железной дороге, но это делалось автоматически, так как евреям вообще тогда разрешалось лишь заниматься мелкими ремеслами или торговлей. Ловкий Протопопов, пройдоха 96-й пробы, учел это, погнал и поймал, как говорится, двух зайцев: угодил еврею- хозяину дороги и получил желанного кассира, умевшего угождать. Ведь уже при мне, не стесняясь моего присутствия, в начале 1880-х годов Протопопов, отправляясь в клуб, забирал туда с собой кассовую выручку. При таких обстоятельствах брат Лазарь был, если не ошибаюсь, первым евреем, служащим на железной дороге.

Паспорт был прописан по гильдейским документам Рубинштейна, полицейский пристав Ямской слободы, по прозвищу Кузьмич, был общий приятель, и все пошло как по маслу. Став штатным кассиром, Лазарь быстро вошел в среду старших агентов дороги, удачно ассимилировался в новой среде, стал со всеми в приятельских отношениях не только на своей дороге, но и на других дорогах Курского узла.

Начальником станции Курск Московско-Курской железной дороги был тогда Петр Борисов, впоследствии видный начальник движения некоторых дорог. Этот Борисов в 1877 году, не подражая Протопопову, а из либеральных соображений, по просьбе Лазаря зачислил к себе на службу нашего брата Иосифа на должность конторщика. Полицейский пристав Кузьмич, пораженный, что еврей зачислен в штат Московско-Курской дороги, где акционера-

ми были московские "столпы" купечества Чижов, Морозов, Горбов, Мамонтов, Лямин, Рукавишников, немедленно прописал паспорт Иосифа. Через несколько лет и я подрос, а Кузьмич был все тот же.

Братья мои, Лазарь и Иосиф, которые были в хороших отношениях с Данишевским, начальником станции Курск, рассказали ему мою одиссею, просили помочь устроиться на службу до возможности поступления в университет. Данишевский обещал и не забыл своего обещания. Мало того. зная наши "рассейские" законы о евреях и глубоко осуждая их, Данишевский как будто бы даже шепнул Кузьмичу не препятствовать прописке моего паспорта. И мой паспорт прописали в полиции молниеносно.

Уезжая в Москву, к месту новой службы, Данишевский дал своему заместителю такие указания: допустить меня к службе с 1 января 1880 года в качестве "бесплатно занимающегося", а затем, при первой свободной вакансии, представить меня к зачислению в штат на должность конторщика.

Итак, по примеру старших братьев я стал служить на железной дороге, далеко от еврейской черты оседлости. Невозможное стало для меня возможным.

## Служба в Курске на железной дороге

### В Курске у братьев

Ноябрь и декабрь 1879 года я жил в Курске у брата Лазаря без определенных занятий, как говорится, болтался без дела. Становилось совестно, да и скучно - надо было чем-то заняться. Но чем? Лазарь был билетным кассиром Курско-Харьковско-Азовской дороги, а брат Иосиф старшим конторщиком Московско-Курской (дороги были частные).

Начальником объединенной пассажирской станции Курск-I Московско-Курской, Курско-Киевской и Курско-Харьковско-Азовской дорог (линия Курск-Воронеж была построена значительно позднее) был в то время некий Эмилий Иванович Данишевский, по прозвищу "американец", о котором необходимо упомянуть несколько подробнее, - он действительно родился и жил в Америке до почти сорокалетнего возраста.

Акционеры Общества Московско-Курской дороги сманили Данишевского к себе и назначили начальником станции Курск-I, где в узле сходились три дороги: Московско-Курская, Курско-Киевская, Курско-Харьковско-Азовская.

Платили ему 3200 рублей в год, при готовой квартире с отоплением, освещением и прочим, не считая наградных. По тому даже времени жалованье значительное, ибо начальник движения Московско-Курской дороги получал 4 тысячи рублей год.

Прекрасно организовав работу Курского узла на американский лад, Данишевский и здесь быстро обратил на себя внимание акционеров дороги, и его назначили в Москву

начальником движения Московско-Курской дороги. Уезжая из Курска в Москву, Данишевский обещал меня устроить, а пока предложил "приучаться", и я стал являться на вокзал в техническую контору с 1 января 1880 года.

Зачислили меня в штат "с 25 марта 1880 года на должность помощника агента по передаче грузов, с окладом жалованья 25 рублей и 7 р. 50 к. квартирных денег в месяц", как отмечено было в приказе по дороге. Помню, как я впервые явился в контору 1 января, "понюхал" и ушел - по случаю Нового года работали лишь дежурные конторщики и списчики вагонов, остальные визитировали, бражничали, тщательно обсуждали, где чем угощали и как принимали гостей, а также, что полезнее: водка или портвейн. "Бисмарк, живя в России, предпочитал нашу очищенную пиву", - эту мысль усиленно развивал один из служащих с немецкой фамилией, доказывая, что русские должны считать Бисмарка "своим" по выпивке.

2 января я приступил к работе. Хотя мне первое время давали лишь мелкие поручения, но я все же сразу стремился к делу. Я списывал вагоны с натуры, переписывал начисто какие-то ведомости, наводил справки о прибывшем багаже и т.п., шагал по станции "козырем", как некое будущее "нечто". А это "нечто" означало сознательную работу, и не где-либо у купца на посылках, а на чугунке, как тогда называли железную дорогу.

Кроме того, получить жалованье - значит, не сидеть на шее старших братьев и, конечно, носить форменную фуражку с малиновым кантом и гербом. Кстати о гербе. Большинство железных дорог, в том числе и Московско-Курская, эксплуатировались частными акционерными обществами. Гербы на форменных фуражках агентов

"частных" дорог состояли из оттисков гербов тех губерний, по которым пролегла каждая дорога, увенчанная короной. Герб нашей дороги имел под короной оттиски гербов Московской, Тульской, Орловской и Курской губерний, как известно, не входивших "в черту нашей оседлости". Словом, я трепетал от восторга, хотя мне и было обидно, что я пока на посылках, не имею строго определенной работы, а стало быть, - отдельного письменного стола с ящичками для "деловых бумаг", своего чернильного прибора. Нередко приходилось заниматься не у стола, а у подоконника и пользоваться не чернильницей, а помадной банкой по примеру чиновника старого времени в какой-то пьесе Островского.

Как бы там ни было, мне давали мелкие поручения, какие обычно давались приучавшимся к службе, и я постепенно входил в курс дела. Правда, были поручения бестолковые, как, например - пойти и сделать то-то. А куда надо пойти и как осуществить требование, мне не объясняли - не знаю, заведомо или по невежеству дававших подобные поручения. Выход вскоре нашлся: я стал "себячить" (своеобразный сибирский глагол от слова "отсебятина"), начал сам толковать о деталях службы и, конечно, путал, наводил тень на ясный день. Меня поднимали на смех, доказывая мое невежество, и пускались в детальные пояснения. Так я стал учиться техническому движению окольными путями.

Кто же были эти первые учителя и наставники мои на транспорте? Чтобы ответить на этот вопрос совершенно точно, необходимо указать, откуда рекрутировались эти кадры конторщиков и чем в большинстве случаев они занимались.

В Петербурге тогда еще существовал при обществе Красного Креста особый "комитет" с отделениями в губернских и уездных городах по устройству лиц, так или иначе участвовавших в войне. Покровительством "комитета" кроме раненых пользовались и лица всяких рангов, находившиеся во время войны в тылу.

Одного такого "героя тыла" я знал близко. Барон фон Дистерло, очевидно, знатного происхождения, служил тогда на станции Курск техническим конторщиком и по совместительству заведовал кладовой забытых вещей, то есть найденных в вагонах после высадки пассажиров.

Другой тип, достойный внимания, - багажный кассир Кайзер. Из таких приблизительно учителей и наставников состояли мои первые руководители на транспорте. Очевидно, до Данишевского было еще хуже, и надо удивляться его умению заставить таких людей работать. Во всяком случае я первое время чувствовал себя отвратительно, сознавая, что я создан не из той глины, из которой лепились тогда транспортные чиновные кадры.

Около трех месяцев я работал бесплатно, исполняя всякие поручения всех. Меня гоняли с пассажирской станции в товарную контору, оттуда на товарный двор, в передачу, на телеграф и т.д. В конторах приходилось по несколько дней даром заменять отсутствующих по болезни конторщиков. В товарной конторе и на товарном дворе состав конторщиков, весовщиков был не такой воровской, как в конторе начальника станции. В товарной конторе были два кассира: Багаев - по отправлению и Миллионщиков - по выдаче грузов. Первый - алкоголик, скандалист; второй - усидчивый, скромный труженик, преданный работе, хороший семьянин. Штаты были мизерные и работать

приходилось с раннего утра до глубокой ночи. Определения длительности рабочего дня не было: надо было оставаться в конторе до окончания отчета текущего дня. Одни подкрепляли себя водкой, а меньшинство тянуло ляжку идейно, в надежде обратить на себя внимание молчаливым трудолюбием.

Строго нормированного жалованья, очевидно, также не было - по крайней мере, мы его не знали. Прибавки к жалованью давались начальником станции "по усмотрению" и трудоспособности.

В товарной и передаточной конторах я сравнительно быстро постиг служебный распорядок, убедившись, что "не боги горшки обжигают". Промелькнули январь, февраль, наступил март. Я оказался достаточно подготовленным к самостоятельной работе, но меня не представляли к зачислению в штат - не было вакансии. Бесплатная работа казалась обидной и тяготила материально. В это время перевели из Курска в Москву - по просьбе родителей - конторщика Успенского. Под давлением моего брата Иосифа старший агент передачи грузов Сакович, сослуживец Данишевского по Бресту, выставил мою кандидатуру на вакансию Успенского, но с условием, чтобы я переписал левой рукой его анонимное письмо, адресованное Данишевскому в Москву. Не припомню содержания этого анонимного письма, но такое поручение меня чрезвычайно покорило. По совету брата я это поручение выполнил и для отправки письма ездил на станцию Солнцево, чтобы, как пояснил Сакович, на конверте не было почтового штампа Курска.

Наблюдая в дальнейшем Саковича, я пришел к выводу, что талантливый и работоспособный Данишевский мог

привезти с собой этого субъекта лишь при стремлении помочь "своему". Особая политика правительства того времени состояла в обрусении окраин, поэтому поляки всячески стремились в центр, на подмосковные железные дороги. Словом, после выполнения поручения Саковича и ночной поездки в Солнцево, для отсылки анонимного письма, я с 25 марта 1880 года был зачислен приказом по дороге на штатную должность помощника агента передачи грузов. Таким образом, моя служебная карьера ведет свое начало от анонимного письма - первого и последнего такого письма в продолжение моей долгой жизни.

### **Помощник агента по передачи грузов**

Меня зачислили в штат не конторщиком, а чином повыше, "помощником агента по передачи грузов". Данишевский, вступив в должность начальника движения, стал вводить, по примеру железных дорог Америки, персональную ответственность исполнителей от мала до велика, поэтому и конторщиков передаточной конторы переименовали в помощников агента по передаче грузов, и каждый персонально отвечал за свою работу. Я случайно оказался первым по счету таким помощником агента, и только поэтому в моем послужном списке не значится, что я был конторщиком.

Если фон Дистерло или иные подобные таскали из кладовых, пакгаузов или иных хранилищ, то инженеры, "головка" строительства, не занимались подобными "мелочами". Судя по их образу жизни, крупной картежной игре, приобретению дач, имений, поместий, домов, у них дело обстояло почище.

Получая 200-250 рублей в месяц, всякий начальник эксплуатационного пути задавал такие пиршества, для которых необходимо было бы иметь несколько таких окладов. Откуда эти средства брались?

На каждом участке строились и ремонтировались дома, мосты, пакгаузы, казармы, платформы и т.п. Сползали насыпи, откосы, укреплялись дамбы. Ежегодно сметы работ любого участка протяжением 70-80 верст достигали многих десятков тысяч рублей, нередко и сотен тысяч. Казалось, при свободной конкуренции на производство подобных работ, с официальными торгами и переторжками, злоупотребления не могли бы иметь места. Однако при каждом участке был "свой" неизменный подрядчик, а иногда два-три по количеству и роду работ: земляных, плотничьих, кровельных и т.п., но все же "свои". Посторонних конкурентов почти не допускали к торгам, а если допускали, то лишь для проформы, так сказать, для отвода глаз.

Почти не было случая, чтобы подрядные работы отдали "постороннему", случайному конкуренту. А если подобное встречалось, то такой смельчак обычно быстро "вылетал в трубу", то есть банкротился, так как при приеме работ требовались бесконечные поправки, переделки, исправления, сводившие на нет возможность не только что-либо нажить, но и сохранить смелость когда-нибудь в будущем брать подобные подряды. Крупные подряды сдавались в Управление дороги. Там играл первую скрипку начальник пути, имевший своих приближенных неизменных подрядчиков по каждому роду работ, надо полагать, с ведома и согласия начальника дороги. Начальник пути получал тогда жалованья 10 тысяч рублей в год, а я видел в конце 1890-х годов, как начальник пути Московско-

Брестской дороги Ребиндер ставил в Московском купеческом клубе по 1000 рублей на карту в "железку", и никого такие ставки инженера Ребиндера как будто не удивляли. Кто были партнеры Ребиндера? Персонально я их не знал, попал в этот клуб случайно, один раз, но по внешнему виду это были сынки богатых купцов, коннозаводчики, именитые адвокаты и, конечно, шулера. Проиграв, как передавали, около 20 тысяч рублей, Ребиндер ушел, лишь слегка взволнованный.

### **Железные дороги России во второй половине XIX века**

В свое время, в 1860-1870-х годах, известные строители, а затем владельцы железных дорог Поляков, Блиох, Губонин, Варшавский начинали карьеру с мелких подрядчиков на участках, при содействии инженеров. В мою бытность при переводе начальника участка на другую дорогу или иной участок с ним перекочевывали в большинстве случаев и его подрядчики. Это также никого не удивляло. Я знал инженеров, бросавших службу, чтобы стать подрядчиками, так как это было выгоднее. О наживе при постройке моста, дамбы или устоев, не стесняясь, говорили: "концы в воду".

На всю Россию был в Петербурге один путейский институт, выпускавший ежегодно 60-70 инженеров. Для обслуживания дорог инженеров не хватало, поэтому, по необходимости, иногда назначали на должности начальников участков техников путей сообщения, имевших право производства работ. Они быстро входили во вкус и в своих аппетитах не отставали от инженеров. Из многих припоминаю особенно двух: Петра Ивановича Бабкина, бывшего начальника дистанции в Курске, где я начал свою

работу на транспорте, и Василия Васильевича Маресева - начальника дистанции в Харькове. Маресев, женатый на Марии Аркадьевне Щекиной, впоследствии состоял, так сказать, со мной в некотором родстве. Когда в середине 80-х годов стали строить Екатерининскую дорогу, Бабкин и Маресев оставили службу на дорогах, увлекшись крупным подрядом - постройкой моста на Днепре, у Екатеринослава.

Конечно, для столь крупной работы потребовались деньги, и немалые, для необходимого залога, то есть для обеспечения неустойки, и, наконец, для найма рабочих, постройки барачков, сооружения необходимых приспособлений. И деньги нашлись: ведь каждый определял свою будущую прибыль в миллион рублей, не меньше. Не знаю, как кончил Бабкин, а Маресев остался при пиковом интересе потому, как рассказывали Щекины, что потерял счет деньгам, кутил и не следил за работой. Естественно, что он вылетел в трубу. Тут интересно то, что два начальника линейных дистанций, получавшие по 2-3 тысячи рублей годового жалованья, оставили насиженные места в крупных центрах и взяли подряд на сооружение огромного моста в два яруса для конной езды и пропуска поездов, общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Предполагаю, что лишь залог казне в обеспечение условий подряда мог быть никак не менее 200 тысяч рублей. Откуда взялись эти деньги? Если Маресев мог продать около 100 десятин земли и дом в деревне (приданое жены), то у Бабкина подобных ресурсов не было.

Насколько был велик спрос на инженеров и техников, видно из справки доктора Мартенса, автора интересной книжки "Тридцать лет русской железнодорожной политики и

ее экономическое значение", которая издана в 1923 году. Вот эта интересная справка.

Естественно, что не хватало инженеров и техников не только на далеких окраинах, но и в центре, например на подмосковных железных дорогах. Почему же в таком случае так медлили с открытием в Москве института путей сообщения? А потому, что этому всячески препятствовали петербургские путевые "сферы", опасавшиеся конкуренции московских инженеров. Петербуржцы считали свой институт привилегированным и единственным поставщиком строителей железных дорог, относясь брезгливо, свысока к инженерам иных специальностей: технологам, химикам, механикам, горным инженерам и прочим. И с этим все как-то невольно мирились, хотя среди путейцев работоспособных и талантливых инженеров было мало.

Перечисляя общее наличие железнодорожных линий, я не назвал Китайско-Восточной дороги, сооруженной нами в Маньчжурии по стратегическим соображениям на особых договорных условиях с Китаем до Русско-японской войны. Не помню общего протяжения этой дороги от Маньчжурии до Пограничной и от Харбина через Мукден до Порт-Артура с ветвью на город Дальний. Во всяком случае туда потребовалось много инженеров, техников и агентов технической эксплуатации. Московское инженерное училище, имевшее трехгодичный курс теоретической учебы и двухгодичную практику на производстве, не давало до окончания практики молодым инженерам права самостоятельного производства строительных работ. При таком положении Московское училище не могло существенно помочь транспорту своими молодыми кадрами, и в результате возникла необходимость использовать на

окраинах всех тех, кого выгоняли с центральных дорог за взяточничество, мошенничество, воровство и прочие уголовные доблести. Тут уместно вспомнить, что и низшие технические железнодорожные училища стали открываться на железных дорогах лишь в 1890-х годах (по одному училищу на каждой дороге). А так как и в преподавателях ощущался недостаток, то дальнейшее не требует пояснения.

Не только в службу пути, но и в службы движения, тяги, материальной, бухгалтерии, коммерческой, телеграфа и прочие мелкие отделы набирали "учеников", обучавшихся различным специальностям железнодорожного дела на практике. Когда эти "ученики" научались так или иначе самостоятельно работать, их зачисляли в штат (25 рублей в месяц жалованья и 7 р. 50 к. квартирных денег), а нередко сманивали на другие дороги на "повышенные оклады". А там таланты по части взяток и мошеннических проделок развертывались во всю ширь. Потоки таких "талантов" двигались преимущественно на восток, по линиям вновь строившихся дорог. Товарные кассиры, смотрители пакгаузов и большинство начальников станций - все имели "безгрешные" доходы различных наименований и свойств.

Каждое железнодорожное частное общество отстаивало прежде всего исключительно лишь свои собственные интересы, представляя собой, так сказать, вполне "самоуправляющуюся единицу". Контроль правительства над железнодорожными обществами был скорее формальный, чем действительный, поэтому неудивительно, что эти общества, предоставленные сами себе, выдвигали свои собственные интересы на первый план, не обращая внимания на потребности соседних дорог, на требования государственной и экономической жизни страны.

Пассажирский вокзал трех дорог, сходящихся в Курске, и его пути общего пользования находились в ведении Московско-Курской дороги. Начальнику станции и его сотрудникам приходилось постоянно лавировать между противоположными интересами трех хозяев, угождать "нашим и вашим", оберегать интересы тех и других.

Пассажирские кондукторские бригады жили в Москве. Почти все кондукторы так или иначе спекулировали, являясь агентами разных фирм по перевозке и сбыту их продукции: золота, серебра, бриллиантов, шелковых и иных ценных изделий. Курские городские магазины почти весь некрупный товар получали из Москвы через посредство кондукторов. Этим же испытанным кондукторам купцы доверяли перевозку денег. Быстро, а главное - шито-крыто: никаких следов в банке или на почте. У каждого такого кондуктора были "свои" клиенты. Все железнодорожники об этом знали, и никого это не шокировало. Наоборот, значит, ему можно верить, не подведет и будет дорожить службой, дающей возможность бывать в Курске каждые два-три дня. Эти же пассажирские кондукторские бригады обслуживали Тулу, Мценск и Орел, где во время стоянки поездов к ним являлись местные купцы. Короче говоря, существовала образцово налаженная нелегальная транспортная сеть, конкурировавшая с государственной почтой, телеграфом и банками, только лишь на основе взаимного доверия. Значительные деньги и ценные вещи принимались, сдавались без всяких расписок, на честное слово.

## Первое жалованье и застой в службе

Когда я получил свое первое жалованье, подошел ко мне один из таких кондукторов и предложил купить золотую цепочку для часов за 35 рублей. Я ему отдал 30 рублей, а 5 рублей остались за мной до следующей получки. Но и мои сослуживцы не дремали: по заведенному обычаю надлежало "вспрыснуть" новичка. Наши пьяницы были весьма огорчены, узнав, что я жалованье истратил на покупку золотой часовой цепочки. Они говорили:

"С тебя толка не будет. Как же ты не знал, что первое жалованье идет на пропой души? Ладно, так и быть, до следующей получки. Но помни, опять не вздумай истратить деньги на бабью побрякушку".

В следующую получку меня "сцапали" своевременно и повели в трактир Ветрова, около вокзала, где компания расположилась в отдельном номере гостиницы, вдали от людских глаз. Потребовали водки, закусок. Тут я впервые узнал, что в торжественных случаях водку пьют не из рюмок, а из стаканчиков, так называемых стопок, емкостью более чайного полу стакана. К такой выпивке я не был подготовлен. От страха я еще более обалдел, увидев, что каждый такой стаканчик водки сперва "закусывают" стаканом пива, а уж после пива съедобным. Естественно, что после двух стопок водки с "пивной закуской" я свалился почти замертво, не будучи в состоянии сообразить, где я и что со мной. Как будто во сне расслышал замечания моих товарищей:

"Оставьте его в покое, проспится и сам уйдет. Какой он железнодорожник? Грош ему цена". Но не тут-то было. У меня началась рвота, и я ослабел настолько, что пришлось вызвать фельдшера, который увез меня домой. Так

закончилась моя первая гастроль по пьянке. И хорошо. Я стал отдаляться от компанейской выпивки. Хотя пьяницы относились ко мне безразлично, но я был спасен от этого недуга.

В дальнейшем я пил водку, но не напивался допьяна. Это помогало нормальной работе и не раз спасало от бед, но с другой стороны - не давало возможности двигаться по службе. В Москве, в Управлении дороги, меня никто не знал, а здесь, на месте, где я был далек от компанейских гульбищ, обо мне не помнили, старались не замечать. Меня не только не двигали вперед по службе, но и обходили обычными прибавками жалованья.

Было принято через год-полтора прибавлять младшим служащим по 5 рублей в месяц. Мне почему-то и этой обычной прибавки не дали. Я сам не просил, и меня перестали замечать. А когда я заикнулся было о том, что не понимаю, почему меня обходят, услышал такой ответ: "Знаешь поговорку: дитя не плачет, мать не разумеет".

Значит, надо просить, кланяться. Нет, не согласен, не хочу: пусть будет как будет. Я работал старательно, жил скромно, занимался самообразованием, стал бывать в обществе, но по службе вперед не двигался. Застыл, как студень, продолжая получать 25 рублей в месяц жалованья и 7 р. 50 к. квартирных денег. Первое время я жил у брата Лазаря, а затем, чтобы его не стеснять, поселился сначала в крестьянской семье, а потом у машиниста нашего депо Корневича, выходца из Германии. Платил я за стол, квартиру и стирку белья сначала 10, а затем 12 рублей в месяц. Я имел отдельную комнатку - светлую, уютную, теплую, да и кормили довольно сносно.

В 1882 году вследствие недорода вздорожала ржаная мука - до 1 р. 50 к. за пуд вместо обычных 50 копеек, и тогда некоторое время нам выдавали "хлебные": холостым 5 рублей, а семейным 8 рублей в месяц. Это была единственная добавка к моему жалованью, так сказать, автоматическая, но не по заслугам. Мне было обидно, но я терпеливо ждал - деваться некуда было. Куда пойдешь, кому скажешь. Вспоминалась и такая, ходячая тогда поговорка: "До Бога высоко, до царя далеко". И я терпел, стиснув зубы, но духом не падал. О возврате на родину, в "черту оседлости" не могло быть речи. Эта цепь порвалась окончательно, морально и физически, как у арестанта, вырвавшегося из неволи.

Я много читал книг, газет, журналов, стал бывать в обществе. Возникло тогда в Курске "Общество любителей музыкального и драматического искусства". Я записался туда. Сначала суфлировал, а затем выступал на сцене в водевилях и небольших пьесах, со временем стал деятельным членом драматической секции. Для сего приходилось ездить из Ямской слободы в город за пять верст, возвращаться оттуда поздно. Но это меня не смущало - я был молод, полон энергии, желания жить, работать. Лучшая библиотека в Курске была доступной лишь для членов общественного клуба. Я баллотировался и прошел в члены клуба, где большинство играло в карты, танцевало. Став членом клуба, я не осмелился пуститься в пляс рядом с чиновными дворянами, но читальный зал посещал усердно, книги таскал из библиотеки охапками и буквально пожирал их.

В это время начались на юге еврейские погромы. Ежедневно газеты сообщали об убитых, раненых, уничтоженных жилищах еврейской бедноты. Мне было

больно, обидно, но существенно помочь не мог ничем, кроме посылки пострадавшим своих грошей и сбора в их пользу денег среди сочувствующих. Но таких было мало. Я стал чуждаться людей, находя удовлетворение в книгах и размышлениях. Моя мама была еще жива, находилась в Староконстантинове, и я очень опасался за нее. Но все обошлось благополучно: и мама, и наш родной городок не пострадали от погромов.

Приблизительно к этому времени относится мой первый фотографический снимок в Курске - кажется, 1883 года, - где я снят сидящим у скалы, в байроновской мечтательной позе с форменной фуражкой в руке. Как видите, дети, я прилично одевался, хотя мой заработок был весьма ограничен. И не предвиделось этому конца.

Так прошло долгих пять лет, без просвета и каких-либо видов на лучшее. О переводе в Орел, Тулу или куда-либо еще я не смел мечтать: ведь там мой паспорт полиция не пропишет, здесь же, в Курске, мне хода не давали, не замечали. Этот вопрос нередко обсуждался моими старшими братьями, которые говорили: "Человек ты молодой, работоспособный, зачем себя губишь?" Приводили поговорки: "где жить, там и слыть"; "в каком народе живешь, того и обычай держишь" и т.п.

Короче говоря, их указания сводились к тому, чтобы я, не задумываясь, оставил еврейство, с которым, мол, у нас ничего общего не осталось. Тогда я буду свободен от никчемных тисков. Указывали на фотографа Пригожего, оптика Неймана, наших общих знакомых, уже порвавших с еврейством, свободно живущих в Курске. В это время (для меня неожиданно) принял лютеранство со всей семьей Наум Осипович Чайкель, отец Юзи. Я присутствовал на парадном

обеде, видел, как приветствовали, одобряли стариков, поступивших так ради маленьких детей, чтобы в дальнейшем избавить их от ненужных стеснений, страданий. И сам задумался над этим вопросом. Что-то далекое, неясное назревало в моем уме, но принять какое-либо решение я не мог, не смел, зная, что это убьет мою маму. С другой стороны, мне казалось: да, фактически я перестал быть евреем, отошел от них. Но буду ли я убежденным христианином? Конечно, нет.

Значит, пойду лишь на приобретение определенных выгод, преимуществ, так сказать, продам себя. А я где-то вычитал, что у каждого человека должно быть нечто, чем не торгуют, что не продается. Над этим я крепко задумался. Что же делать? И я решил оставить вопрос пока открытым, маму не огорчать.

Начальником станции в Курске был в то время некий Феликс Карлович Кибер, католик, по происхождению французский еврей, женатый на немке. Как технический работник Кибер не имел и не мог иметь успеха: его познания были весьма мизерны, да к тому же он больше занимался охотой на бекасов, вальдшнепов, зайцев, чем технической работой на станции. У него было одно преимущество: он хорошо владел французским языком, читал много, был в курсе литературных, политических современных событий. Правление дороги, точнее, акционерное общество Московско-Курской дороги, московское именитое купечество - Морозов, Ламин, Солдатенков, Садилов, Рукавишников, Чижов, Мамонтов, Горбов - выдвигали всячески Кибера, европейца, владевшего языками. Губернская знать того времени знала Кибера, не упускала случая поговорить с ним на перроне при публике по-

французски. Такими его собеседниками являлись губернатор, предводитель дворянства, некоторые помещики ("курские соловьи", как их называли), а также великие князья, генералы и прочие пассажиры, большие петербургские чиновники. Все знали Кибера.

Большинство пассажиров пересаживались в Курске в вагоны соседних дорог. Естественно, пассажирам приходилось обращаться к начальнику станции для выяснения всяких недоразумений. Внешне Кибер был чрезвычайно невзрачен, обязанностями начальника станции не очень себя обременял, но "французил" хорошо. Пассажирская знать этим довольствовалась. Все остальное выполняли его сотрудники. Между прочим, Кибер был слаб в русской грамоте, и ему нужен был грамотный письмоводитель, называвшийся тогда журналистом. У него был такой, но горький пьяница.

### **Служба письмоводителем Курского узла, освоение железнодорожной техники**

Когда я окончательно изверился в возможности продвигаться по службе обычным, легальным путем, мне пришла в голову мысль написать об этом Киберу через голову старшего агента передачи грузов, моего непосредственного начальника. Сказано - сделано. Сел, написал, подписался, указав свой адрес, запечатал и отправил по почте. Не припомню точное содержание своего письма Киберу, но общий смысл был таков: пятый год застыл на одном жалованьи, но не на одном месте. Меня как будто даже ценят, поручают различные обязанности, но жалованья не прибавляют. Почему? Точно не знаю, но могу лишь

предполагать, что причиной этому то, что моя фамилия не оканчивается на "ов" или "ский", то есть моя национальность. Если это действительно так, то было бы честнее откровенно объявить, чтобы я ни на что не надеялся и убирался ко всем чертям, так как "жидам" нет места на железной дороге. В этом письме я вылил всю свою злобу, все, что накопело.

Можно предполагать, что это письмо повлияло на Кибера прежде всего как на еврея. Он меня вызвал к себе, спросил, сам ли я писал это письмо, знает ли кто-либо о нем? Я ответил: писал сам, никто о письме пока не знает. Тут он мне пояснил, что своего хорошего письмоводителя он устроил в Москве, где вблизи родных он, быть может, перестанет так жестоко пьянствовать. Предложив мне занять место письмоводителя узла, Кибер спросил: справлюсь ли я с этой работой? Я ответил: постараюсь, а если не справлюсь, то честно, откровенно скажу сам. Жалованье письмоводителя было 40 рублей и 10 рублей квартирных в месяц. Скачок удивительный: обычно прибавляли по 5 рублей, а тут сразу такой куш. С другой стороны, с переходом на пассажирскую станцию я избавился от опостылевшей мне передаточной конторы, товарного двора и приблизился к живому общению с публикой, пассажирами, к учету работы технических агентов: дежурных по станции, составителей поездов, сцепщиков, стрелочников. Там я впервые столкнулся со значением простоя вагона, оборота паровоза, их пробегов. Мне открылась новая область разумной, сознательной работы. В эту гущу я ушел весь и быстро постиг корни премудрости технических отраслей. Мои письменные доклады, надо полагать, были достаточны грамотны, убедительны цифровыми данными. Обо мне узнали в

Управлении дороги, в Москве, так как сам Кибер плохо владел русским языком, а еще меньше - гладким изложением своих мыслей на бумаге. Через месяц-два я был вполне в курсе дела и работал самостоятельно. Эта отрасль станционной работы для меня являлась хорошей школой еще и потому, что, как я уже упоминал, почтовые и пассажирские поезда оканчивали рейсы в пределах своей дороги и все дальние пассажиры имели в Курске пересадку. Каждая дорога разрешала задерживать свой поезд, в случае опоздания поезда соседней дороги, лишь на 30 минут. Ну, а 35, 37 или 40 минут - можно? Практически эти вопросы разрешались различно, многое зависело от ловкости носильщиков, поворотливости самих пассажиров, количества их ручной клади и т.д. Затем, нельзя же было не предоставить дальним пассажирам хотя бы 10 минут, чтобы поесть в буфете, выпить чая. Наконец, в случае более длительного опоздания поезда разрешалось назначить дополнительный пассажирский поезд при наличии не менее 100 пассажиров с билетами прямого сообщения. А если таких пассажиров оказывалось не 100, а лишь 98 или 97? Что делать? Приходилось не только выяснять эти данные заблаговременно, но и сообщать в Москву начальнику конторы движения для назначения дополнительного поезда или задержки основного сверх положенных 30 минут, объясняться с публикой, выслушивать крики, нарекания, ругань.

Отчасти объяснения с публикой ложились на меня. Кроме необходимости быть всегда корректным, вежливым, чисто и опрятно одетым, быть всегда в курсе дела - я прошел в Курском узле хорошую техническую школу. Надо было "особым нюхом" покрыть отсутствие основного образования.

Меня заметили, я стал известен в городе и в Управлении дороги. Тут я впервые познакомился с Филипповым, который в качестве старшего счетовода приехал по службе из Москвы в Курск. Он пригласил меня заехать к нему в Москву, предупредив, что живет с матерью и сестрой. В Москве я еще не был, и мне приятно было такое внимание представителя Управления дороги. Я постепенно входил в роль, и как будто не безуспешно. Как относились ко мне сослуживцы? Различно, но в большинстве случаев глядели косо, недоумевающе: мол, какой-то "жиденок" затесался в большие забияки и тоже "играет роль". Мне это давали чувствовать нередко. Но так как нет такой вещи, к которой человек, невольно привыкнув, не стал бы равнодушен, то и ко мне постепенно привыкли.

Много работая, я продолжал бывать в клубе и в драматическом кружке. Танцевал на вечерах, играл на сцене, завел знакомых. Меня стали приглашать в дома, где были молодые барышни. Особо внимательны ко мне были Чепурины, Сциславские. Казалось, что папаши и мамыши имеют на меня виды. А может быть, такое предположение являлось ошибочным. Во всяком случае мне так казалось.

По службе я продолжал расти: я не только стал во главе технической и материальной конторы станции, но и дежурил по станции, заменял кассиров во время их случайных отсутствий. (Конечно, само собой разумеется, я не воровал, был честен до щепетильности ко всему, что находилось в материальной кладовой станции.)

В Курске было не так просто служить, как на других станциях. Кроме большой работы по приему и отправлению поездов, маневрированию, главное затруднение и опасность аварий заключались в пропуске курьерских (скорых) прямых

беспересадочных поездов, формировавшихся в Москве из двух групп вагонов: три до Севастополя и три до Киева или даже до Одессы. Московский, киевский и севастопольский поезда скрещивались в Курске ночью - от трех до пяти часов. Из частей этих трех поездов, со спящими в вагонах пассажирами, формировались новые поезда так: поезд на Харьков формировался из головной части московского поезда и хвостовой киевского. Поезд на Киев - из хвостовой московского и головы харьковского и, наконец, поезд на Москву - из двух остальных частей киевского и харьковского поездов.

Маневровая работа чрезвычайно сложна в ночное время; во избежание столкновений производилась одним маневровым паровозом. За все время моего пребывания в Курске, до весны 1888 года, не помню ни одной аварии, ни одного недоразумения на путях станции при маневрах. Там оставались еще работники школы Эмилия Данишевского, о которых нельзя не вспомнить.

Старший стрелочник Емельянов (из кантонистов), составитель поездов Зикеев, сцепщик Колесников и другие не просто работали, а священнодействовали. Работа в две смены, по суткам, тяжелая, трудная. Но душа радовалась, когда глядел, как разумно, тонко, предусмотрительно выполнялось каждое задание. И мы, молодежь, учились у этих стрелочников, составителей, сцепщиков, с восторгом берегли этих стариков как зеницу ока, чтобы их не сманили на другие станции или дороги. О сне на дежурстве никто не помышлял, все ждали с трепетом момента выхода поезда с соседней станции. Наконец-то сообщение получено: "Поезд вышел". Все зашевелилось, точно радостно оживо. Емельянов важно, степенно идет на платформу, сам звонит в

колокол "повестку". И по пути, по которому должен пройти прибывающий поезд, направляется к дальней входной стрелке, проверяя самолично положение всех стрелочных переводов. На каждой стрелке постовой стрелочник ему докладывает: "Все готово, Иван Емельянович, стрелка на запоре и замке. Вот ключ". Но Иван Емельянович не довольствуется словесным докладом. Отбирая ключ, он сам осматривает, "ощупывает" каждый стрелочный перевод. Зачем? А кто его знает - все под Богом ходим, а у нас все должно быть благополучно. Дойдя до дальней входной стрелки, сам убедившись, что все благополучно, Иван Емельянович "играл зори". Не сигнал давал, а артистически, вдохновенно играл, как музыкант. Стрелочные сигнальные рожки были тогда без пищиков, имели вид и устройство корнет-пистона небольшого размера без клавишей. Из этого немудреного рожка Емельянов извлекал чудные звуки в ночной тиши. Не знаю, был ли Емельянов в военной службе музыкантом или трубачом-сигналистом, но на сигнальном рожке стрелочника он играл артистически. У этих Емельяновых, Зикеевых, Колесниковых я учился, и не без огромной пользы. Их практический вуз я прошел и окончил успешно.

### **В отпуске в Староконстантинове, смерть матери**

Приблизительно в это время я впервые поехал на родину в отпуск повидаться с мамой. Отпусков молодым вообще, как правило, тогда не давали. А я, проработав на транспорте четыре года с лишним, считался еще "молодым". Но кто-то посоветовал написать заявление о болезни матери. Я написал и получил отпуск на пять дней. Надо было проехать до станции Полонное Юго-Западной дороги (около 800

верст) и далее 60 верст на лошадях. Конечно, пяти дней было недостаточно, но я все же поехал. По телеграмме мне отсрочили отпуск еще на пять дней, и я успел погостить на родине - всех повидать, себя показать.

Староконстантиновские евреи, их раввины и талмудисты, занимающиеся ростовщичеством, не в меру любопытные, несдержанные, порывистые, но полные сумрачного величия и тайного презрения к "пану", произвели на меня весьма тяжелое впечатление. Мои успехи по службе оценила мама, а за ней все близкие, первой мыслью коих было женить меня. Началось сватовство. У евреев этим ремеслом занимаются мужчины, женщины лишь нашептывают свату, снабжают его сведениями, конечно, за определенную плату. Мне было тогда 23 года, я был уже свободен от солдатчины, что особенно ценилось у евреев. (Я забыл рассказать, что по призыву 1882 года должен был идти на военную службу. Совершенно случайно я вытянул при жеребьевке в Курске дальний номер, и в солдаты не попал.) "Женить немедленно, безотлагательно, - говорили моей маме, - а то знаете, в Курске евреев мало, ваш сын человек молодой, влюбится в какую-нибудь Параску. А старый еврейский Бог вас на том свете похвалит? Как вы думаете? И будет вроде, не к ночи будь сказано, братьев Беер..."

Мои земляки, известные на юге железнодорожники братья Беер - Семен Михайлович и Юлий Михайлович, которым покровительствовал известный Витте, - оставив еврейскую веру, приняли православие. Семен женился на русской девушке, а Юлий - на еврейке, крестившейся вместе с ним одновременно. Как земляков, хотя и старших по возрасту, я знал Бееров, встречался с ними. Это напомина-

ние о крещеных братьях Беер возымело действие, и мама стала меня убеждать в необходимости жениться или пока хотя бы выбрать невесту с приданым. От сватовства мне удалось отделаться, но материнское чувство предугадало мою далекую мысль. Мама взяла с меня слово, что если я вздумаю отречься от еврейства, то я не сделаю этого при ее жизни. Я сдержал свое обещание.

Перед отъездом из Староконстантинова я снялся в местной фотографии. Карточка сохранилась и поныне. Получился оригинальный снимок. Единственная тогда в нашем городе польская фотография, существовавшая с 1863 года, принадлежала старушке Урсун, вдове бывшего владельца. В жаркую летнюю пору я был в белой блузе, вроде нынешней толстовки. Старушке показалось, что белый фон блузы не будет соответствовать моей солидности - "так, мол, снимаются лишь мальчишки". Времени до отъезда оставалось немного, переодеться некогда было, и, чтобы не терять заработка, вдова Урсун придумала такой компромисс: поэтически закрыла мою белую блузу своим платком, прихватила булавками и получилось нечто вроде греческой тоги, если можно так выразиться. Нельзя сказать, чтобы красиво, но оригинально. Моя мама была тогда замужем в третий раз - за неким Деревичером. От этого брака у нее был ребенок - здоровенный, славный пятилетний мальчишка Додик (Давид).

У Деревичера были взрослые дети от первого брака. Вскоре Деревичер внезапно скончался, а через некоторое время умерла и моя мама. Это было осенью 1885 года - через 10 лет после кончины моего отца. Меня вызвали из Курска. Я приехал после похорон мамы. Мне передавали, что она умерла неожиданно, во время сердечного припадка. Я

отказался от своей доли наследства в пользу детей старшей сестры Эстер-Рухел. Что и сколько осталось маленькому Давиду - я не помню. Но не могу до сих пор простить себе безразличное, точнее, преступное отношение к единоутробному брату Давиду Деревичеру, оставленному в Староконстантинове на произвол судьбы.

Почему это так получилось, поныне не могу понять и объяснить. Я слышал стороной, будто Давид эмигрировал в Америку со своим братом по отцу, со старшим Деревичером, и там блестяще устроился. Но это лишь непроверенный слух, случайная молва. Если верить существованию греха, то на моей душе большой грех за безразлично-преступное отношение к судьбе маленького тогда брата Давида. Мамы своей я больше не видел и карточки ее не имею. У Акима сохранилась ее карточка. Постараюсь достать и переснять.

## **В Москве на Масленице**

После смерти матери мне впервые пришлось быть в Москве на Масленице в разгар московских кутежей, пьянства. Меня пригласила к себе в гости семья Кристоф, Карл Иванович и Клара Абрамовна, мои дальние родственники. Клара Кристоф, урожденная Шиперович, - младшая сестра Полины Абрамовны Чайкель, матери Юзи Чайкель.

Вскоре после того как семья Чайкель приняла лютеранство, Клара последовала их примеру и вышла замуж за Кристофа, механика по профессии. Это был типичный немецкий буржуа, аккуратный, исполнительный человек, высокой честности. В Москве еще не было электрического освещения, и Карл Кристоф впервые оборудовал и осветил

Манеж (экзерцгауз, как Манеж тогда именовался на афишах) на время масленичных народных гуляний. Клара меня встретила утром на старом Курском вокзале и увезла к себе на Гороховую улицу. Извозчик просил 30 копеек, а затем гривенник сбавил и согласился везти нас за 20 копеек с вещами. Конечно, московская привокзальная суета меня поразила. О длиннородых извозчиках, их выговоре, окании, уличной суете не приходится распространяться: я глядел на всех и вся в Москве как баран на новые ворота. Ничего подобного до приезда в Москву я не видел. Когда я привел себя в порядок, умылся, переоделся, явился Карл. Он, как рабочий, обедал в 12 часов дня, отдыхал и в 3 часа уезжал в Манеж, где оставался до глубокой ночи - до окончания всех представлений. Он сам прекращал работу паровика, тушил свет, все запирает, ключи от машинной увозил к себе домой.

На вопрос, что я желаю видеть в Москве, я ответил: "Все!" - "Ну, - ответил Карл, - всю Москву в год не осмотришь. Ведь это не Курск, здесь 700 тысяч, а может быть, и больше населения, сорок сороков церквей и т.д." Я был поражен, млел от удивления и мощной силы людей новой для меня эпохи. Ведь в Курске было тогда около 40 тысяч населения, а в Староконстантинове лишь 12 тысяч, а тут вот - 700!

Так как Карл Иванович был занят на работе, то Москву мне показывала Клара. На Красную площадь мы поехали на конке от Земляного Вала. Чтобы лучше видеть город, я по совету Клары взял для себя билет за три копейки на империале, на вышке, куда взбирались по винтовой лесенке. Женщин на вышку не допускали, и Клара ехала вниз, в закрытом вагоне. У меня, конечно, глаза разбежались. Рядом со мной сидел какой-то мастеровой, обративший на меня свое внимание. "Что-о-о, м-о-о-олодчик, хо-о-о-ороша- а-а

Ма-а-сква-а? Да я тебе по-русски скажу, напрямик: другой такой Ма-а-асквы на свете нет..." А сам, каналья, лущил семечки и кожуру сплевывал вниз на мостовую.

Пробыв в Москве около недели, я, конечно, побывал в театрах, музеях, картинных галереях, кремлевских дворцах, ресторанах, трактирах, кабаках и т.д. С помощью знакомых, близких и наскоро приобретенных столичных друзей окупился в московскую гущу, познав положительные и отрицательные, на мой взгляд, качества Первопрестольной. Самое сильное впечатление на меня произвело Лобное место на Красной площади. Я не верил своим глазам, что вижу то самое место, где рубили головы боярам, стрельцам и иным. А когда меня заставили снять шапку при проходе через Спасские ворота и объяснили, чем это вызвано, я ощутил далекое былое. То же ощущение я испытал, когда увидел воочию колокольню Ивана Великого, Царь-колокол, в который никогда не звонили, и Царь-пушку, из которой никогда не стреляли. Был в соборах и церквях. Конечно, поразило меня необычайное богатство церквей, где было так много золота, серебра, бриллиантов и иных ценных камней. Но количество церквей, "сорок сороков", на меня не возымело воздействия, вероятно, потому, что в Москве в то время было столько же "сорок сороков" кабаков, трактиров, ресторанов и иных распивочно-питейных заведений. Я не считал, но так, на глаз, питейных заведений было больше, чем церквей.

По случаю Масленицы давались в театрах всюду дневные представления, и я за несколько дней успел побывать два раза в Большом театре, в Малом театре и в цирке Соломенского. Конечно, ничего подобного ни в Старокон-

стантинове, ни в Курске не было. Да и публика иная - одеты иначе и держались по-иному.

В Управление дороги я впервые вошел со страхом и трепетом, не чувствуя почвы под ногами. Я с удивлением глядел на швейцара Феодора, стоявшего у вешалки, где раздевался директор дороги, с недоумением пропускал вперед каких-то служащих, куда-то торопившихся. Я не знал, кто они, но чувствовал, что все они винтики той великой машины, от которой зависит все мое будущее. Преодолев страх, я снял пальто, калоши и, направляясь наверх, наскочил в коридоре на начальника движения Хижнякова, сменившего Данишевского. Он меня видел на работе в Курске, и я не думал, что он меня запомнит. Мне казалось, что я не могу, не должен, не имею права предстать здесь, в этом святилище, пред его светлые очи и пытался юркнуть за какую-то дверь, спрятаться. Но было поздно. Почти столкнувшись с ним, я оцепенел и застыл, как студень. А Хижняков, предобродушно положив руку на мое плечо, сказал: "Вот и курские соловьи к нам пожаловали. Проходите".

Милейший Василий Михайлович Хижняков, брат известного в то время черниговского либерального земского деятеля, в дальнейшем относился ко мне чрезвычайно внимательно, ценил меня. Через час-другой я вполне освоился с обстановкой, познакомился со многими в управлении и был приглашен с компанией в ресторан после службы. Против этого запротестовал Филиппов, заявивший, что я обедаю у него, а вечером будем в большом московском трактире. Мой визит к Филиппову был отмечен необычайным вниманием, оказанным мне его матерью, Марией Егоровной, и сестрой Анной. Такого внимания я не ожидал и

не мог предполагать. Меня сразу приняли как близкого, родного. Старуха стала называть на "ты" и очень заботилась, чтобы меня не споили управленские пьяницы, шлявшиеся по ресторанам и трактирам каждодневно, в большинстве случаев за счет приехавших с линии. Считалось как будто обязательством после службы обедать компанией в трактире, чай пить в другом, затем отправляться в театр или цирк, а потом вновь в трактир до трех часов ночи, а то и позже.

Мария Егоровна меня сразу взяла под свое покровительство, обязав в дальнейшем при поездках в Москву приезжать к ним, как к себе домой, без малейших церемоний. Я предполагаю, что старуха могла иметь на меня виды как на жениха для своей дочери Анны, несколько старшей меня по возрасту; возможно, тут имело место стремление помочь, оказать внимание "своему".

Кто был покойный муж Марии Егоровны, я не знаю, об этом как-то не распространялись очень подробно. Я слышал, что он управлял каким-то подмосковным помещичьим имением. Сама Мария Егоровна Филиппова, сохранившая до глубокой старости типичную еврейскую внешность и свойственную этой нации жестикуляцию, также никогда не распространялась о своем прошлом, но это было ясно - по крайней мере для меня - и без всяких объяснений. Постоянно восхищаясь Москвой - мол, "сердце России", - она беспрестанно повторяла: "у нас в Москве" и т.д., но чувствовалось, что, порвав давно с еврейством, Мария Егоровна Филиппова как будто во мне искала сближение со своим прошлым, давно минувшим.

## Дружба с Филипповыми

Мое первое пребывание в Москве и знакомство с "сердцем России" закончилось прежде всего крепкой дружбой с Филипповыми и взаимным обменом фотографическими карточками. Я до сих пор сохраняю с умилением фотографии Марии Егоровны и Павла Филипповича, моих не только впоследствии родичей, но и преданных друзей моей семьи. К искреннему сожалению, не помню, куда девалась карточка Анны Филипповны - дочери Марии Егоровны, которую, как тогда казалось, прочили в невесты мне. Бывая затем нередко в Москве, приезжал к Филипповым запросто, как к родным, и они не допускали мысли, чтобы я не жил у них.

Павла Филипповича вскоре назначили помощником бухгалтера. Он много работал, с утра до вечера, не разгибаясь. Однако, наскоро пообедав в своей семье, шел в трактир, где за графинчиком в компании проводил вечера до полуночи, а то и позже. Таков был обычай в Москве. Он не был пьяницей, но так все делали каждый день. Было принято ходить "чай пить" в определенный трактир, где у каждого посетителя обычно было "свое место". Там заводились знакомства, иногда и связи. Если кто-либо не являлся вечером в трактир, то все интересовались: "Что случилось, не хворает ли?"

Обычный тип московского полового пестрил везде - и в парадных, и в дешевых ресторанах. В белой косоворотке, подпоясанный шнурком и в белых брюках, волосы подстрижены в скобку. Мне претили трактирные порядки, и Мария Егоровна ставила своему сыну меня в пример.

## **Мысли о необходимости порвать с еврейством и начать "новую жизнь"**

Свои служебные обязанности я исполнял с еще большим рвением, стараясь забыть возникшие в Москве мысли о необходимости порвать с еврейством и начать "новую жизнь". Я прекрасно понимал, что по убеждениям я и к христианству не пристал, но формально надо было решиться на что-то. На что? Надеть длиннополый сюртук, отрастить пейсы и ехать в черту оседлости служить старому еврейскому Богу и его избранному народу, избиваемому погромщиками, или же порвать с этим, для меня уже "прошлым, далеким", и причалить к другому, христианскому берегу, также мне по убеждению чуждому?

В это время мои земляки, братья Беер, о которых я уже упоминал, занимали видное положение: старший, Семен Михайлович, ровесник моим старшим братьям, был начальником станции Киев, а младший, Юлий Михайлович, - начальником станции Винница Юго-Западных железных дорог. Конечно, оба были уже "православными". Семен Михайлович, надо полагать, умел в работе "показать товар лицом", поэтому, видимо, и пользовался особым покровительством Сергея Витте, звезда которого тогда загоралась уже в общегосударственном масштабе.

Витте, по образованию математик, окончил Одесский университет, поступил на службу Юго-Западной дороги конторщиком и быстро пошел в гору. В середине 1880-х годов Витте, не имея технического диплома, был уже управляющим Юго-Западными дорогами. По тому времени - случай небывалый, исключительный. Я не собираюсь писать биографию Витте - она общеизвестна, - но в то далекое

время его карьера многим кружила голову, а пользовавшиеся его покровительством, расположением считались выдающимися людьми в железнодорожной области. К таковым принадлежал С.М. Беер. Не обходилось без скандалов, конечно. Черносотенная местная газета "Киевлянин", конечно, травила Беера, как "жида", лягала и Витте. Припоминаю, ловкий Витте как-то выступил в газете "Киевская мысль" с письмом по поводу нападок на него редакции "Киевлянина". Опровергнув по существу очередные выпады "Киевлянина", Витте убедительно просил газету писать о нем что угодно, но каждодневно, дабы все знали, как работает пограничная железная дорога и кто ее обслуживает своим трудом. Брань, мол, на воротах не виснет, иногда и полезна. "Киевлянин" на некоторое время умолк, затих.

Впоследствии Витте, как известно, был министром путей сообщения, министром финансов, премьером. Он неизменно покровительствовал Бееру, который пробыл начальником станции Киев около 40 лет. Само собой разумеется, карьера братьев Беер, выходцев из Староконстантинова, мне и моим старшим братьям кружила голову. Но мои братья уже были женаты, обзавелись семьями, и им не так легко было решиться отречься от еврейства. Меня они благословляли на это, подталкивали.

Хочу отметить, что талантливого, умного Витте евреи, конечно, считали тогда "своим", евреем по происхождению. В мемуарах Витте об этом умалчивает и подчеркивает свое дворянское происхождение. Во всяком случае служебная карьера Витте была необычайной для того времени. Мы, маленькие люди, не только восхищались Витте, но и млели перед его талантом. Через 10 лет после его смерти появилась

интересная книга профессора Тарле. Не могу не привести небольшой отрывок:

"Основная черта Витте, конечно, жажда и, можно сказать, пафос деятельности. Он не честолюбец, а властолюбец. Не мнение о нем людей было ему важно, а власть над ними была ему дорога. Не слова, не речи, не статьи, а дела, дела и дела - вот единственное, что важно. Сказать или написать можно, если нужно, все, что заблагорассудится, лишь бы расчистить пред собой поле, устранить препятствия и препятствующих и начать строить, создавать, переменять, вообще действовать. Один, уже покойный, публицист ( А.И. Богданович ) когда-то выразился так:

"Витте не лгун, Витте отец лжи. Но это свойство происходило именно от полного презрения к словам. Сказать ложь или сказать правду - это решительно все равно, лишь бы дело было сделано... Слова, высказываемые истины - все это само по себе ни малейшей ценности не имеет. Точно так же не имеют ни малейшей ценности и люди. Хорош тот, кто помогает графу Витте; безразличен (как муха) тот, кто не нужен графу Витте..."

Моя жизнь в Курске, работа на транспорте текли размеренно, спокойно, но я не мог не видеть того, что вблизи меня происходило. Весовщики, кладовщики, прочие подсобные работники таскали свечи, бечеву, пломбы и другие материалы на местный рынок. Начальник станции Кибер, этот "европеец" по рождению и воспитанию, получал из буфета бесплатно для себя и всей своей семьи завтрак, чай, обед, ужин, кофе. В определенное время дня официант носил это к Киберу в квартиру у всех на глазах, и это не считалось предосудительным. Даже в то время прокормить

семью Кибера из четырех человек и горничной изысканными кушаньями, полагаю, стоило недешево. А ведь Кибер получал 3200 рублей в год жалованья, при готовой квартире с отоплением и освещением, не считая наградных. Его тесть занимал большое положение в Москве, служил в заграничной фирме готового платья Мандль и Ко. И оттуда он получал для себя, жены и детей платье на весьма льготных условиях, если не даром. Куда же он деньги девал при своей необычной скупости? Вероятно, копил.

Рядом с Кибером был другой тип, почище, - начальник жандармского отделения полковник Альбертус. Альбертус жил на частной квартире в городе, в пяти верстах от станции. Какими он обладал средствами, сколько получал - не знаю. На станцию он приезжал ежедневно, выслушивал доклады своих жандармов, ходил в буфет, по путям, служебным помещениям, толкался среди пассажиров. Обслуживал он Курское отделение с открытия дороги в 1864 году и, как говорили, был на хорошем счету у своего начальства. С этим Альбертусом произошел на Курском вокзале такой курьезный эпизод.

Как-то проезжал в отдельном вагоне с почтовым поездом из Петербурга в Севастополь великий князь Константин Николаевич (брат Александра Второго), считавшийся необычайно либеральным и за которым жандармы будто бы - как говорили тогда - следили. На железной дороге Константин Николаевич действительно вел себя демонстративно. В Курске для него открывали так называемые "императорские" комнаты, находящиеся в исключительном ведении жандармерии, но Константин Николаевич туда никогда не заходил, а толкался в общем пассажирском зале, среди публики. В данном случае он ехал

с почтовым поездом, проходившим Курск в обеденное время. Пообедав со своим адъютантом в общем зале, Константин Николаевич, узнав, что до отхода поезда осталось еще достаточно времени, гулял по платформе. Альбертус, конечно, двигался за ним. Заметив это, Константин Николаевич два или три раза произнес: "Пожалуйста, не беспокойтесь, полковник". Когда эти замечания не возымели должного воздействия, Константин Николаевич громко сказал Альбертусу:

"Разве я вам должен, что вы за мной бегаете?" Альбертус, сконфуженный, как будто даже заплакал и отошел в сторону.

Альбертус как начальник жандармского управления был в курсе всего, что происходило на станции, до мелочей. И при этом на станции открыто, на глазах у всех оперировала шайка шулеров. Во главе шайки стоял солидный, благообразный, изысканно одетый еврей по кличке Пас, обычно говоривший: "Я всегда пасую". Этот Пас и его ближайшие "сотрудники" являлись ко всем поездам, расхаживали по перрону, по станционным залам, заводили знакомства с пассажирами, нередко уводили свои жертвы в ближайшие гостиницы, где шайка занимала несколько номеров. Первое время извозчики, обычно стоявшие у подъезда вокзала, увидев Паса или его "сотрудника", ведущего очередную жертву по направлению к гостинице Бурцева, поднимали неистовый крик: "Гляди, ребята, повел, повел, ау- ау!.." Со временем и эти выкрики прекратились: Пас извозчиков подкупил. Всех подкупил. В вокзале стакан чая стоил 10 копеек, а Пас и компания платили официантам по рублю. Сколько он платил извозчикам - не знаю. Предполагаю, что Альбертус и его жандармы были пайщиками этой шайки, оперировавшей открыто, у всех на

глазах, во всех поездах. И все молчали. Видел все это и я, но не посмел пикнуть, конечно. Как-то я сказал об этом Киберу, а он мне ответил: "Не вмешивайтесь не в свое дело, вас это не касается. А то плохо вам будет". И я умолк.

Когда ко мне подходил Пас, почтительно здоровался, снимал шляпу, у меня почему-то поджилки тряслись, я был сам не свой. Конечно, и полицейский пристав Ямской слободы получал солидную толику, так как Пас со своими сотрудниками, несомненно, жил в гостинице Бурцева без прописки паспортов. А на вокзале и в вагонах то и дело раздавались крики:

"Батюшки, проиграл последнюю десятку, куда теперь денуть? Хоть пешком иди".

Но этим возгласам никто не внимал, все были глухи. Работала шайка несколько лет подряд и в одно прекрасное утро неожиданно, внезапно исчезла. Оказалось, что опоздавший севастопольский поезд привез сравнительно мало пассажиров, следующих дальше Курска, поэтому дополнительный поезд к Москве не был назначен, и пассажиры, расположились в вокзале в ожидании следующего поезда. Подобные случаи для шайки Паса были хорошим уловом. В числе застрявших в Курске пассажиров оказался какой-то немецкий ученый, путешествующий по России. В ожидании поезда профессор примостился в пассажирском зале на диване и задремал. Пас, конечно, тут как тут - с театральным чемоданом в руках также дремлет якобы в ожидании поезда. Потягивается, зеваает, ругает "рассейские" железнодорожные порядки. Разговорились. Профессор рад, доволен - он по-русски не говорит, а случайный сосед немного говорит по-немецки.

Стало светать. Выпили кофе и отправились погулять, подышать свежим воздухом. Пас, конечно, все знает, поэтому показывает любопытному профессору окрестности вокзала, объясняет, где, что и как строилось, заселялось. Хотя железнодорожного технического училища в Курске не было, он, указывая на гостиницу Бурцева, где уютилась шайка шулеров, объясняет недоуменному профессору, что фактически это здание технического училища, но временно тут открыт ресторан с отдельными кабинетами, так как общество акционеров железной дороги не имеет пока средств закончить оборудование трехэтажного здания. Словом, заговорил зубы наивному профессору, заманил его в притон и обыграл до нитки, что называется, в размере нескольких сот марок.

Немецкий ученый взвыл. Я слышал его объяснение с начальником станции Кибером, который переводил жандармам речь немца. Жандармы стояли как вкопанные, разводили руками, уверяя, что никаких шулеров на станции не было, нет и быть не может. Однако немец, видимо, не удовлетворился этими уверениями и в Петербурге пожаловался германскому послу. Возникло сложное расследование. Пас со своими "сотрудниками" срочно исчез с горизонта; Альбертус по старости лет ушел в отставку на пенсию; полицейского пристава Ямской слободы сменили; жандармов (нижних чинов) куда-то перевели. Все же шулерская шайка открыто, у всех на глазах оперировала на крупной железнодорожной станции около двух лет. И если бы не этот скандал с жалобой германскому послу, то Пас благополучно продолжал бы работать, подкупая не только местную железнодорожную полицию, но и буфетных

официантов, и извозчиков, стоявших у подъезда вокзала, и полицейского пристава, и урядника и т.д.

Я не сомневаюсь, что Альбертус получал от шайки Паса свою долю, но склонен думать, что и полицмейстер, и губернатор не могли не знать о шайке, обирающей пассажиров каждодневно, у всех на глазах два года подряд. Значит, и губернские власти состояли в деле, получали паи. Таково мое предположение, хотя пастушеские невинные трели чиновников звучали иначе...

### **Барон фон Дистерло**

Барон фон Дистерло, очевидно, знатного происхождения, служил тогда на станции Курск техническим конторщиком и по совместительству заведовал кладовой забытых вещей, то есть найденных в вагонах после высадки пассажиров.

Дистерло, бывший интендантский чиновник, где-то что-то совершил незаконное, был отставлен без чина и пенсии и очутился в Курске. Он поступил к нам на службу по личной протекции генеральши Полторацкой - тоже знаменитости в своем роде. Полторацкая славилась не только как владелица огромного доходного дома в Курске на Московской улице, в котором разместились на самом бойком месте гостиница, магазины, парадные квартиры. Полторацкую знали в местных сферах еще и потому, что брат ее покойного мужа был женат на Анне Петровне Виноградовой, по первому мужу Керн, о которой, как отмечает в своих воспоминаниях и А.И. Дельвиг (том II, стр. 345), "никто бы не мог поверить, что некогда Пушкин писал ей:

"Я помню чудное мгновенье,

Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты...".

Высокий, худой, неряшливый, но с сознанием былого достоинства, Дистерло работал в технической конторе. На его обязанности лежало составление суточного рапорта, который состоял из краткого перечня сведений о прибывших и отправленных поездах, вагонах, о лицах, находившихся на дежурстве, и об авариях и всяких происшествиях на территории станции. Вагоны списывал с натуры особый списчик, а Дистерло переписывал их номера в настольный журнал и бланк суточного рапорта. Он врал, путал отчаянно, однако, по его убеждению, был виноват не он, а списчик Дьяченко, простоватый деревенский парень, боявшийся барона как огня.

Тогда в пассажирских вагонах проводников не было, и в поездах всем распоряжалась кондукторская бригада в количестве четырех человек. Правда, зимой в поездах были истопники, но они находились при топках и никого не обслуживали. Кондукторские бригады пассажирских поездов сменялись на станции Скуратово для отдыха. Прямых, беспересадочных поездов, кроме курьерских, тогда еще не было. После высадки пассажиров, до уборки вагонов на деповские пути, весь прибывший состав поезда подвергался осмотру специальными станционными служащими в присутствии жандарма - для проверки сохранности вагонного инвентаря и сбора забытых пассажирами вещей. Чего только не было в числе забытых, а иногда заведомо оставленных в поездах вещей! Калоши, шапки, портфели, чайники, кофейники, платья и т.п. Попадались и весьма ценные вещи: часы, кольца, серьги, браслеты, чемоданы с

бельем и платьем. Найденные вещи хранились в особой кладовой, коей заведовал фон Дистерло. Жандармы, естественно, интересовались особенно книгами, листовками, прокламациями, которые нередко находили в числе "забытых" вещей в вагонах.

В кладовой была особая прошнурованная книга, куда Дистерло обязан был заносить на приход каждую вещь с указанием отличительных признаков и даты. По инструкции каждую вещь, кроме огнеопасных и скоропортящихся, можно было хранить в станционной кладовой 14 дней, а затем надлежало отправить в Московский главный склад. Там найденные вещи хранились год в ожидании появления владельца, а затем уже поступали в продажу на публичных торгах.

В кладовую ежедневно поступало не менее десятка забытых в вагонах и залах вокзала вещей, а возвращались владельцам одна, редко - две вещи. Почему? А потому, что железнодорожники, и, в частности, барон фон Дистерло, хозяйничали в своих личных интересах. Чтобы получить из кладовой забытую вещь, надо было подробно описать отличительные признаки, приметы каждой вещи. А так как многие вещи до записи обменивались на такие же, но похуже, то - ищи ветра в поле.

Ведь чемодан чемодану рознь, не говоря уже о том, что находилось в чемодане - к примеру ценные золотые вещи. Вахмистры-жандармы получали свою долю в виде обмена желанных вещей на барахло и, так сказать, принимали непосредственное участие в грабеже. И Дистерло брал из кладовой что понравится, расписываясь в книге вымышленной фамилией. Знал ли об этом начальник жандармского отделения полковник Альбертус? Да, знал и молчаливо

поощрял, так как за ним были дела "покрупнее", о чем знали все его нижние чины. Необходимо было их задобрить.

### **Кайзер - багажный кассир**

Хронический алкоголик, всегда пьяный или полупьяный, он работал по привычке, по инерции, и работал сравнительно недурно. Работая на станции Курск-I, находящейся в Ямской слободе, в нескольких верстах от города, Кайзер, как он сам уверял, никогда не был в городе, хотя много раз пытался это осуществить. Объяснял он это так: "Пойдешь, бывало, в город, ну как не зайти в один-другой попутный трактир, пропустить рюмочку, посидеть. А таких заведений тогда было немало. Глядишь, время прошло, надобно отдохнуть и торопиться на станцию к приходу поезда. Так до города не доходил". Ведь кассир был один, и в случае его отсутствия прием или выдача багажа прекращались. Помню на одном из питейных заведений в Ямской слободе, около вокзала, такую вывеску: намалеваны две пьяные рожи и внизу подпись: "Куды ты милай друх стримисся?" - "Прямо у кабака иду". В своем роде перл, даже по тому времени. Передавали, что Кайзер будто бы пытался попасть в город по железной дороге, но в вагоне засыпал, кондуктор заведомо его не будил, и, таким образом, Кайзер возвращался на вокзал обратным рейсом. Словом, не везло Кайзеру.

## **Данишевский Эмилий Иванович, начальник станции Курск**

Отец Эмилия Ивановича, как он нам рассказывал, участник первого польского восстания 1831 года, вынужден был тогда эмигрировать в Америку; там женился. В Калифорнии от этого брака родился Эмилий Иванович, окончивший затем школу морских юнг. Будучи уже командиром буксирного парохода, он стремился попасть в Россию, на родину отца, о которой знал лишь по книжкам и его рассказам. Смелый, энергичный, молодой Эмилий оставил морскую службу и в начале 1870-х годов поступил на железную дорогу. В сравнительно короткое время он занял на одной из железнодорожных станций Северной Америки заметное положение по технической эксплуатации.

Зная о горячке железнодорожного строительства в России, Эмилий Данишевский не ошибся в надежде найти здесь применение своим знаниям - своих подготовленных кадров Россия тогда еще не имела. В то время на русских железных дорогах работало много немцев, французов, англичан, датчан, норвежцев. Естественно, толковому, ловкому Данишевскому, приехавшему в Россию на родину отца с американским паспортом, нетрудно было устроиться. Через некоторое время он занял должность начальника Брестского железнодорожного узла, где показал такую американскую организацию работы, что тогдашние акционеры большинства частных железных дорог обратили на него серьезное внимание.

## Железные дороги в 60-70-х годах XIX века

Железные дороги в 60-70-х годах XIX века росли как грибы, и на постройках наживались не только строители и подрядчики - фон Мекки, фон Дервизы, Губонины, Поляковы и другие им подобные, но и их покровители: великие князья, министры, правительственные инспектора, инженеры всяких рангов и прочие - до мелких чиновников министерств включительно. Одни наживали миллионы, другие тысячи и десятки тысяч, третьи сотни рублей - не в этом суть дела. К наживе стремились все, и взятки цвели, как библейский Ханаан.

Некоторые соискатели концессий определяли поверстную стоимость значительно выше максимальной - ведь иным покровителям приходилось давать взятки до 4 тысяч рублей с каждой строительной версты. Такие куши получали знатные покровители в столице, способствовавшие получению концессий. А остальные, по нисходящей, коих было немало? А себе? А ближайшим сотрудникам и местной администрации всяких рангов? Словом, создавался сплошной замкнутый круг с определенными воровскими традициями, автоматически передававшимися из рода в род служащим постройки, а затем и эксплуатации железных дорог.

Совершенно очевидно, что при быстром росте строительства железных дорог с подготовленными кадрами для их обслуживания дело обстояло скверно. Машинистов, дорожных мастеров, техников, начальников станций некоторым частным дорогам нередко приходилось приглашать из-за границы с молчаливого согласия правительства. Но так как иностранцы обходились

недешево, то для заполнения штатов волей-неволей пришлось набирать людей на местах, т.е. нередко мало соответствовавших условиям работы на транспорте. К числу таких, набранных на месте без разбора или по протекции местных администраторов, надо отнести и некоторых технических конторщиков Курской железнодорожной станции.

Прогулы, пьянство, малое и крупное мошенничество, взяточничество были обычными явлениями, никого не конфузившими. Крали все: свечи, дрова, уголь, писчую бумагу, перья, карандаши, гвозди - все имевшееся в кладовых. Особо варварски расхищали вагонные свечи, которые десятками пудов сбывали на рынок без зазрения совести и за бесценок. Какими-то пробными опытами было установлено, что вагонная свеча должна гореть восемь часов. Для определения нормы освещения вагонов пассажирских поездов были объявлены астрономические сведения обсерватории о продолжительности темного времени на каждый месяц в часах и минутах. Зная, сколько времени поезд будет в темноте находиться в пути, наличие вагонов и количество горелок в вагонных фонарях, казалось, нетрудно было определить количество свечей, подлежащих выдаче на каждый поезд. Если свеча при опытах в комнате догорала ровно через восемь часов, то в вагонном фонаре, на ходу поезда, при тряске, время горения свечи было различным - от 5 до 7 часов, в зависимости от конструкции вагона и наружной температуры.

Все городские рынки Москвы, Тулы, Орла, Курска были завалены вагонными свечами. Не важно, что на свечах были оттиски с названием железной дороги. Эти оттиски умело счищали, а в большинстве случаев сбывали в полной

неприкосновенности. То же было с письменными принадлежностями, поэтому правление дороги прекратило отпуск карандашей и перьев. Для их приобретения каждый конторский служащий получал один рубль в месяц - 12 рублей в год. Деньги, вырученные за свечи, керосин и прочие материалы, пропивались.

Жили конторщики весело и не тужили, напиваясь и обжираясь до бесчувствия, соревнуясь друг с другом в безобразиях, дебошах и подлогах. Были субъекты, проживавшие свой месячный заработок за пару дней после получения жалованья. Затем дня два-три похмелялись и приводили себя в порядок. После прогула и похмелья у субъекта наступало особое рвение к работе. Бывали случаи, когда такой конторщик, для нагона упущенного, несколько дней работал день и ночь, без сна и отдыха. Подобные крайности были нередки, и с ними администрация так или иначе мирилась, учитывая работоспособность и практический стаж служащего, - ведь замены не было.

Наконец, было немало пользовавшихся покровительством сильных "мира сего". Это был особый сорт оскудевших дворян: недоросли-Митрофанушки, недоучки, изгнанные из привилегированных или непривилегированных учебных заведений за "громкое поведение и тихие успехи". Были люди солидного возраста: бывшие чиновники, офицеры, интенданты в отставке, где-то когда-то якобы "пострадавшие за правду".

## **Курск того времени**

Что представлял собой Курск того времени? Тогда это была для меня недосягаемая вершина - по сравнению с

местечковым обликом моего родного городка Старокопачинского, где полицейский исправник сиял, как Бог, и где не было ни одной мощеной улицы. А тут не только губернатор и при нем неотлучный полицмейстер, толстый Фомченко, но и общественный (да общественный, а не сословный) клуб, городской сад, реальное училище, мужская гимназия, землемерное училище и т.д. и т.п. Все улицы в центре города вымощены булыжником, всюду извозчики. Какая голова тут не закружится, какое местечковое воображение не воспламенится? У меня сохранился план города Курска того времени. Посмотрите его, дети мои, внимательно и вникните в детали. По несколько более поздним статистическим сведениям, приблизительно 1890-х годов, в Курске числилось около 50 тысяч населения вместе с пригородными слободами: Ямской, Стрелецкой и Пушкарской.

Мы уже тогда знали о наличии в Курской губернии "самой сильной и обширной на всем земном шаре магнитной аномалии, простирающейся на юг до Харькова, на восток до Воронежа, на север до Москвы и на запад до Могилева и Кременчуга". Таковы были земские сведения, основанные на исследованиях, кажется, профессора Лейста .

Припоминаю, что центральным пунктом, так сказать, пупом Курской магнитной аномалии, считалась Николаевская волость Щигровского уезда, где обнаружены значительные отклонения магнитной стрелки, а горизонтальное напряжение достигало 1,925 гауссовских единиц. Что, собственно, обозначали все эти склонения, отклонения, горизонтальные напряжения, я, конечно, не понимал. Пресса того времени не давала популярных пояснений аномалии, а спросить было некого.

Я ознакомился с краткой историей города Курска, одного из древнейших городов черноземной полосы. Оказалось, что город существовал уже во времена Владимира, названного святым, как крестителя Руси, т.е. в начале IX века. Затем, после смерти Ярослава, Курск вошел в состав удела, данного Святославу. Я серьезно увлекся историей столь старого города, и мне стал мил каждый уголок Курска, точно что-то близкое, родное.

Правда, всемогущий полицмейстер Фоменко своим внушительным видом напоминал нам, и мне в частности, что существует "черта оседлости" и ничего не стоит любому приставу или уряднику выслать меня "на родину" в 24 часа. Но нам везло отчаянно. После скандала с шулерской шайкой Паса полицейским приставом Ямской слободы, где находится большой вокзал, был назначен наш сослуживец, железнодорожник Переверзев, бывший офицер пехотного полка. Конечно, Переверзев нас не трогал и оставил в покое. А когда подошел срок моего призыва, точнее, приписки к призывному участку, Переверзев помог мне приписаться к призывному участку в Курске и избавил от необходимости ехать в Староконстантинов.

Во время жеребьевки призываемых я случайно вытянул из урны самый длинный номер, поэтому на военную службу не попал и в солдатах никогда не служил. Радости моей не было конца, и это еще более сблизило меня с Курском, ставшим для меня второй родиной.

## Переход в православие

### Кем же быть - евреем или православным?

Во время жеребьевки призываемых я случайно вытянул из урны самый длинный номер, поэтому на военную службу не попал и в солдатах никогда не служил. Радости моей не было конца, и это еще более сблизило меня с Курском, ставшим для меня второй родиной.

Да, второй, но не первой. При всем желании, стремлении покончить с еврейством как с религией, которой я никогда по убеждению не признавал, я мысленно еще не мог решиться на этот шаг, сознавая, что смена вывески лишь даст свободный паспорт и уничтожит для меня черту еврейской оседлости, иными словами говоря, я что-то продам и что-то куплю, а по существу останусь тем же.

Были моменты, когда я в мечтах видел себя идущим по стопам не только Бера, но и Витте... Да, Витте! Чем, мол, черт не шутит, когда Бог спит, как говорили евреи. И к этому меня толкали не только близкие и окружающие, но и возникавшие обстоятельства.

Меня по-родственному привечали не только Филипповы в Москве, но и Сциславские, Чепурины, Позняковы в Курске. А мамыши оказывали особое внимание: до отвала закармливали, звали не только на официальные обеды, но и запросто. Не раз и не два, а постоянно. Было ясно, что на меня имеются виды, выделяют среди других моих ровесников, сослуживцев. Мне это было и тяжело, и лестно. Перелом еще не наступил, и я стал пятиться назад, подчеркивать свое "жидовство". Я запустил бороду, стал получать еврейскую газету, бывать в еврейских домах.

Мне казалось, что взаимная рознь, вражда между "жидами" и "гоями" столь велики и имеют столь далекое историческое прошлое, что существующие грани никогда не сотрутся; эти две противоположности, вопреки законам физики, никогда не сойдутся. Так ли? Дальнейшее показало, что такие мои предположения являлись в корне ошибочными. Но об этом речь будет впереди.

По статистическим сведениям того времени, в 16 уездах Курской губернии с общим населением около 3 миллионов евреев числилось всего 1500 человек. Сколько из них жили в Курске - не знаю. Как в губернском центре со значительной хлебной торговлей в Курске нередко встречались на улицах евреи, но я их не знал и знакомства с ними не вел. Но я задумывался о невозможности ассимилироваться в русской среде, и возникло стремление вернуться к ермолке, пейсам, длиннополым фалдам, т.е. к тому, что относилось к далекому еврейскому прошлому и чего во мне не было. Или же удариться в другую крайность - немедленно сейчас же порвать с еврейством, пойти по стопам Филипповых, братьев Беер, Антона и Николая Рубинштейнов, Куперника и многих других, мне подобных.

Как-то в клубе на маскараде меня заинтересовала оригинальная маска - в мужских длинных брюках, сверху короткая, до колен, юбка, какая-то необычная кофточка с пуговицами, как на пиджаке, и поперх высокой прически надпись: "Эмансипация". Я к ней подошел, сказал несколько обычных фраз. Маска оказалась словоохотливой, взяла под руку, стала интриговать, заявив, что знает моих братьев и т.д. В конечном счете она сняла маску, заявив, что этим закрепляет наше знакомство. Она оказалась некой Златкиной, последовательницей эмансипации женщин,

собиравшейся куда-то поступать учиться. По возрасту она заметно была старше меня. Своим вызывающим маскарадным костюмом, по ее словам, она хотела подчеркнуть, насколько последовательницы эмансипации перебарщивают в своих стремлениях. Златкина меня заинтересовала своими суждениями, и через несколько дней я отправился к ней с визитом. Затем стал бывать часто. Родители Златкиной, бедные еврейские ремесленники, строго практически расценили мои посещения. Намеками, обиняками они дали мне ясно понять, что если у меня серьезные намерения, то нечего медлить. Я покраснел до ушей, не зная, как реагировать на столь неожиданное и слишком откровенное предложение. Поэтому пошел по линии наименьшего сопротивления. Сбежал. Да, сбежал. Если не выскочил в окно, как гоголевский жених, то лишь потому, что это было зимой, когда двойные рамы закупорены. На этом закончилось мое знакомство со Златкиной и ее родителями. С ней я больше никогда не встречался, ничего не знаю о ее дальнейшей судьбе.

В семьях Сциславского, Чепурина, Позняковой и иных, близких к железнодорожной среде в Курске, меня ласково принимали, оказывали всякое внимание.

Но по моим местечковым представлениям о жизни получалось, что во мне они видят лишь "презренного жида", которого вскоре отбросят как чужого. Дальше этих соображений мои мысли не шли, поэтому, несмотря на все старания этих семейств, я не отвечал им с той сердечностью, которую был бы обязан проявить. Я бывал в этих домах, соблюдая необходимые приличия, вежливость, предупредительность, - и только. А от меня, предполагая, ожидали большего внимания к интересным молодым девушкам.

Вскоре я случайно познакомился с Ксенией Эдуардовной Рензин, фельдшерницей Курской губернской больницы. Молодая, симпатичная девушка, незадолго до того окончившая школу, успешно работала по своей специальности и на эти средства содержала престарелых родителей. Отец ее много лет работал в Орле, там Ксения родилась, училась, росла в среде, где о евреях знают понаслышке да из газет. Я часто стал бывать в этом доме, наблюдая героические поступки Ксении по отношению к родителям, жившим лишь на ее средства. Я увлекся Ксенией и сделал ей предложение, совершенно откровенно объяснив фальшивое, никчемное свое состояние за чертой еврейской оседлости. Что эту "черту" я хочу, решил переступить и полагаю, что она явится для меня тем помощником, который освободит нас обоих от гнета. Она обещала подумать. Я терпеливо ожидал, почти каждодневно бывая в доме Рензиных. У меня сохранилась карточка Ксении с надписью: "В знак памяти и вечной дружбы". Но вместо определенного ответа Ксения пыталась убедить меня, что мои взгляды на жизнь ошибочны.

Наши отношения стали охлаждаться и постепенно прекратились. Впоследствии она вышла замуж за состоятельного негоцианта, обзавелась большой семьей, прекрасно воспитывала своих детей, затем внучат. Мы несколько раз случайно встречались, глядели друг на друга и детей наших с чувством ласковой сердечности.

Мое стремление жениться на еврейке, которая, как мне казалось, поможет мне освободиться от гнета, который я один не в состоянии был с себя сбросить, потерпело неудачу. Я прекрасно сознавал, что дело не в "великих и вечных истинах", а лишь в маленьком, но решающем скачке,

который необходим, чтобы достичь противоположного берега. Но дело шло у меня как будто скорее назад, чем вперед, без необходимой точки опоры для скачка. И я махнул рукой, предоставив все, как теперь говорят, самотеку. Я успешно работал, бывал в обществе, много читал. Вопрос о скачке к противоположному берегу стал как будто даже забываться. Кроме участия в любительских спектаклях я увлекся изучением истории Курска и известных деятелей, родившихся в Курске. Таковыми оказались: И.И. Головин, актер "Деяний Петра Великого", Н. А. Полевой, известный писатель и журналист сороковых годов IX века, астроном-самоучка Семенов, которому городское общество поставило на кладбище памятник. В Курске похоронен также умерший в начале XIX века известный в свое время писатель И.Ф. Богданович, автор "Душеньки". Карты, пьянство, меня не интересовали, что мои сослуживцы не раз ставили мне в упрек. Нежелание Ксении Рензин идти за мной по предложенному мною пути заставило серьезно еще раз задуматься над этим вопросом. Мне казалось, что мы серьезно любили друг друга, были готовы на всякие жертвы, однако решиться на какие-либо уступки ни она, ни я не отважились. Я дошел до таких глупостей, что стал гадать у ворожей. Мне гадали на картах, зернах и еще чем-то, болтали всякую чепуху, которую я давно забыл. На улице я как-то встретил бродячего музыканта, на шарманке которого восседала птица, таскавшая клювом билетки "счастья" из коробки. Я уплатил следуемое, и необычайная птаха вручила мне билетик \* 3. Планета Луна. Глупо, пошло!!! Этот билетик сохранился в моих бумагах. Как уцелел за 55 лет этот глупый билетик, сказать затрудняюсь, но как характерный документ далекого прошлого он интересен. Между прочим, какая-то

гадалка предсказала мне тогда, что я буду женат дважды и умру, окруженный большой семьей.

### **Почему так остро стоял вопрос о моей предполагавшейся женитьбе**

Необходимо пояснить, почему так остро стоял вопрос о моей предполагавшейся женитьбе. Я был молод, здоров, успешно работал на транспорте и торопиться с женитьбой как будто не было оснований. Но неудачные примеры моих старших братьев влияли на меня удручающе. Старший брат Иосиф, по какому-то неясному, непонятному поводу сбежал из-под венца. Сейчас же после свадебного обряда, до брачной ночи, он ушел навсегда из дома родителей своей молодой жены. Возник скандал - исчезновение молодого было столь быстрым и внезапным, что свадебный обед не мог состояться, и сконфуженные гости вынуждены были ретироваться из парадно убранного помещения с богато накрытыми для пиршества столами. Развод был оформлен заочно, спустя некоторое время. Можно вообразить себе душевное состояние молодой "замужней девицы". Через несколько лет брат Иосиф сошелся с молодой нашей горничной, дикаркой в полном смысле слова, и женился на ней. Он обучил ее грамоте, воспитал, привил городские манеры и счастливо прожил с ней всю жизнь. Это и есть нынешняя тетя Соня, живущая в Курске.

Другой брат, Лазарь, имел все данные быть счастливым семьянином, но женился на психически неуравновешенной особе, отравлявшей его жизнь до гробовой доски. Это - тетя Циля, урожденная Шиперович. Я близко знал ее братьев, сестер. Никто с ней не ладил, считая ее ненормальной. У

Цили было двое детей, которым она не уделяла никакого внимания, предпочитая наряды, маскарады, танцы. Старшего сына Симу (Семена) воспитывал я, когда жил у Лазаря в доме, а девочка, Женя, скончалась в детском возрасте. Эти два неудачных примера я воспринял, искал лучшего, но не мог понять, как это осуществить.

В то время было модно носить пенсне. В Москве, Харькове, Курске, где угодно, идешь по улице и видишь тысячи молодых людей в пенсне. В особенности во время гуляний в праздник или в театре вся молодежь в пенсне - конечно, не по необходимости, а для франтовства. Глядя со стороны, можно было предположить, что внезапно у всех возникли проблемы со зрением. Это поветрие не миновало и меня. Я купил себе пенсне без какой-либо необходимости. Напялил на нос, принял воинственный, серьезный вид и, с сознанием собственного достоинства, а также важности исполненного долга, отправился в клуб. Прошел в читальный зал, преважно уселся в глубокое кресло, взял первый попавшийся под руку юмористический журнал (кажется "Осколки"), раскрыл, стал читать - и глазам не верю. Там было напечатано буквально (до сих пор помню) следующее:

*Пенсне надев на нос,  
дурак Простую вещь позабывает,  
- Что рам двойных в пустой чердак  
Никто на свете не вставляет.*

Злая эпиграмма задела меня за живое. Я постиг всю бессмысленность, глупость франтовства, злоупотребления без надобности оптическими стеклами. Тут же спокойно снял свое пенсне и так же спокойно вышвырнул его за окно.

Когда я об этом рассказал курскому оптику Нейману, нашему хорошему знакомому, он меня посвятил в такой эпизод.

Как-то к нему в магазин пришел изящный молодой человек купить очки или пенсне. Рецепта врача не было, и молодой человек попросил Неймана как оптика подобрать подходящие золотые очки. Нейман перебрал почти весь запас имевшихся стекол - ни одни не оказались годными для вполне здоровых, молодых глаз покупателя. А продать хочется - золотые очки не часто имеют спрос. Тогда, рассказал Нейман, он решился на отчаянный шаг: надел молодому человеку оправу без всяких стекол и немедленно услышал:

"Вот эти стекла мне хороши, по моим глазам, сколько стоят?" И тут же уплатил следуемое, довольный, счастливый. "Тогда я, - продолжил Нейман, - очки без стекол уложил в коробочку, - и покупатель ушел, довольный сверх меры. Я ожидал его претензии, готовил объяснение. Ничего подобного. Больше он ко мне не приходил, хотя на улице встречал его, - видимо, понял, какого сваял дурака у меня в магазине". Характерный эпизод.

Приблизительно к тому же времени относится курьез, имевший место при установке первых служебных телефонов. В Курске на вокзале первый телефон появился в кабинете начальника станции для переговоров с товарной станцией, находившейся за парковыми путями, на расстоянии около километра. Телефонная связь явилась приятным новшеством, избавлением курьеров и сторожей от беспрестанной и опасной ходьбы взад и вперед по станционным путям, где маневрировали паровозы. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что для вызова по телефону со станции передаточной конторы и наоборот надо

было взять в рот дудку с пищиком и дудеть. Отвечать надо было таким же дудением, звук которого отражал рупор, и уж затем начинать разговор.

Можете себе представить, что получилось и с какой брезгливостью каждый брал в рот телефонную трубку, предварительно вытирая ее своим платком. Сколько мы не просили поставить обыкновенный электрический звонок - никаких результатов, хотя наш телеграф располагал всеми материалами. Лишь через некоторое время, когда появились первые аппараты, так называемые вертушки со звонками, мы избавились от сосания телефонной дудки. Не правда ли, остроумно?

Вскоре кто-то свыше, вероятно, правление дороги, решил соединить телефонной связью Москву с Курском. Но ничего из этих хлопот и значительных затрат не вышло. Звук не доходил. Нашли, что надо кричать. Никаких результатов крик не дал. Тогда вызвали лучших стрелочников- трубочей. В Москве и в Курске трубачи, надрываясь, дудели. Начало и конец игры трубачей подтверждались передачей по телеграфу. Никаких результатов. Так и забросили дорогостоящую затею. Некоторое время спустя кто-то догадался, что если громогласные звуки курских труб и доходили бы до Москвы, то все равно подобные телефоны никчемны, так как человек так орать не в состоянии. Значит, разговоры на расстоянии 502 верст между Москвой и Курском немислимы до усовершенствования телефонных аппаратов.

502 версты - так обозначалось протяжение Московско-Курской дороги в тарифах и прочих официальных указателях. По этому поводу возник в 1880-х годах скандальный судебный процесс.

Какой-то адвокат, специализировавшийся на взыскании с железных дорог переборов по грузовым перевозкам, случайно наткнулся на такой курьез. Фактическое расстояние от Москвы до Курска действительно 502 версты, но товарная станция Курской дороги находится в подмосковной Рогожской слободе, вблизи старообрядческого кладбища, на третьей версте от пассажирского старого вокзала (Старая Басманная). Стало быть, грузы принимаются и выдаются в точке, находящейся за две версты до исчисляемого тарифного расстояния. Значит, пожалуйста за две версты денежки назад по всем перевозкам, начиная с 1864 года, со времени открытия дороги, что, по грубому подсчету, составляло несколько сот тысяч рублей. Дифференциальных тарифов тогда еще не было.

Главными акционерами тогда были столпы московского именитого купечества: Морозов, Лямин, Боткин, Солдатенков, Садиков, братья Третьяковы, Коншин, Рукавишников, Мамонтов, Горбов, Чижов, которых в печати стали травить: мол, не обманешь, не продашь и т.п. Возник ряд судебных процессов о переборах, по которым пришлось уплатить большие суммы. Не помню, как этот скандал окончательно был ликвидирован, но репутация правления дороги оказалась "подмоченной". Для меня стало ясно, что мошенничают не только местечковые евреи, перебивавшиеся с хлеба на квас, но и толстопузые миллионеры Москвы. Необходимо отметить, что все эти Морозовы, Ляminy, Боткины и прочие в то время уже учились в университетах, бывали за границей, одевались по последней моде и по внешности резко отличались от своих предков, героев Островского из Замоскворечья, Таганки, Новой деревни. При правлении дороги, кроме акционеров и администрации,

находился правительственный инспектор, старый инженер Шуберский, по прозвищу "царское око". Чем фактически занимался Шуберский и что делал в Москве - не знаю. А на линии весной и осенью, при так называемом осмотре дороги директором и акционерами, этого Шуберского спаивали и возили, как труп.

Припоминаю возвращение такого служебного поезда по Курской городской ветви из города в Ямскую. Я был на платформе, встречал поезд. В ярко освещенные окна виден был стол во всю длину вагона, сдвинутая посуда с остатками еды, недопитые бокалы, опрокинутые вазы с фруктами, нагроможденные стулья, кресла. В углу вагона бледный, как бумага, рыгающий Шуберский пьет какую-то воду и не может отплюнуть. Больше в вагоне ни души. Вид беспомощного старика Шуберского, правительственного "инспектора", производил жуткое впечатление. Я не смел судить столь высокое тогдашнее начальство, но сознавал, что так работать не нужно, нельзя. Войдя в дальнейшем в общение с линейными инженерами, убедился, что они не лучше и не хуже моих коллег-конторщиков, весовщиков, кладовщиков и прочих. Разница лишь в том, что конторщики, кладовщики пьянствовали в трактире Ветрова, а инженеры и иные старшие линейные агенты в клубе и в отдельных кабинетах. Первые упивались до бесчувствия водкой и пивом, а вторые, кроме водки и пива, пили нередко и шампанское.

Как проходил рабочий день у старших агентов? Не очень замысловато. К 9 часам утра, или несколько позднее, шли в конторы, канцелярии, мастерские. В 12 часов - гудок к обеду. Собираются компанией в станционном буфете, если нет новоселья, именин, крестин или тому подобного. Пьют до

одурения и тут же обедают или бегут по домам "щец похлебать". Затем спят. Восстав от сна, пьют крепкий чай и торопятся на службу спросить: "Как дела, что нового?", наскоро поговорить о том о сем, чтобы успеть на 7-часовой поезд городской ветви в клуб. В клубе играют в карты, ужинают, вновь пьют и возвращаются домой в 2-3 часа ночи, спят до 8-9 часов утра. И так почти каждодневно. Короче говоря, альфой и омегой существования (точнее, прозябания) большинства инженеров и иных старших линейных агентов дороги являлось пьянство, обжорство, разврат, карты. Обидно было глядеть на этих, нередко талантливых, но совершенно опустившихся, спившихся людей, соревновавшихся между собой в этих безобразиях.

Меня могут спросить: кто же работал? Отвечаю: работали дорожные мастера, артельные старосты, счетоводы, бухгалтеры и им подобные, но не инженеры в большинстве случаев. Наконец, и инженеры так приспособились работать налету, между картами и выпивкой, что сравнительно все же были в курсе дела и через ближайших лиц умели, как говорили тогда, "подвинтить гайки". Не считалось редкостью устроить "сквознячок", т.е. войти в клуб в субботу вечером и остаться там без сна и отдыха до утра понедельника. Это я видел много лет спустя и на Урале, когда работал на Пермской дороге.

Припоминаю залихватский рассказ о том, как в Курске кутили "до нас", т.е. в 1870-е годы. Большой кутила, захлебываясь, рассказывали мои современники, располагавший хорошими средствами, имевший "безгрешные" доходы, всюду принятый, везде бывавший, решил угостить приятелей и собутыльников. Семьи у него не было, жил одиноко. Пригласив к себе в гости только лишь мужчин,

заказал повару лукулловый обед с подобающей выпивкой. Шепотом передавали, что готовят такое сладкое, которого никто не ел в своей жизни. Наступил долгожданный день. Собрались около трех десятков гостей, стол накрыт, всюду цветы, горы бутылок. Долго и много пили, ели, и когда все дошли до "градуса", кто-то крикнул: "Что же сладкого нет?" - "Да, где же обещанное чудо-сладкое?" - подхватили пьяные голоса. В раскрывшиеся настежь двери несколько официантов внесли что-то огромное в цветах, не то на блюде, не то на доске и поставили на стол. Оказалось - голая женщина, утопавшая в цветах, метресса, содержанка хозяина. Так кутили бывалые железнодорожники. На этом обеде присутствовал один из моих старших братьев, уже работавший тогда в Курске на транспорте. Невольно вспоминаются слова Расплюева в пьесе Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского": "После попойки в Курске - не жить!"

Пьянствовали не только в Курске, но и в Москве, и в Орле, и в Перми - всюду. Короче говоря: "Руси веселие - питии, и не может без того быти". Кажется, так сказал Владимир Святой, крестивший Русь в 988 году? Давно это было сказано, а осталось надолго.

Мне лично пьянство было противно, и счастлив, что "миновала меня чаша сия". Не соблазняли меня и карты. Я любил поиграть в преферанс, винт, но в меру. Ночей в клубе не проводил, а в "сквознячках" никогда не принимал участия. Мне они были противны. Как тогда относились ко мне в Курске? Начальник станции Кибер, сначала мне покровительствовавший, затем охладел, ворчал, как будто даже придирался (а может быть, мне так казалось), хотя в моей работе и аккуратном исполнении службы заметно нуждался. Мне казалось, что Киберу не нравились мои

добрые отношения со Сциславским и его семьей. Сциславский, как старший агент передачи, находился у начальника станции в подчинении, а по уму и знанию дела Сциславский стоял куда выше Кибера. Отсюда нелады и прочее. Я полагал, что вне службы я волен знаться с кем мне заблагорассудится. Выходило, что нет.

Ревизором движения Курского участка был тогда некий Биккерт - старый, опытный железнодорожник, но пьяница. Биккерту нравилось, когда к нему подлизывались, угождали мелкими услугами. Я этого не делал, и он на меня взелся. Кончилось тем, что я перестал кланяться Биккерту, вопреки правилам. Такая невиданная дерзость грозила мне увольнением со службы, но я не мог себя побороть и остался при своем. Но мне повезло. В это время Карл Францевич, в лоск пьяный, попался на глаза в поезде при исполнении служебных обязанностей какому-то большому петербургскому чиновнику. Биккерта уволили телеграфным распоряжением. Не будь этого, Биккерт, наверное, устроил бы мне пакость, и я полетел бы... Куда? Не знаю. Быть может, туда, откуда приехал, - в черту оседлости нашей или еще куда-либо. Кто знает? Ведь вся наша жизнь состоит из мелочей, из которых складывается что-то цельное, большое. Взять хотя бы такой мелкий факт: почему я не кланялся Биккерту, не отдавал чести, как это называлось тогда, ревизору движения? Не знаю, не могу понять. По природе я не был задирой, наоборот: умел ладить с окружающими. А вот стоило встретить Биккерта, как во мне просыпался какой-то бес ненависти и противоречия: я молча, вызывающе глядел ему в глаза, как будто желая сказать: нака, выкуси... Биккерт мог стереть меня, что называется, в порошок: я бы полетел со службы вверх тормашками и,

конечно, не попал бы вновь на транспорт. На Московско-Курской дороге было около 20 тысяч служащих, и евреев среди них всего двое: я и мой брат Иосиф. На Курско-Харьковско-Азовской дороге были также лишь два еврея: мой брат Лазарь и главный бухгалтер харьковского управления Балабанов, личный ставленник владельца дороги Полякова. Мы были так же редки, как белые вороны. На нас указывали пальцами. Таковы были тогда нравы и порядки.

### **Меня рассматривают как подходящего жениха, но я не поддаюсь**

Эпизод с Биккертом не только прошел для меня вполне благополучно, но его заместитель, ревизор Кашаев, пасынок Сциславского, стал мне покровительствовать, поощряя мои посещения дома Сциславского, где жила его сестра, Александра Матвеевна. Что представляла собой Александра Матвеевна Кашаева? Обычный тип кисейной барышни того времени. Окончив гимназию, стала выезжать, ждать жениха. Таких было много. Александра Матвеевна была, кроме того, хорошей хозяйкой, прекрасно вышивала, недурно играла на фортепьяно. Она сама, мать, отчим и брат относились ко мне чрезвычайно внимательно и как будто поощрительно ожидали более решительных шагов моих. Я бывал у них в доме, ездил с ними в клуб, танцевал, даже участвовал совместно в любительском спектакле. Но дальше этого не шло. Почему? Полагаю, причина была все та же - опасался в дальнейшем упреков в "жидовстве" и т.д.

Нужно знать, до чего в то время велика была вражда христиан к евреям и наоборот, тогда ясны будут мои, быть

может, ошибочные, опасения. То же было при моих посещениях семейства Чепуриных.

Много читая книг, газет, журналов, я, в конечном счете, приблизился больше всего к газете "Неделя", издаваемой Гайдабуровым. Взгляды и линия этой газеты мне казались наиболее реальными; эта газета, выходявшая раз в неделю, давала компактно-исчерпывающие обзоры за семь дней, оставаясь вдали от пустой многословной болтовни. Я стал постоянным подписчиком этой газеты. Прочитывая "Неделю" и ежемесячные небольшие книжки приложений к этой газете, я всегда был в курсе современной ситуации. Но ответа на волновавший меня вопрос о "прыжке к тому берегу" я в "Неделе" не находил. Я уже упомянул о семье Чепуриных, состоявшей из брата и сестры. Родителей не было. Брат занимал в банке заметное положение, а сестра, молоденькая девушка необычайной полноты, занималась хозяйством, ожидала женихов. Я с Чепуриными познакомился у Сциславских. Оказалось, что Надежда Александровна Чепурина видела меня на сцене в любительском спектакле. Ей понравилась моя игра. Чепурина решила устроить любительский спектакль в своей огромной богатой квартире, пригласила всех знакомых участвовать, в том числе и меня. Тут я не мог не заметить, что по своей ли глупости или просто не отдавая себе отчета, эта 18-летняя шестипудовая деваха ищет со мной уединения и, видимо, ждет моего предложения. Ни обеды, ни ужины, ни значительные средства этой "подвижной мясной лавки", как ее кто-то шутя называл, меня не привлекали. Я дал это понять, меня оставили в покое. Впоследствии она вышла замуж за солидного толстяка, уездного казначея.

Александра Матвеевна Кашаева, падчерица Сциславского, о которой я писал раньше, была в дальнейшем невестой весьма способного молодого инженера-механика, фамилии которого не помню. Этот молодой инженер приехал из Москвы к Сциславским отдохнуть на несколько дней почти накануне выпускных экзаменов. Он чем-то случайно заболел, возникло осложнение, и этот цветущий, полный сил и здоровья молодой человек скончался в доме невесты. Можно себе представить состояние несчастной Александры Матвеевны. Похоронив любимого жениха, Александра Матвеевна ушла в себя, в свое великое горе. Нигде не бывала, нигде не показывалась, ни с кем не встречалась. Как она окончила свою жизнь - не знаю.

Была у меня затем еще одна встреча - с молоденькой Надей Фабрикант. Отец ее был назначен в Курск управляющим керосиновыми складами фирмы Нобель и поселился в Ямской около вокзала. Мы с ним познакомились на службе, при переговорах о подаче на его склады вагонов. В дальнейшем я стал бывать у него в доме, приглядываясь к его дочери, стал думать, что моя судьба здесь, в доме Фабрикантов. Кроме того, что Наденька мне очень нравилась, мне казалось, что эта семья, приехавшая из Петербурга, со столичными, не местечковыми взглядами на жизнь, не будет препятствовать своей единственной дочери, если понадобится, последовать за мной туда, "к тому берегу". Принимали меня в семье Фабрикантов чрезвычайно ласково, ожидая с нетерпением моих определенных шагов и открытого разговора. Долго, очень долго я думал, гадал, прикидывал и так, и этак. Учел все прошлые эпизоды, но предложения Наденьке Фабрикант не решился сделать. Папаша пускался в рассуждения о том, что сам свадебный

обряд вообще пустая формальность: не все ли равно, где - в синагоге или дома? Важен сам факт записи брака для выполнения требований закона. О каком браке судил-рядил Захарий Владимирович Фабрикант - этого он не говорил. Точно речь шла о ком-то неизвестном. Но мне-то все было ясно. И я тянул, тянул, хотя, повторяю, Наденька мне очень нравилась. Время шло. Прошел год, другой, и на меня, видимо, махнули рукой, хотя наружно все было чинно, прилично. Нельзя так часто молодому человеку бывать в доме, где дочь на выданье. Это компрометирует девушку. И я решил окончательно и бесповоротно, никому не сказав об этом, порвать с тяготившим меня еврейством. А там, мол, видно будет.

### **Меня рассматривают как подходящего жениха, но я не поддаюсь**

Эпизод с Биккертом не только прошел для меня вполне благополучно, но его заместитель, ревизор Кашаев, пасынок Сциславского, стал мне покровительствовать, поощряя мои посещения дома Сциславского, где жила его сестра, Александра Матвеевна. Что представляла собой Александра Матвеевна Кашаева? Обычный тип кисейной барышни того времени. Окончив гимназию, стала выезжать, ждать жениха. Таких было много. Александра Матвеевна была, кроме того, хорошей хозяйкой, прекрасно вышивала, недурно играла на фортепьяно. Она сама, мать, отчим и брат относились ко мне чрезвычайно внимательно и как будто поощрительно ожидали более решительных шагов моих. Я бывал у них в доме, ездил с ними в клуб, танцевал, даже участвовал совместно в любительском спектакле. Но дальше этого не

шло. Почему? Полагаю, причина была все та же - опасался в дальнейшем упреков в "жидовстве" и т.д.

Нужно знать, до чего в то время велика была вражда христиан к евреям и наоборот, тогда ясны будут мои, быть может, ошибочные, опасения. То же было при моих посещениях семейства Чепуриных.

Много читая книг, газет, журналов, я, в конечном счете, приблизился больше всего к газете "Неделя", издаваемой Гайдабуровым. Взгляды и линия этой газеты мне казались наиболее реальными; эта газета, выходявшая раз в неделю, давала компактно-исчерпывающие обзоры за семь дней, оставаясь вдали от пустой многословной болтовни. Я стал постоянным подписчиком этой газеты. Прочитывая "Неделю" и ежемесячные небольшие книжки приложений к этой газете, я всегда был в курсе современной ситуации. Но ответа на волновавший меня вопрос о "прыжке к тому берегу" я в "Неделе" не находил. Я уже упомянул о семье Чепуриных, состоявшей из брата и сестры. Родителей не было. Брат занимал в банке заметное положение, а сестра, молоденькая девушка необычайной полноты, занималась хозяйством, ожидала женихов. Я с Чепуриными познакомился у Сциславских. Оказалось, что Надежда Александровна Чепурина видела меня на сцене в любительском спектакле. Ей понравилась моя игра. Чепурина решила устроить любительский спектакль в своей огромной богатой квартире, пригласила всех знакомых участвовать, в том числе и меня. Тут я не мог не заметить, что по своей ли глупости или просто не отдавая себе отчета, эта 18-летняя шестипудовая деваха ищет со мной уединения и, видимо, ждет моего предложения. Ни обеды, ни ужины, ни значительные средства этой "подвижной мясной лавки", как ее кто-то шутя

называл, меня не привлекали. Я дал это понять, меня оставили в покое. Впоследствии она вышла замуж за солидного толстяка, уездного казначея.

Александра Матвеевна Кашаева, падчерица Сциславского, о которой я писал раньше, была в дальнейшем невестой весьма способного молодого инженера-механика, фамилии которого не помню. Этот молодой инженер приехал из Москвы к Сциславским отдохнуть на несколько дней почти накануне выпускных экзаменов. Он чем-то случайно заболел, возникло осложнение, и этот цветущий, полный сил и здоровья молодой человек скончался в доме невесты. Можно себе представить состояние несчастной Александры Матвеевны. Похоронив любимого жениха, Александра Матвеевна ушла в себя, в свое великое горе. Нигде не бывала, нигде не показывалась, ни с кем не встречалась. Как она окончила свою жизнь - не знаю.

Была у меня затем еще одна встреча - с молоденькой Надей Фабрикант. Отец ее был назначен в Курск управляющим керосиновыми складами фирмы Нобель и поселился в Ямской около вокзала. Мы с ним познакомились на службе, при переговорах о подаче на его склады вагонов. В дальнейшем я стал бывать у него в доме, приглядываясь к его дочери, стал думать, что моя судьба здесь, в доме Фабрикантов. Кроме того, что Наденька мне очень нравилась, мне казалось, что эта семья, приехавшая из Петербурга, со столичными, не местечковыми взглядами на жизнь, не будет препятствовать своей единственной дочери, если понадобится, последовать за мной туда, "к тому берегу". Принимали меня в семье Фабрикантов чрезвычайно ласково, ожидая с нетерпением моих определенных шагов и открытого разговора. Долго, очень долго я думал, гадал,

прикидывал и так, и этак. Учел все прошлые эпизоды, но предложения Наденьке Фабрикант не решился сделать. Папаша пускался в рассуждения о том, что сам свадебный обряд вообще пустая формальность: не все ли равно, где - в синагоге или дома? Важен сам факт записи брака для выполнения требований закона. О каком браке судил-рядил Захарий Владимирович Фабрикант - этого он не говорил. Точно речь шла о ком-то неизвестном. Но мне-то все было ясно. И я тянул, тянул, хотя, повторяю, Наденька мне очень нравилась. Время шло. Прошел год, другой, и на меня, видимо, махнули рукой, хотя наружно все было чинно, прилично. Нельзя так часто молодому человеку бывать в доме, где дочь на выданье. Это компрометирует девушку. И я решил окончательно и бесповоротно, никому не сказав об этом, порвать с тяготившим меня еврейством. А там, мол, видно будет.

### **Решил порвать с тяготившим меня еврейством**

Поехал в Москву, явился к Филипповым и объяснился совершенно откровенно. Он ответил: это дело пустяковое. Попросите мамашу, и она все в два счета устроит. С Марией Егоровной не так легко было начать этот разговор, не хватало силы воли. Наконец, вечером, когда мы были вдвоем, я, после пространного вступления, сказал ей: дорогая Мария Егоровна, помогите мне сделать последний решительный шаг - расстаться с еврейством, с которым по существу ничего общего не имею уже давно. Она радостно на меня посмотрела, сказала: "Что ж, дело хорошее, давно надо было. Завтра поговорю с попом".

Необходимо отметить, что Филипповы жили несколько лет подряд на Малой Лубянке в церковном доме и со всем причтом Марию Егоровну связывала многолетняя дружба. Через два дня я уже сидел в квартире у попа, снабдившего меня какими-то книжонками, по которым я должен был выучить несколько молитв. И все.

Батюшка, видимо, и сам не придавал предстоящей формальности особого значения. С одной стороны, ему хотелось оказать услугу или доставить удовольствие Марии Егоровне, а с другой - отчего попутно не заработать десятку-другую. Приготовления длились несколько дней. В это время я случайно встретил на улице Наденьку Фабрикант. Оказалось, что она приехала погостить к дяде, жившему на Якиманке. В Москве немало улиц с такими странными, вернее, дикими названиями, режущими ухо: Якиманка, Лубянка, Петровка, Маросейка и др. Между прочим, название улицы Якиманка происходит от находившейся там церкви, сооруженной в честь Иоакима и Анны. Отсюда и Якиманка. Точно деревенский Петька, Ванька, Сенька. Какое невежество! Однако я все же стремился к этим диким невеждам - не без расчета на определенные житейские блага, удобства. Когда я рассказал Надежде Захаровне о предстоящем событии, она стала убеждать меня этого не делать. Мы поехали на конке в Нескучный сад и там провели почти весь день. Я предложил ей последовать моему примеру, разделить мою судьбу. Она задумалась на некоторое время и затем ответила решительно:

"Я, как и вы, ни во что не верю - ни в строгого еврейского Бога, ни в Христа - и готова бы последовать за вами куда угодно, в огонь и воду. Для этого я приехала, чуя приближение чего-то важного, неотвратимого в вашей

судьбе. Но я не могу огорчить своих родителей - это их убит".

Мы дружески пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. (У меня сохранилась ее карточка, которую она дала мне тогда.)

Приготовление к Святому Крещению длились недолго. Больше всего хлопотала об этом Мария Егоровна, чтобы, как она говорила нараспев: "Все было хорошо, как принято у нас в Мо-о-о-о-скве-е-е". Я не возражал против пошива особого белья и приготовления всяких яств, но просил, чтобы не было шума, никто бы не знал об этом. Батюшка на все соглашался, а Марию Егоровну пришлось уговаривать мне и ее детям. Условились, что в определенный день я явлюсь в церковь к ранней обедне и все формальности будут выполнены. 22 сентября 1887 года, около 7 часов утра, когда Москва еще спала, я со своими восприемниками Марией Егоровной и Павлом Филипповичем пришел в церковь, находившуюся в ограде того дома, где жили Филипповы. Батюшка с псаломщиком нас уже ждали. Где-то в стороне, за занавеской находилась здоровенная бочка, наполненная тепленькой водой. После краткой молитвы и нескольких глупейших пустячных вопросов, вроде, например, такого: отрекаюсь ли я от беса и нечистой силы и еще таких же, коих вспомнить теперь не могу, мне предложено было раздеться и три раза окунуться с головой в воду. На этом вся церемония закончилась, мне велено было надеть чистое белье, сшитое собственноручно Марией Егоровной, и приложиться к кресту. Павел Филиппович, ухмыляясь, подсказывал мне не перечить указаниям "мамаши", которая также пояснила по секрету, что сшитое ею белье для обряда крещения должно храниться до моей смерти, и в этом белье меня должны

похоронить. Тогда, мол, двери рая для меня раскроются без малейших затруднений.

В дальнейшем, когда я женился, она об этом сообщила моей жене, и Юличка благоговейно хранила это белье. И поныне белье это находится в моем сундуке в особом мешочке. Когда она давала свои наставления мне и затем, через два года, моей жене, она говорила, что и у них давно хранится такое белье для каждого. Было ясно, что Марию Егоровну крестили взрослой, но где, при каких обстоятельствах, я не расспрашивал, а она сама об этом не распространялась. Итак, свершилось. Я стал формально православным.

Что я чувствовал в это время, каковы были мои переживания? Если, дети мои, вы стремитесь меня понять, то, не осуждая, читайте терпеливо. Хотя с еврейством давно не имел ничего общего, как с религией, но столько же общего у меня было и с христианством. Значит, я это сделал для личной выгоды, удобства? Выходит, так, я стал ренегатом, подобно многим другим, мне подобным. Хорошо это или плохо? Не мне, конечно, судить об этом спустя 48 лет. Я пробивал себе дорогу не только энергией, смекалкой, но и кулаками, локтями. Тяжелое было время. Ведь от меня тогда требовали не петушиных криков, а работы в определенной обстановке, и иного выхода не было. Мне все же было очень тяжело, казалось, что минувшие пять тысячелетий еврейской истории глядят на меня с укоризной: мол, что-то выстраданное, родное, близкое я продал за чечевичную похлебку. Мысли путались, скакали, как в чехарде, голова трещала от дум и забот. Одно было ясно: итог подведен, начинается новая жизнь.

Сознавая, что подобное событие, хорошо ли или худо, является эпохой для ряда минувших и последующих

поколений, я в тот же день снялся на Тверской, в ближайшей, известной в то время фотографии Курбатова. Через несколько дней, получив карточки, я сделал надпись на одной, отметив дату. Эта карточка сохранилась у меня и поныне.

Запасшись необходимыми документами, уплатив батюшке 3 рубля за метрику, я быстро собрался домой, в Курск. На вокзале мы встретились с Надеждой Захаровной Фабрикант. Оказалось, что она ехала тем же поездом. Я подошел к ней, поздоровался. На ее вопрос: "Как дела?" ответил: "Хорошо, все кончено". Мне показалось, что в ее глазах появились слезы. Я смутился. Она крепко пожала мою руку, прошептала: "Прощайте", и затерялась в толпе. Больше я ее не видел. Слышал, что она удачно вышла замуж, имела детей, внуков.

Несколько лет назад, разыскивая на курском кладбище могилу своего старшего брата, случайно наткнулся на могилу Надежды Захаровны и не мог не остановиться, не задуматься. Наши дороги разошлись в разные стороны и вот - встреча. Как в выдуманных романах. Я накушался жизнью, взял самое лучшее, вернее, не взял, а мне досталось самое лучшее. А как она прожила свой век - не знаю.

Вернувшись из Москвы в Курск, я никому не сказал о случившемся. Об этом знали лишь мои братья, отнесшиеся к этому равнодушно. На основании новых своих документов я приписался к Курскому мещанскому обществу и с головой ушел в работу на службе, почти ни с кем не встречаясь, нигде не бывая. Но слухами, как говорят, земля полнится. О том, что я порвал с еврейством, откуда-то узнал начальник станции Кибер (сам еврей по происхождению), отнесшийся к моему поступку, как мне казалось, неодобрительно. На его

вопрос: "Правда ли?" я ответил: "Да, правда". Больше он этот вопрос не поднимал, но как будто еще больше ко мне охладел. А может быть, мне так лишь казалось.

### **Охота на православного жениха продолжается**

Ближайшие сослуживцы бесцеремонно меня поздравляли, приветствовали возгласами: "Очень, очень рады. Теперь вы окончательно наш. Женим вас" и т.д., что меня чрезвычайно конфузило. Особенно за мной охотились мамыши, тетушки и вообще знакомые дамы, любившие заниматься сватовством. Был даже такой случай. Богатый купец Захаров, владелец двух больших каменных домов, отдавал замуж свою дочь. Предстояла богатая свадьба, бал, пиршество. Я знал Захарова, но в доме у него никогда не бывал. Однако получил не только официальное приглашение, но старик сам пришел ко мне, прося "оказать честь" и т.д. Я поблагодарил и обещал быть, не видя в этом ничего предосудительного. Костюм у меня был, поэтому купил лишь белые перчатки и свежий белый галстук - как полагалось, для танцев. Танцевал я как будто недурно. Сверх моего ожидания на балу мне было оказано стариками и старухами особое внимание не по возрасту. Всякие тетушки и дядюшки непрерывно меня угощали, восторгались моей внешностью, умением танцевать, солидно себя держать в обществе и т.д. В разгар пиршества старуха Захарова усадила меня около себя и, угощая, шепотом сказала: "От всей души поздравляю вас с принятием Святых Тайн..." и еще что-то, что я, сконфуженный, не разобрал. Казалось, какое дело им до меня и моих сокровенных мыслей? Как только окончился свадебный ужин, я, ссылаясь на головную боль, ушел.

Через несколько дней ко мне явилась какая-то баба, типичная сваха, заявив, что желает со мной побеседовать по секрету. Оказалось, что если я желаю быть счастливым и богатым, то она возьмет на себя труд сосватать мне вторую дочь Захарова, за которой могут дать 10 тысяч рублей наличными и столько-то шуб, платьев, белья и т.д. Я насилу от нее отделался, уверив в необходимости торопиться на вокзал к приходу поезда. Если Захаровы - а может быть, сваха по личной инициативе - не учли мое самолюбие, то в тех домах, в которых я бывал запросто, как хороший знакомый, стали подходить ко мне более осторожно, внимательно. В тех домах, где были молодые девушки, мне давали понять, когда это представлялось возможным и доступным, что я желанный гость, а может быть, и больше гостя, если пожелаю. Стремления мамаш оставлять меня с девицами наедине, чтобы я сопровождал их в клуб и на танцевальные вечера, не только не сблизжали меня с этими девицами, а наоборот - скорее отталкивали. Я был, конечно, со всеми вежлив, корректен, но дальше этого не шел.

Я прекрасно понимал, что то, что прививалось моим близким и далеким предкам тысячелетиями, преемственно унаследовано и мной. Это не смоешь никакой "святой водой", от этого нелегко отмахнуться, отвыкнуть. Правда, моральный и физический мой отход от еврейства начался давно, с детства, происходил постепенно, возможно, это началось не у меня, а у моих предков. Во всяком случае не для того лишь я перешел этот рубикон, чтобы жениться на первой встречной после сравнительно недавних неудачных моих попыток с Ксенией Рензин, затем с Надей Фабрикант. Теперь эти события маячили в прошлом. Торопиться некуда, думал я.

## **Уныние везде, уныние в обществе, уныние в семье**

Из событий курской губернской жизни того времени припоминаю такой эпизод. Генерал Болычевцев, курский губернский воинский начальник, женатый на молодой, интересной даме, устраивал у себя приемы, выезжал часто в клуб ради молодой жены. За Болычевцевой обычно волочился длинный хвост поклонников дома и на вечерах в клубе. Старик-генерал любил поиграть в карты и не препятствовал веселому времяпровождению жены. Под Новый год танцевали в клубе до утра. 3 или 4 января в местной газетке появилось объявление купца Масленникова об утрате его женой в клубе при встрече Нового года бриллиантовой броши. Нашедшего эту брошку просят, мол, "доставить туда-то за приличное вознаграждение". Газетное объявление, конечно, все прочли и начали судить-рядить на все лады.

Почему это сравнительно мелкое событие так заинтересовало весь цвет губернского общества? А потому, что необходимо было чем-то заполнить серые будни, а затем бриллианты молодой жены богача-меховщика Масленникова, владельца большого магазина на главной улице, не могли не интересовать, когда "общество" переживало период оскудения, уныния.

"Уныние везде, уныние в обществе, уныние в семье", как верно определил тогда общественное настроение известный поэт и переводчик Петр Вейнберг. Словом, об утерянной брошке знали, говорили все и всюду. На танцевальном вечере, на котором "все" были, многие видели эту брошку на Масленниковой, вспоминали мелкие подробности. В одной

компании, за выпивкой, губернский архитектор Чурилов проговорился, что во время мазурки он, увидев в зале на полу уроненную кем-то бриллиантовую брошку, поднял ее (это видела и дама, с которой он танцевал) и прицепил к лацкану своего фрака, а по окончании фигуры мазурки, во время минутного перерыва, высоко подняв найденную брошку, крикнул: "Медам, чья брошка?" Проходившая мимо Большевцева ответила: "Моя" и взяла брошку. Это видели многие, стали вспоминать. Поползли слухи, дошедшие до Большевцева.

Старый генерал поехал к Чурилову, потребовал объяснения. Чурилов подтвердил то, что фактически имело место в клубе, и сослался на очевидцев. Генерал объехал всех свидетелей, названных Чуриловым, а затем дома потребовал объяснений от своей молодой жены, пояснив, что эти "разговоры" в клубе компрометируют его честь и доброе имя. Надо, мол, иметь мужество сознаться мужу в своем дурном поступке, а брошку немедленно отдать Масленниковой. Все отрицая, Большевцева уверяла своего престарелого супруга, что Чурилов врет, так как будто бы никакой брошки он ей не передавал и она не брала. Случай этот имел место в зале, в присутствии многих танцевавших, отрицать очевидное было слишком рискованно. Еще раз убедившись, что его молодая жена совершила уголовное преступление, престарелый Большевцев публично прогнал жену из своего дома. Большевцева поступила на сцену и много лет успешно играла у Корша в Москве. Бриллиантовая брошка не была возвращена Масленниковой. Этот эпизод, с которым мне пришлось познакомиться по рассказам близких, произвел на меня удручающее впечатление. Мне стало казаться, что все мои знакомые подобны Большевцевой. Надо прекратить

бывать у Сциславского, Чепурина и др., где приходится встречаться с молодыми девушками. Кто знает? Быть может, все они выглядят святошами до поры до времени, а в дальнейшем... Стоит ли бывать среди таких?

Был еще эпизод, заставивший меня чуждаться людей. В должности багажного кассира работал в Курске некий Иванов Егор Иванович, бывший кантонист. По своей природе Иванов был не только чрезвычайно суетлив, до смешного труслив, но и сохранил внешность своих далеких еврейских предков, что в то время, как известно, тоже считалось предосудительным. Иванов не только всегда спешил, торопился, но буквально не давал себе покоя. Когда, бывало, ни подойдешь к его письменному столу - днем, ночью, рано утром, поздно вечером, - он всегда торопится, работает. Он не шел, а бежал бегом, не ел, не пил, а спешно проглатывал, опасаясь не успеть выполнить свою работу. Иванов был честнейшим, усерднейшим, трезвым тружеником. И вот его торопливость и сомнительная наружность служили поводом для насмешек, для издевательств, хулиганских шуток. Меня все это очень задевало. Мне казалось, что со временем то же будет и со мной. И я ушел в себя, стараясь меньше бывать в обществе. В то же время я не помышлял о переводе куда-либо, хотя паспортные ограничения ко мне уже не относились.

Так прошла зима, наступила весна 1888 года. По поводу этих трех восьмерок после единицы в печати того времени появились интересные кабалистические объяснения. Выходило, что самыми счастливыми годами для человечества будут те года, в которых будут три девятки: 1999 и т.д., а рай наступит в 9999 году, когда будут четыре девятки. Я этой кабалистикой увлекался, удаляясь от общения с людьми.

## Переход на станцию Золотухино

В это время я случайно познакомился с начальником станции Золотухино Барановым, почти каждодневно бывавшим у нас на вокзале. Баранов нередко подсаживался ко мне, беседовал. Я его знакомил с работой в Курске, а он рассказывал, как протекает работа на маленькой станции Золотухине, где самому приходится все делать, правда, в малом масштабе. "Там, - говорил Баранов, - начальник станции и швец, и жнец, и в дуду игрец. Работа для молодого человека более интересная, - уверял он, - чем здесь, в Курске, где все специализировано". Мне стало ясно, что начинать работу надо на маленькой, промежуточной станции, и я высказал эту мысль Баранову.

"За чем же дело стало, - ответил он, - не хотите ли занять должность моего помощника-заместителя? Эта вакансия будет на днях свободна. Если пожелаете, я вас представлю на эту должность, и я думаю, мне не откажут. Мы с вами сойдемся". Я обещал подумать. Посоветовавшись с братьями, дал Баранову свое согласие.

Через 10 дней получил назначение в Золотухино и стал собираться. Так как мое назначение в Золотухино произошло без ведома Кибера, то он к этому отнесся весьма сдержанно и просил лишь меня приучить к делу некоего Слепушкина, которого рекомендовал ему наш участковый врач Пуценко. Это поручение я исполнил точно, своевременно и через несколько дней уехал в Золотухино. Тогда, конечно, нельзя было знать или даже приблизительно предвидеть, что меня ожидало в Золотухине. Кто мог знать, куда занесет меня ветер в дальнейшем? Все же было ясно, что я буду, так сказать, ближе к природе, ближе к тому первоисточнику

технической работы, где не на кого надеяться, а надо все делать лично. Самому быть составителем поездов, конторщиком, весовщиком, артельщиком, билетным, багажным, товарным кассиром и в то же время дежурить на станции. Да ведь это какая-то ходячая энциклопедия! Заманчиво, черт возьми! Я мечтал: если родом не взял, надо брать упорным трудом, начиная с азов, и этим, быть может, заменить диплом, связи...

Чтобы уяснить, дети мои, мою мысль, вам придется прежде всего вспомнить, что конец 1880-х годов являлся временем исключительного идейного разброда и упадка. Значит, для того, чтобы из нашей среды подняться хоть на какую-то высоту, нужен был перелом всей жизни - "жизни презренной, жизни обывательской", как говорил Чехов. Нужно было исключительно редкое, чуть не волшебное совпадение ряда благоприятных обстоятельств. Не говоря уже о встрече с Филипповыми, толкнувшими меня на тот берег, нужно было случайно понравиться Баранову, предложившему мне сменить большой железнодорожный узел на маленькую промежуточную станцию. А в дальнейшем нужно было в подходящую минуту, в подходящем месте встретиться с маленькой Юличкой, человеком редких качеств. Она, и только она, незабвенной памяти маленькая Юличка, ваша мамочка, память которой надо уметь ценить, только она заставила меня дать образцы точности и аккуратности в работе, поднявшие меня на значительную высоту.

## **Начальник станции Золотухино, женитьба, Юличка**

### **Помощник начальника станции Золотухино, 1888 г**

В апреле 1888 года я впервые выехал из Курска на линию, будучи назначен помощником начальника станции Золотухино. Уезжая "в глушь, в деревню", заказал лучшему тогда курскому портному, немцу Эльдстрему, модный серый костюм и пальто. На маленькой рабочей станции Золотухино, где все и вся было на виду, я, вновь прибывший из губернии "станции начальнику помощник", как величали меня местные крестьяне, обратил на себя внимание корректностью, опрятной внешностью, предупредительным отношением к публике - в самом широком смысле этого слова. Начальник станции Баранов, встретив во мне внимательного сотрудника, старательного работника, почил скоро на лаврах, назначив своим заместителем меня, а не другого помощника - Петрова, работавшего в Золотухине уже несколько лет, так как Петров, по прозвищу "красный нос", пьянствовал.

Да, у Петрова был красный нос от пьянства, но работник он был неплохой. Дежурили мы с Петровым вдвоем, по суткам, а Баранов продавал билеты, составлял отчет, вел канцелярскую переписку. Петров ночью бесстыдно заваливался спать, сдав бразды правления дежурному телеграфисту, который, в свою очередь, тоже храпел во все носовые завертки. Если надо было принять или отправить поезд ночью, телеграфиста будил стрелочник, являвшийся таким образом главным вершителем технической работы

станции в ночное время. Необходимо заметить, что по положению стрелочник обязан был находиться у обслуживаемой стрелки или в стрелочной будке, а не в телеграфной комнате. С другой стороны, условия работы были таковы, что на дежурстве ночью, конечно, нельзя было не уснуть - пробыть 24 часа непрерывно в работе физически невыносимо. Но об этом никто не заботился. Если, бывало, кто проспит поезд, - наказывали, штрафовали и успокаивались до следующего случая. Так было на всех станциях, так было и у нас. Я тоже засыпал на дежурстве, но всячески старался, бодрствовал, крепился, сколько хватало сил. Дошел до того, что во время свободных случайных промежутков между поездами мог "всхрапнуть", как принято было выражаться, на 10-15 минут и проснуться точно, в положенное время. Да что 10-15 минут! Сидя в теплой комнате у письменного стола, уснешь на четыре-пять минут - и это давало ощущение бодрости. Утром, после сдачи дежурства, я обычно спал до обеда (железнодорожники обедали в 12 часов), читал, писал письма и, в конечном счете, все же являлся к пассажирским поездам помочь начальнику станции продать билеты, объясниться с публикой, составить отчет.

Проявлял я такое рвение не только для того, чтобы, так сказать, обратить на себя внимание, но и потому, что на маленькой станции, в глуши, деваться некуда было, а требовалось чем-то заполнить досуг, избавиться от одиночества в пустой квартире.

В Золотухине мне впервые представилась возможность охватить сразу всю техническую и коммерческую работу транспорта. Правда, в мизерном масштабе, но все же. Поясню точнее. Если в Курске или на всякой иной большой

станции билетный кассир продает билеты, то он не имеет никакого касательства к приему-выдаче багажа, грузов, отправлению поездов и т.д. Для каждой отрасли работы на всякой большой станции имеется отдельный агент, знающий только то, что ему поручено, поэтому багажный кассир не знает, как обеспечить безопасность приема, отправления поездов или дать наряд на производство маневров. У каждого своя специальность, а масштабы работы и условия службы не дают возможности узнать иные отрасли станционной работы. Иное - на маленькой станции вроде Золотухино. Тут дежурный по станции все - и швец, и жнец, и на дуде игрец. Он все должен исчерпывающе знать и уметь сделать своевременно, так как стоянки поездов на промежуточных станциях небольшие. Необходимо быстро ориентироваться в каждом отдельном случае, чтобы не допустить задержки поездов и одновременно удовлетворить требования пассажиров, грузовладельцев, паровозных бригад. А чтобы дело не валилось из рук, необходимо быть в курсе дела - читать и знать тарифы, положения, инструкции, следить за изменениями, отмечать в своей памятной книжке.

Словом, желавший работать, а не пьянствовать, считался для маленькой станции желанным сотрудником, и в то же время железнодорожник, стремящийся постичь технику работы по существу, мог сделать это лишь на маленькой промежуточной станции. Не только условия работы подгоняли делать все своевременно - каждый не только нес ответственность за безопасность движения поездов во время своего дежурства, но и отвечал своим карманом и репутацией. Недоборы приходилось иногда пополнять из своего заработка, а переборы возвращались претендентам с

оплатой процентов. Получалось естественное стремление к соревнованию, желание быть в первых рядах, а не в последних.

Эту школу я прошел в Золотухине успешно, быстро стал на новые рельсы. Разнообразная работа меня захватила, и через два-три месяца я чувствовал себя, что называется, как дома. На станцию являлся не оборванцем, а чисто, опрятно одетым. Необходимо отметить, что в то время лишь одна Харьковско-Николаевская железная дорога находилась в ведении казны. Все остальные дороги, в том числе и Московско-Курская, эксплуатировались частными акционерными обществами и компаниями, стремившимися не только, что называется, показать товар лицом, но прежде всего заработать. Для сего требовались служащие, знавшие условия работы, овладевшие техникой, умеющие ладить с публикой. Готовых кадров в стране не было, не существовало еще даже железнодорожных училищ. Насколько велик был спрос на железнодорожных служащих, можно теперь судить хотя бы по этой справке:

в 1881 году в России находилось в эксплуатации 21 543 версты железных дорог, в том числе 888 верст казенных железных дорог. Для управления паровозами приглашали из-за границы "варягов", как мы их называли: англичан, датчан, французов и больше всего немцев. В 1880 году, когда я поступил на службу, в Курске более 80% паровозных машинистов были иностранцами. Но среди начальников станций было мало иностранцев, поэтому администрация и публика ценили молодых людей, желавших и умевших работать. И такие, конечно, находились. Но, к сожалению, среди железнодорожников сильно привилось пьянство, и многие хорошие работники погибли от вина.

Обслуживая во время работы окрестных помещиков, тогда уже оскудевшее столбовое дворянство, я старался держать себя с достоинством: никого не задираю, но и не заискиваю. Меня стали выделять, отличать от другого помощника, Петрова, отбывавшего свое дежурство как поденщину: день да ночь и сутки прочь. Окончив дежурство, Петров, обремененный большой семьей, занимался хозяйством, а вечером шел в кабак к куму кабатчику. Возвращаясь оттуда под утро, обязательно пьяный, дебоширил, а затем являлся на дежурство с головной болью, засыпал сидя за столом в дежурной комнате, нередко днем. Таких "Петровых" было немало. На что они надеялись? На "рассейское" авось, небось и как-нибудь. А затем они прекрасно знали, что, если прогонят с одной дороги, не трудно поступить на другую дорогу. Везде был большой спрос на агентов технической эксплуатации. В особенности на вновь открывающихся дорогах.

У нас, в Золотухине, в дежурство Петрова не обходилось иногда без скандалов, когда к нему со всех сторон обращались: как идет поезд, на сколько опаздывает, когда прибудет, что стоит билет, нельзя ли сейчас сдать багаж и т.п. Надо отработать, отпустить товарный поезд, а тут осаждают вопросами, да и голова трещит с похмелья. Он огрызался, его ругали, жаловались. Признаться, мне лестно было слышать такие суждения:

"Если дежурит беленький (я), попроси, он все скажет, сделает, а если черный (Петров), - ну его, не надо".

## Поместные дворяне Курской губернии

К Золотухино прилегали три уезда черноземной полосы: Щигровский, Малоархангельский и Фатежский. Местное дворянство - Щекины, Куликовские, Оржельские, Дурново, Вергопуло, Селивановы, Бурнашевы и др. относились ко мне предупредительно, любезно, внимательно; стали приглашать к себе в гости. Я благодарил, но не торопился заводить близкое знакомство, уверенный, что я им не ко двору, - мол, "горшок котлу не товарищ".

Зимой, когда я обжился в Золотухине, всех ближе узнал, стал бывать у ближайших помещиков - Щекиных, Бурнашевых, Вергопуло. Почему эти церемонные бары, или старающиеся казаться таковыми, находили нужным или интересным принимать меня у себя, оказывать внимание как гостю, присылали за мной своих лошадей? Мне кажется, каждый такой случай имеет свое объяснение.

Щекины, например, любя общество, суету (кем и чем бы она ни вызывалась), больше других нуждались в моих услугах, советах, так как беспрестанно отсылали в Курск на продажу масло, сметану, сыр, творог, телят и другие продукты. Их конный завод отправлял в Москву лошадей на бега, поставлял фураж, беговые дрожки, сбруи. Осенью к ним приезжали представители Австрийской кавалерии, и купленные лошади поступали на станцию для отправки в Австрию по железной дороге. Естественно, что Щекиным выгодно было иметь знакомого сведущего железнодорожника, готового оказать безвозмездно услугу, так необходимую в большом хозяйстве. (Говорю "безвозмездно", так как начальники и помощники всех станций, в их числе и в Золотухине, принимали "признательные подношения"

продуктами и деньгами. Меня миновала чаша сия - я никогда взятков не брал, так называемых "безгрешных" доходов не имел.)

Семья у Щекиных была большая, замужняя дочь и два сына жили в Курске, поездки постоянные. Отчего, пользуясь знакомством, не получить билет вне очереди; сдать или получить багаж вне положенного времени? Почему, для таких удобств, не принять у себя еще одного разночинца? Ведь не объест, не обопьет. Всего избыток, хоть отбавляй. В то же время в доме две племянницы, им скучно. Остальное ясно. Но к этому я еще вернусь в дальнейшем, так как со Щекиными я связал свою судьбу крепко, всерьез и надолго.

Бурнашев-отец жил постоянно в Харькове, наезжал в свое имение редко, с женой был в разладе. Жена его, Мария Никаноровна, в возрасте за 50 лет или около этого, лето проводила в деревне, зиму (два-три месяца) в Петербурге. Пять сыновей и дочь-подростка воспитывала, надо сознаться, безукоризненно. Бывшая смолянка, окончившая институт с шифром, затем фрейлина двора, она, конечно, скучала в глуши. С соседями у нее близкое знакомство почему-то не ладилось, и, быть может, поэтому она приглашала к себе нас, плебеев, чтобы, как говорится, хоть душу отвести: рассказать о былых больших балах, где и кто сидел за обедом или ужином; кому какое было оказано благоволение во время танцев его или ее высочествами и т.д. в этом роде.

На этих рассказах она отдыхала, отводила душу, вспоминая былое. Вся жизнь большого света: балы, выезды, встречи уже были для нее в прошлом, но, видимо, оставалась потребность радостно вспомнить прошедшее, кому-нибудь рассказать. Кто слушает эти рассказы - не важно, лишь бы

слушал внимательно, восхищался или же делал вид, что восхищается. Не обходилось и без сплетен. Говорили, что у Марии Никаноровны была любовная связь с жокеем, а затем с попом. Я думаю, что это неверно, хотя бы потому, что в доме были сыновья, дочь-подросток, гувернантка. Для нас, железнодорожников, Бурнашева устраивала официальные приемы, копируя этикет большого света. Так, например, двух сыновей, в возрасте 15-16 лет, заставляла у себя дома, в деревне, выходить к обеду во фраках, церемонно беседовать с гостями стоя, пока лакей не доложит ей: "Ваше превосходительство, кушать подано".

У Бурнашевой бывали начальник станции Баранов, я и начальник соседней станции Коренная Пустынь Федоров. Петрова она у себя в доме не принимала. Так как этикет большого света Бурнашева соблюдала до мельчайших подробностей, то официально, открыто пили мало. Оказалось, Федоров, любивший, как он выражался, "заложить за галстук", нашел лазейку в комнате няни, где за оконной портьерой, на подоконнике, ожидала гостей водка и закуска. Пили из чайной чашки, быстро переходившей из рук в руки. Обычно кто-либо из молодых Бурнашевых, перед тем как сесть за обеденный стол, предлагал: "Не хотите ли посмотреть наши комнаты?" Мужчины шли, попадали безошибочно в комнату няни, торопясь, выпивали всю водку - одну-две бутылки - и выходили в столовую красные, возбужденные, с блуждающими глазами. Мария Никаноровна делала вид, что ничего не замечает, пыталась занять гостей приятными разговорами. Пьяные гости клевали носом, пытаясь казаться бодрыми. Беседуя с кем-либо из нас, Мария Никаноровна держала себя так, как будто видела перед собой не маленького железнодорожника, а знатного

иностранца. Меня это стесняло, шокировало, но было занято, ново.

У Бурнашевых я встречал некоего Ивана Илларионовича Гольда, бывшего гувернера. Обрусевший австрийский еврей, прекрасно владевший несколькими языками, был, как говорили, до освобождения крестьян дирижером оркестра крепостных в имении Бурнашевых, а затем стал преподавателем новых языков и гувернером при детях. В мое время Иван Илларионович, которому было уже далеко за 70, всегда гладко выбритый, изысканно одетый, находился на положении приживальщика, но являлся каждодневно к обеду в изысканном черном сюртуке, глаженной сорочке и т.п. Таково было требование Марии Никаноровны. Он как-то мне рассказывал, что с начала 1870-х годов терпеливо ожидает получения от Бурнашевых денежного долга, 7 или 8 тысяч (точно не помню), взятых у него заимообразно Николаем Николаевичем Бурнашевым, супругом Марии Никаноровны, при возникновении судебного процесса с известным на юге овцеводом Фальц-Фейном.

Гольд скончался в доме Бурнашевых в середине 1890-х годов, не получив долга, а процесс с Фальц-Фейном, тянувшийся более 30 лет, доходивший несколько раз до сената, Бурнашев продал после революции 1905 года каким-то спекулянтам.

Так как ответчик Фальц-Фейн давно скончался, а его состояние унаследовали пять или шесть сыновей и столько же дочерей, успевшие передать свои доли мужьям, детям, женам, то пришлось к каждому из этих владельцев наследства предъявлять отдельные иски. Этот-то иск Бурнашев продал, кажется, за 150 тысяч рублей. Судебный иск Бурнашева к Фальц-Фейну возник потому, что когда-то,

при продаже матерью Бурнашева родоначальнику Фальц-Фейнов участка земли в бывшей Екатеринославской губернии - от лога такого-то до речки такой-то - для снижения казенных пошлин было показано в запродажных документах значительно меньшее количество десятин против действительности, но Фальц-Фейн уплатил, а Бурнашева получила в свое время все правильно. И вот, после смерти своей матери, камергер двора Его Величества, действительный статский советник, бывший председатель Варшавской судебной палаты, пытался доказать суду, что он имеет право на получение с Фальц-Фейна вторичной платы за проданную его матерью землю.

Вергопуло был большой барин, чванливый петербургский бюрократ, член совета министерства внутренних дел от министерства путей сообщения, тайный советник, никогда, видимо, никому ничего путного не посоветовавший, - жил зиму в Петербурге, а с апреля по октябрь - у себя в деревне. Очевидно, служба не очень его переобременяла, если из года в год он мог свободно пользоваться столь длительными каникулами. Ко мне Вергопуло относился покровительственно, свысока, но приветливо. Бывая на станции, подолгу со мной беседовал, интересовался моим прошлым, обо всем подробно расспрашивал, приглашал к себе в гости. Зная его высокомерие, я затруднялся у него бывать. Как-то приехал его сын, служивший в государственной канцелярии, увез меня к себе. Затем еще несколько раз присылали за мной лошадей.

Семья Вергопуло состояла из старика-отца, о котором я уже упомянул, его болезненной жены, постоянно охавшей, ахавшей о своих недугах, коих никто не видел, не замечал, так как она прекрасно ела, пила и распорядилась по

хозяйству. Две дочери, перезрелые девицы, одевались эксцентрично, изводили гостей рассказами о большом свете, балах, живых цветах в декабре, привозимых из Ниццы с норд-экспрессом. Сын, служивший в государственной канцелярии, артельный парень, ввел меня в дом отца, где было не только скучно, но и тяжело от избытка церемонности.

После моей женитьбы Вергопуло не раз бывали у меня в доме, восторженно (и деланно) восхищаясь мной, женой, детьми, пытаясь уверить нас, что таких хороших людей и таких славных детей "нигде нет". Таков этикет того времени. До мозга костей сухой бюрократ, старик Вергопуло, этот "человек в футляре", поразил меня своим суждением в октябре 1894 года, когда скончался Александр III. Узнав об этом событии, он с ужасом воскликнул: "Как, не может быть, ведь это ужасно!" и, схватясь за голову, продолжал по-бабьи причитать, охать, ахать. Никакие увещевания на него не влияли, а на напоминание о том, что все умирают - одни раньше, другие позже, - он возразил: "Вы меня не понимаете, не в этом суть. Можете ли себе представить на смертном одре главу семьи? Все кончено, всем ясно, что никакой надежды, хотя по возрасту надо бы еще жить, жить и жить. Но злой недуг подкашивает последние силы, остается сказать близким последние слова, завещать детям свою волю. В этот трагический момент старший сын, взрослый балбес, - представьте себе - не у постели умирающего отца, а сидит верхом на заборе и равнодушно грызет семечки"...

Как, спросили старого Вергопуло, неужели наследник таков, ничему его не учили?

- Учили, да недоучили.

Подобного отзыва старого бюрократа, яркого монархиста я не ожидал, не постиг, не понял.

Из этих нескольких беглых штрихов вам, дети мои, полагаю, станет ясна та окружающая обстановка, в которую я попал, впервые выехав из Курска для работы на линии, в деревенской обстановке. Учтите, что если когда-то, давным-давно, формы русской помещичьей жизни определяла вотчина, затем поместье, точнее, количество "душ" в поместье, то в мое время, когда я очутился в Золотухине, решающим фактором дворянства стали деньги или вообще выгода, в чем бы она ни выражалась. Поэтому и разночинцы, при посредстве коих можно было извлечь какую-либо выгоду, услугу теперь или в дальнейшем, стали приемлемыми. Не забудьте, что все мною описываемое было в конце 1890-х годов, почти через 30 лет после освобождения крестьян, т.е. когда у дворян от выкупных платежей остались одни воспоминания. Таково мое мнение.

Когда я случайно прочел Варюше эти несколько страничек, она спросила: "А как же, папа, образование? Столько столетий крепко сидевшее на земле дворянство так быстро сдало свои позиции, испарилось без остатка?"

Ответить на этот вопрос могу так, как я его понимаю. Считаю, что столбовое дворянство как таковое стало разлагаться задолго до последнего переворота. Переворот явился естественным концом, так сказать, естественной смертью для дворянства. Я уже не говорю о том, что в России почти не было среди дворян, как в Западной Европе, потомков тевтонских и иных рыцарей, значит, за редким исключением, не было и рыцарских традиций. Вспомните из истории, кому и как жаловали у нас потомственное дворянство, кого записывали в так называемую "шестую"

книгу, каких "столбовых" дворян? Все это бывшие чиновники, угодники цариц и царей, блюдолизы, подхалимы, а нравы, обычаи и привычки остались прежние - хапуг-чинуш в большинстве случаев. А умение произнести несколько фраз по-французски, вероятно, не изменило азиатских обычаев, нравов. Гоголевские типы остались в полной неприкосновенности. Таков мой ответ на вопрос Варюши, таково мое глубокое убеждение на основании личных впечатлений и еще больше литературы - начиная с того времени, когда я стал понимать прочитанное. Быть может, этим объясняется не только близкое общение дворян с разночинцами, смешанные браки, но и стремление многих из них к торговле, барышничеству, обвешиванию, обмериванию, обсчитыванию. Лишь бы нажить - средства к наживе безразличны. Конечно, не все были такими, но я знал многих так называемых тертых калачей, обладавших в коммерческих сделках поразительно острым зрением, тонким слухом для наживы, наживы и наживы без конца.

Кулаки, спекулянты, барышники встречались среди дворян-помещиков не в меньшем количестве, чем среди других сословий того времени. Я мог бы привести немало примеров, но я не пишу историю дворянства, а затем, и это главное, не считаю возможным порочить память умерших. В 1890-х годах А.П. Чехов достаточно охарактеризовал в своих произведениях умиравшее уже тогда дворянство: и Иванова с тысячью десятин, разорившегося от хозяйственных затей, и Лебедева - председателя земской управы, дядя которого был "гегельянцем", а сам отложил в кубышку 10 тысяч рублей...

Окунувшись в эту живую гущу, мне до сего известную лишь понаслышке и из книжек, я целиком и полностью

постиг цену всяким "благородиям" и не стал себя ставить ниже их, а наоборот. На воображаемом солнце оказались пятна, да еще какие!

### **Кроме помещиков, я в Золотухине узнал ближе местных крестьян**

Кроме помещиков, я в Золотухине узнал ближе местных крестьян, забытых не только нуждой, но и преследуемых полицией и попами за религиозные убеждения. В Щигровском уезде Золотухино считалось очагом старообрядчества, и к этим "столообрядцам", как их называли в обиходе, наезжали беспрестанно "гости": урядник, становой, старшина, представители Курской консистории всяких рангов и т.п. Около станции на площади бывали религиозные диспуты. Я вынес впечатление, что старообрядческие начетчики куда более осведомлены в разных "писаниях", нежели их сановные противники-миссионеры.

Особенно отраднo было наблюдать старообрядцев в их жизненном обиходе. Они никогда не лгали, говорили правду, водки не пили, не ругались. Я их невольно сравнивал с евреями, которых царское правительство также преследовало как иноверцев. На мой взгляд, старообрядцы с их суеверием, богоискательством, нравственно, морально стояли выше евреев. Никакого сравнения! Занимались они хлебопашеством и отчасти извозом на станции. Ко мне они относились почтительно, и я им платил тем же: называл не Витька, Васька или Петька, как принято было, а по имени-отчеству, что им весьма льстило. В деревне Золотухино, вернее, в пристанционном поселке, было около десятка

купеческих дворов с амбарами для ссыпки хлеба и лотками при них со всякими товарами крестьянского обихода: от дегтя для смазки телег до чая, печенья и конфет. Все эти Скородумовы, Глотовы, Лесковы, Залесские, Юрьевы и прочие, фамилии коих не помню, фактически торговали "чем угодно" - до водки включительно. Лавочка являлась лишь местом сборища, черной биржей, как теперь говорят. Были два официальных кабака и одна "белая харчевня". Так гласила вывеска, а на самом деле ничего "белого" там сроду не было: все чернее щигровского чернозема. В кабаках водку открыто продавали за наличные деньги, а тайком - под заклад и в обмен на что угодно - до краденного включительно.

Мой коллега, Петров, как-то покумился с одним из кабатчиков, стал постоянным посетителем "заведения". Лет десять спустя, когда я уже был ревизором движения Серпуховского участка, как-то, при поездке в Курск, встретил я на линии несчастного Александра Александровича Петрова. Он был тогда кондуктором-раздатчиком товарных поездов. Осунулся, постарел, одряхлел, с большим трудом тащил из вагона какой-то ящик. Я подошел к нему, подал руку, спросил о семье, о детях. Он опустил веки, думал о чем-то и, явно преодолевая сильное волнение, крикнул рабочим-грузчикам: "Что ж, ребята, давайте скорей, - поезд зря задерживаем!" Я просил Петрова зайти до моего отъезда в Москву, предложил помощь, наконец содействием, чтобы мог он устроиться на более покойной работе. Больше я его не встречал. Если бы не пьянство, мог бы, как и другие, выдвинуться по службе - в сведущих агентах технического движения была огромная нужда.

Возвращаюсь к купцам. Не знаю, имели ли они надлежащие купеческие документы, но торговлю развили обширную. Торговля шла бойко. Помимо крестьян покупали в лавках и помещики. Нам, железнодорожникам, приходилось сталкиваться по службе с этими "купцами", являвшимися клиентами дороги по отправке закупленных у крестьян хлебных грузов и получению товаров для своей лавочной торговли. Некоторые из них числились (фиктивно) агентами дороги по привлечению грузов, имели издавна бесплатные билеты для езды по этой дороге, чем весьма гордились. Администрация нам внушала, что надо ладить с этой публикой для привлечения грузов к нам, а не на соседнюю дорогу. Так, например, из Золотухина можно отправить хлебные грузы в Либаву или Ригу через Орел или через Курск-Бахмач. В первом случае наша Московско-Курская дорога получала провозочную плату за 120 верст, а во втором - за 30 верст. Разница значительная при ежедневной отправке к портам только, из Золотухина не менее 8-10 вагонов.

Один из таких купцов, некий Силаев, живший в Щиграх, откуда к нам гужом шли все грузы, почему-то уделял мне особое внимание. Раза два я его встречал и у Щекиных в Сергеевке, куда он заезжал по своим коммерческим делам. Сидя как-то у меня в конторе в ожидании поезда, Силаев спросил: почему не подумаю о женитьбе? Пора ведь!

- Невест нет, - ответил я ему.

- Как нет? А вот у Щекиных две племянницы. Чем не невесты? Младшая, правда, еще мала, молода, а вот старшая, Елена Евгеньевна, чем не невеста? Самый раз.

На этом моя беседа с Силаевым прекратилась. Не знаю почему, но мне тогда показалось, что кто-то надоумил,

подтолкнул Силаева на такой со мною разговор о женитьбе. Во всяком случае случайная, быть может, фраза Силаева оставила во мне горький осадок.

## **Подумаю о женитьбе? Любовь**

Бывая иногда в Сергеевке у Щекиных, я считал себя лишь случайным там гостем, и мне в голову не приходила мысль о сватовстве.

В Курске я бывал в нескольких домах, где были взрослые девушки, которые мне нравились и которым я нравился. Я сознавал, что пора обзавестись семьей, своим углом, но как-то брало сомнение, не хватало силы воли принять определенное решение. Познякова, с которой я встречался у Чепуриных, мне нравилась больше других, но я почему-то не бывал у нее в доме, где она, единственная дочь, жила с матерью после окончания гимназии. Когда я переселился в Золотухино, тетя Соня как-то неожиданно-негаданно приехала ко мне с ней и ее матерью на новоселье. Я был несказанно рад приезду этой нравившейся мне девушки, пробывшей у меня с матерью до вечера. Проводив их на поезд, благодарил за память, за привезенные гостинцы. Мать и она сама приглашали меня к себе. Казалось, элементарный долг приличия, долг вежливости обязывал меня отдать визит Позняковым. Но вопреки своим убеждениям, вопреки уважению к нравившейся мне девушке я визита не отдал, к Позняковым не поехал.

Почему? Не знаю. Так случилось, и все тут. Такова судьба, как говорили в то время. Не анекдот ли, в самом деле, - а может быть, и трагедия, - интеллигентная девушка, из хорошей семьи, нравящаяся мне больше других

знакомых, сама первая приезжает ко мне за 30 с лишним верст от Курска с матерью и женой моего старшего брата. Я - всегда ко всем внимательный, предупредительный, даже не отдаю ей визита, нарушая основные правила приличия и вежливости. Почему? Одно можно ответить - судьба.

После совета Силаева я, бывая у Щекиных, стал приглядываться к Елене Евгеньевне и быстро, безошибочно решил: "Нет, эта мне не пара".

О Юлии Евгеньевне и мысли не было. Она казалась в присутствии старших милым, юным подростком. И только. Небольшой физический недостаток (легкое заикание) заметно ее стеснял, а может быть, и конфузил. Возможно, поэтому она держалась как будто в стороне от общества, будучи постоянно занятой суетной беготней по хозяйству. У нее на руках были ключи от амбаров, кладовых, шкапов. Она отпускала муку, мясо, дичь, овощи и все необходимое для двух кухонь: барской и людской. Весь день она хлопотала по хозяйству. Бывало, пообедаст или позавтракает и - только ее и видели в доме. Приходилось ее видеть во дворе, около людской или кладовых с огромной связкой ключей в руках и всегда с милой, радостной улыбкой на устах.

Казалось, она никогда не была унылой, не грустила, а всегда весела, жизнерадостна, но как будто в стороне, вдали от многих, знающих лишь обжорство и веселье, размашистых от скуки на все руки помещиков и их близких.

Тетушка Анастасия Андреевна относилась к Юлии Евгеньевне покровительственно и в то же время внимательно, заботливо. Не оставляя ее никогда без работы, зная, что Юлия Евгеньевна любит покушать, тетя не пропускала случая предложить за обедом или чаем лишнюю порцию любимого кушанья, печенья или варенья.

- Юличка, выпей сливочек.

- Юличка, скушай еще варенья, я знаю, это твое любимое.

- Юличка, скушай еще тарелочку, ты сегодня набегалась вдоволь.

Такие предложения являлись обычными за столом. И Юличка не отказывалась, съедала дополнительную порцию без остатка.

Бывали такие случаи. Пьют чай. На столе печенье, варенье всякое, калачи, сдобные булочки, лимон, сливки. Тетя, обязательно самолично, разливает чай. Больше никто не смел. Наливая, каждого непременно спрашивала: "Вам с сахаром или без сахара?", хотя прекрасно знала, кто пил сладкий чай, а кто несладкий. Ответившему: "Прошу с сахаром" тетушка немедленно вновь задавала вопрос: "Вам положить два или три куска сахара?" И так неизменно, каждодневно утром и вечером. Видимо, тетушке доставляли удовольствие подобные праздные разговоры. А может быть, она делала это машинально, по привычке, как заученный урок.

Ко мне тетушка относилась внимательно, любезно.

Жизнерадостная Юличка и ее неутомимая работоспособность обратили на себя мое внимание, и я невольно стал к ней приглядываться, любоваться ею. Как-то раз хозяева и гости отправились всей ватагой гулять после ужина. Шли межой по направлению к молотилке, где можно посидеть на свежей соломе, порезвиться. Неожиданно раздался крикливый, пискливый голос Андрея Аркадьевича: "Юличка, и ты здесь? Ведь уже 20 часов, иди, иди спать".

- Андрюша, как тебе не стыдно, ведь я не маленькая.

- Господа, слышите, Юличка говорит, что она не маленькая. Ну, ладно, погуляй сегодня. Но в последний раз.

Оказалось, что Андрей нередко ее изводил такими сценами, конечно, в шутку, любя, но мне стало обидно за маленькую Юличку, и я как-то невольно осудил такую его нетактичность.

Правда, часто, когда не о чем было говорить, развлекались, болтали всякую чепуху, но в данном случае безобидная шутка мне показалась резкой, неуместной.

В Сергеевке принято было переливать из пустого в порожнее, и все считали это в порядке вещей. Приведу для характеристики один-два эпизода.

- Был, господа, - неожиданно начнет кто-нибудь рассказ, - такой случай. Нанимал барин повара и спрашивает:

- Что умеешь готовить?

- Все умею.

- А именно?

Повар перечисляет все кушанья.

- Хорошо. А вкусно ли готовишь?

- За вкус не ручаюсь, а горячо будет.

Все от души хохочут, хотя этот анекдот повторяется почти каждодневно много лет.

В запасе дяди Аркадия Ионовича был еще анекдот о деревенском дьяконе, рассказывающем своей семье, как хорошо его угощали на барском дворе. После перечисления множества всякого жареного, пареного дьякон говорит: подали что-то трясущееся на тарелке, которое на ложке не держится, а в рот само лезет. "Как его... забыл, как называется", - заканчивает дьякон свой рассказ.

- Не желе ли?

- Какой там жалели, ели сколько хотели.

Так развлекались в Сергеевке и были довольны наивно повторяемыми изо дня в день анекдотами о поваре, дьяконе или белом бычке, уверенные, что история никогда не разобьет их сладких иллюзий. Наивно, с нашей точки зрения, но они верили, что призваны "княжить и владеть", а до остального дела нет: хоть трава не расти.

Но меня тянуло в этот дом что-то как будто незримое, неясное. И я ездил в Сергеевку. Меня приветливо встречали, принимали, кормили, поили, давали иногда мелкие поручения, и только. Равного мне по взглядам и жизненным интересам там не было. Там говорили об охоте с легавыми, бегах, скачках, озимых и яровых посевах и т.д. в этом роде, в чем я был весьма мало сведущ, однако я ездил в Сергеевку, всячески стремясь быть чем-либо полезным. Что-то тянуло туда. Что? Я еще не знал, не отдавал себе отчета.

Как-то на Масленице, после вкусных и обильных блинов, кто-то предложил катание. К крыльцу были поданы выездные сани, деревенские розвальни и маленькие бегунки для двоих без кучера.

Большинство бросилось в розвальни на пушистое сено и в парадные выездные сани. Я почему-то подошел к бегункам, откуда-то прибежала Юлия Евгеньевна, направляясь к розвальням. Я ее остановил.

- Не хотите ли со мной в бегунках? - спросил я.

- Хорошо, пожалуйста. Но тут нет места кучеру. Вы править умеете? - спросила она, весело оглядывая меня.

- Умею, вероятно так же, как вы умеете отправлять поезда. Но думаю, наука эта немудреная. Поедемте, я попробую. А если что не так - поучите меня.

Сели, поехали.

Маленькие бегунки, санная дорога, хороший рысистый конь, казалось, давали возможность мчаться шибче колесницы Ильи Пророка, однако мои кучерские таланты были настолько слабы, что у околицы Сергеевки мы значительно отстали от компании, и моя спутница потребовала передать бразды правления ей. Пришлось конфузно подчиниться. Лошадь пошла быстро, и когда мы догнали далеко уехавшую от нас кавалькаду, моя юная спутница передала мне вожжи. Кто-то, заметив, что мы сначала отстали, затем мчались быстрой рысью, крикнул:

"Господа, обратите внимание на ухажерство Григория Марковича за Юличкой!" Моя спутница покраснела как рак, сконфузилась, шепнула мне:

"Слышите, что говорят? Все потому, что не умеете править". - "Да, не умею, - ответил я, - но вы меня научите, хорошо?" Ответа не последовало, но по жесту, которым она дала ход лошади, и по ее милой девичьей улыбке можно было предполагать, что эта юная девочка бессознательно начинает собирать по кусочкам то счастье, которого у нас еще не было. Все мы переживали это чувство на заре далекой юности. Так было, так будет.

Мы уехали от компании далеко вперед. Разговорились. Тут я впервые узнал, что "маленькой Юличке" не 15-16 лет, как казалось по ее внешности, а 20, что она много работает, помогая тете по хозяйству; что считает такую работу не только своей обязанностью, но находит в этом удовольствие, дабы хоть этим отплатить тете за заботы о ее воспитании;

что тетя ее очень любит, заменяя мать, которой она лишилась в годовалом возрасте и т.д.

Чувствовалось, что это не светская болтовня, не желание вызвать сочувствие или жалость, а что суровые условия жизни рано изменили, погнули и переделали эту девушку из "дворянского гнезда", кажущуюся почти ребенком.

Я слушал ее рассказ и мысленно стал почему-то сравнивать эту девушку с собой. Надо сознаться, выводы из этого противопоставления получались не в мою пользу. А так как по законам физики противоположности сходятся, то был момент, миг, когда у меня блеснула мысль: "Разве дерзнуть?" И я крепко задумался.

Маленькая Юличка шибче погоняет породистого рысака, ветер свистит, заламывает уши лошади...

Не хочу, чтобы дети меня поняли так, будто я предполагаю писать роман, занимательный рассказ. Нет, нет и нет. Я с умилением вспоминаю этот великий момент моей жизни и хотел бы в ознаменование светлой памяти дорогой мамочки воскресить в своей памяти то чувство, которое мною тогда овладело, зародилось. Хотя мы были в открытом поле совершенно одни и мне казалось, что я инстинктивно чувствую влечение ко мне маленькой Юлички, но осквернять эту идеальную девушку своим прикосновением или поцелуем я не посмел. Почему? Да потому, что маленькая Юличка совершенно не походила на тех барышень, за которыми я ухаживал. Нет, это не Кашаева, не Резнин, не Чепурина, не Фабрикант, не Познякова или им подобные. Это что-то новое, мною до того времени невиданное. Поглядев на нее, ни за что не дашь ей коротеньких двадцати лет, а гораздо меньше. Между тем она почти сама держит в руках огромное хозяйство, разумно работает и так

чистосердечно, незлобиво говорит о своем сиротстве, тяжелой доле, что невольно залюбуешься ее особым умением преодолевать любые трудности.

Крепко засела в мою голову эта мысль. Время шло. Я продолжал бывать у Щекиных в Сергеевке по-прежнему. Все ко мне относились, как всегда, внимательно, тепло. Все, кроме маленькой Юлички, казавшейся корректной, но не больше. Иногда даже холодной. Но мне почему-то радостно было ее видеть именно такой, ушедшей по уши в работу, и я невольно любовался ею.

Весной стало известно, что Мария Евгеньевна, живущая постоянно в Курске у Марии Аркадьевны, старшей дочери Щекиных, выходит замуж за Виктора Александровича Мизгера, помощника кассира Курского отделения государственного банка.

Здесь надо сделать маленькое отступление. После смерти Евгения Ивановича Красноглядова (Елена Андреевна, его жена, скончалась значительно раньше) остались дети: Иван, Елена, Владимир, Мария и Юлия. Анастасия Андреевна (тетя), узнав о кончине Евгения Ивановича, приехала из Щигровского уезда на родной хутор Лубянского уезда Полтавской губернии, навела кое-какой порядок, хозяйство возложила на старшего, Ивана, а Владимира и трех девочек увезла к себе в Сергеевку.

Владимир окончил землемерное училище в Курске, затем школу военных топографов, а об учебе девочек никто и не подумал.

Елена, или проще Леночка, как я уже указал, училась в Курской гимназии, кажется, до 3-го класса, пока Щекины жили в Курске, а после их окончательного переселения в Сергеевку Леночку из гимназии взяли во избежание лишних

расходов, хотя полный пансион ребенка в то время составлял не более 10 рублей в месяц. Мария и Юлия, очевидно, по тем же соображениям получили лишь домашнее воспитание.

Иван, надо полагать до своей женитьбы, хозяйничал неудачно в родном хуторе (будто бы выпивал не в меру), и Леночка приезжала иногда с тетей проверять работу Ивана. При этом, как сама Леночка мне рассказывала, бывали такие эпизоды: маленькая тогда еще Леночка звала к себе Ивана, становилась на стул и била брата по щекам за плохое состояние хозяйства, а Ваня, стоя, безропотно терпел...

- А зачем вы на стул становились? - спросил я ее как-то.

- Видите ли, он был уже большой, а я маленькая, так становилась на стул, чтобы ловчее было его бить по щекам.

"Дураков не сеют - сами родятся", хотел было я ответить Леночке, но своевременно воздержался. Итак, Леночку запрягли в хозяйство, тоже Маню и Юличку, а об их учебе оставили всякое попечение. Почему? Не знаю, не понимаю. О неимении средств не могло быть речи, т.к. оплата стола, квартира для учащегося обходились, как я уже говорил, в 10 рублей в месяц. Затем у детей Красногладовых были свои средства, если не ошибаюсь, до трех тысяч на каждого, доставшиеся по наследству от родителей после продажи какого-то леса, части пахотной земли и еще чего-то. Что касается Марии Евгеньевны, то и эти доводы отпадали, т.к. Маресевы жили сначала в Харькове, затем в Екатеринославе и, наконец, в Курске, где, как известно, были средние учебные заведения (гимназии) правительственные и частные. Остается, значит, предположить, что их удаляли от учебы заведомо. Не знаю с какой целью, но знаю, что моя Юличка, уже будучи матерью двоих детей, не знала, сколько ей досталось от родителей, где хранились эти деньги, на

каких условиях. Про то знала тетя, с которой, как с "благодетельницей", неудобно было будто бы говорить об этом.

Недурно? Хорошие намерения таких "благодетельниц" дают иногда не совсем хорошие результаты. Вы понимаете, вернее, хорошо знаете, дети мои, что я далек от мысли осуждать покойную тетю, Анастасию Андреевну, воспитавшую вашу маму, - она исполняла свой долг как считала возможным. Но не могу не отметить - то, что дочерей Красноглядова оставили без учебы, полностью распорядились их материальными средствами, - мне представляется не вполне нормальным. Если относительно учебы еще можно лишь условно предполагать, что у Анастасии Андреевны и вообще у людей ее времени и круга, живших безвыездно в своих деревнях и хуторах, могли существовать определенные взгляды на то, что девочек не надо учить очень много, а надо их готовить быть хорошими женами и хозяйками, то по вопросу о деньгах могу лишь допустить своеобразный взгляд тети на мужей своих племянниц, которые, по ее мнению, могли относиться к деньгам так же легкомысленно, как, скажем, ее внук Аркаша Маресев.

Однако я уклонился от последовательного изложения событий и все же не могу не отметить рассказ дяди Аркадия Ионовича Щекина о том, как он и его однополчанин, Евгений Иванович Красноглядов, одновременно женились на двух сестрах Криштафович. Он, Щекин, на старшей - Анастасии Андреевне, а Красноглядов на младшей - Елене Андреевне.

"Шли походом, - рассказывал Аркадий Ионович, - по Полтавской губернии. Было это зимой 1848 года. Подходили к городу Лохвицы, где предстояла дневка, т.е. ночлег и

отдых. Почему-то полк из Лохвиц своевременно не выступил, командир получил распоряжение ожидать на месте дальнейших указаний. Прошло несколько дней, офицеры, понятно, скучают. На скорую руку оборудовали офицерское собрание, стали устраивать вечера, танцы. Для приглашения дам офицеры поехали с визитами к окрестным помещикам, завели знакомства. Глухой городишко Лохвицы ожил, всполошился. Понаехали в город помещики с семьями. Состряпали любительский спектакль с живыми картинами, концерт и т.д. Бывал в офицерском собрании на вечерах раненый ветеран Отечественной войны Криштафович - вдовец, с двумя дочерьми. Криштафович пригласил Щекина и Красноглядова к себе в деревню. Поехали раз, другой, третий. Стали часто бывать. Барышни хорошенькие, прекрасные хозяйки.

Как-то так случилось, что мы одновременно сделали предложения, и наши свадьбы состоялись в один день. Вышли в отставку. Я увез жену к себе в Сергеевку, в Щигровский уезд, а Красноглядов решил продать свое Тамбовское имение и поселился у тестя".

Возвращаюсь к прерванному изложению замужества Маши, т.е. Марии Евгеньевны. К этой свадьбе усиленно готовились в Сергеевке. А Силаев при всякой встрече не упускал случая спрашивать: "Когда же женишься на Елене Евгеньевне?"

- Никогда.

- Почему? Не нравится? Что ж, дело вкуса. А зря. Барышня хорошая. А уж хозяйка - другой такой не найдешь во всей губернии.

- Да ну тебя, - огрызнулся я как-то, - не твоего ума это дело.

- Да, не моего ума, - ответил Силаев, - а вот станешь начальником и наплачешься без хозяйки. Или поймаешь такую кралю, что по целым дням "напутренная" будет глядеться в зеркало да папироски курить, а ты будешь работать и ребят нянчить.

Насколько мне нравилась Мария Евгеньевна и еще больше - маленькая Юличка, настолько же я не симпатизировал Елене Евгеньевне. Но назойливые напоминания Силаева, фактически шуточные, все же вызывали некоторые размышления. Забегу несколько вперед. Я уже писал об отрицательных качествах Елены Евгеньевны. Но и она сумела сохранить достоинство, когда это нужно было. После смерти Ивана Евгеньевича и его жены Александры Петровны, а затем Владимира Евгеньевича Леночка вывезла из глуши всех сирот и воспитала их. За это я Леночке многое прощаю.

Об этом я написал для полной картины далекого бывшего Красногладовых. Когда я теперь гляжу, какой черной неблагодарностью платят Леночке Миша, Наташа и остальные, которых она спасла от гибели, воспитала, дала возможность жить хорошо, - я не могу не вспомнить историю нашего "рассейского" холопства, хамства, которому теперь как будто уже не должно быть места, но, как видите на этом примере, оно еще сохранилось.

В начале мая я получил официальное приглашение на свадьбу Марии Евгеньевны. Я приготовил фрак, белый галстук и все остальное необходимое. В назначенный день и даже час оделся, навел красоту и стал ожидать присылки за мной лошади из Сергеевки. По свойственной мне привычке я готов был, конечно, раньше времени, поэтому спокойно чем-то занялся, читал газеты, затем просматривал книжку. Прошел час, другой, третий. Я начал нервничать. Лошадей

нет. Много раз выходил на крыльцо, глядел вдаль, прислушивался, ловил конский топот... ничего. И так до вечера. Стало ясно, что надо мною кто-то глумится, что мое присутствие на свадьбе кому-то нежелательно. Аккуратно сняв с себя парадный костюм и подобающе уложив все в чемодан, я быстро собрался в путь-дорогу и вечером уехал с почтовым поездом в Москву. У меня был отпуск на несколько дней, и я решил использовать этот отпуск немедленно, безотлагательно, чтобы уехать со станции ни с кем не встречаясь. Мне казалось, что все на меня подозрительно глядят, даже улыбаются, сожалея о моей скорби. Я горел огнем мести, не зная еще, как надобно реагировать на подобное оскорбление. Во всяком случае пока уехать, а там видно будет, как и кому мстить за оскорбление.

"Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету!" Чем не Чацкий? Неважно, что Чацкий бежал из Москвы, а я в Москву, неважно, что я сел не в карету, а в вагон. Но я уехал с мыслью никогда не переступить порога дома Щекиных в Сергеевке. Мысль моя работала быстро и, видимо, невероятно четко. В Москве я пробыл лишь часть отпуска, четыре-пять дней, и вернулся в Золотухино, решив использовать свой отпуск в два приема. Я стал работать, избегая встречи с кем-либо из дома Щекиных. Прошло несколько дней. Как-то приехала из Курска "сестрица" - Мария Аркадьевна. Я ей издала поклонился холодно и спешно ушел к себе в контору, якобы по срочному делу. Она выждала пока я отправил поезд, пришла ко мне и давай стыдить:

- Как вам не стыдно было обидеть Машу и Виктора Александровича?

- Мне?

- Да, вам. И нашли время - в столь знаменательный день их свадьбы поехать в Москву.

И пошла, и пошла.

- Позвольте, - говорю, - Мария Аркадьевна, не я обидел, а меня кто-то тяжело оскорбил. - И рассказываю подробно, как это было.

- Значит, - волнуясь, говорю я, - мной гнушаются. Мало того, мне, выражаясь грубо, плюнули в бороду. Так я понимаю этот печальный эпизод. Прошу вас мысленно стать на мое место и решить, как вы, ваш муж или брат поступили бы в подобном случае?

- Этого быть не может, уверяю вас, дорогой Григорий Маркович, что вы ошибаетесь. Все наши вас так любят, ценят. Тут какое-то недоразумение. Необходимо выяснить.

- Мне все ясно, Мария Аркадьевна, - ответил я.

На другой день явился ко мне в квартиру Андрей Аркадьевич для личных объяснений. По его словам, он накануне свадьбы дал указания старшему конюху куда, за кем, сколько послать лошадей. В том числе и бегунки за мной на станцию. В суматохе предсвадебной суеты, видимо, кто-то что-то напутал. Когда заметили мое отсутствие и спросили, была ли послана за мной лошадь, кто-то ответил утвердительно, высказав предположение, что я, вероятно, заболел. Ночью, когда на станции провожали молодых в Курск, пытались зайти ко мне в квартиру (это подтвердили соседи), справиться о моем здоровье и, к удивлению, узнали, что я уехал в Москву. Как хозяин дома Андрей Аркадьевич

принес торжественное официальное извинение, что лошадь за мной не пришла на станцию своевременно. Я также в чем-то извинялся, и после взаимных объяснений решили считать инцидент исчерпанным. "И предать забвению", - добавил Андрей Аркадьевич. И увез меня к себе в Сергеевку обедать. Дядя, Аркадий Ионович, также высказал мне свое сожаление о случившемся, уверив, что в свадебной суете и суматохе кто-то что-то забыл или напутал. И он, старик, просит меня не придавать значения этому случайному недоразумению.

После обеда гуляли в саду, затем пили чай, и когда наступили сумерки, я собрался уехать. Маленькая Юличка пошла меня проводить и спросила:

"Так не сердитесь больше, станете у нас бывать?" И обожгла меня таким теплым, радостным, как мне показалось, взглядом, что я растерялся, уронил фуражку, стал поднимать ее точно тяжесть. Кровь била в голову, чем-то заволакивало глаза. Предчувствовалось что-то хорошее, счастливое, но что именно - я не понимал, не отдавал себе отчета.

С тех пор прошло много лет, вернее, вся жизнь, а заключение все же напрашивается само собой и сейчас. Выходит как будто, что естественный отбор начинается чуть не с момента нашего рождения, помимо наших стремлений и воли.

Предчувствуя и предвосхищая нарождающееся сердечное влечение к маленькой Юличке, как я уже называл ее мысленно, продолжал бывать у Шекиных в доме и приглядываться более внимательно к Юличке и окружающей обстановке. Юличка продолжала оставаться, как всегда, скромной, работающей, суетливой, но мне казалось, что она не только не уделяет мне должного внимания, равного моим

стремлениям, но даже как будто не обладает досугом, чтобы заметить мои чаяния. Работа у нее была на первом плане, а уж затем остальное. Во время отдыха она иногда пела украинские песни. Обладая недурным голосом, маленькая Юличка умело передавала лирические оттенки украинской песни. Я родился на Волыни, помню эти песни с детства, и мне приятно было слушать умелое их исполнение, заунывные мотивы с резкими переходами на плясовой гопак и обратно.

Об ухаживании не могло быть речи. Не потому, что таковое было бы нежелательно, а потому, прежде всего, что Юличка, видимо, еще не постигла, что это за кушанье такое. Вернее, не до того было маленькой Юличке, казавшейся столь юной, что на вид ей нельзя было дать больше 16 лет, хотя ей было уже 20. Такова была простота этой милой девушки, стоявшей так близко к природе и так далеко от городских соблазнов и мечтаний.

Время шло. Я видел и сознавал, что в лице маленькой Юлички встречаю что-то новое, совершенно не похожее на то, что я встречал и видел раньше. Кроме необычайно юной внешности, ее скромность, застенчивость исключали всякую возможность говорить с ней о каких-либо сердечных увлечениях. Все в ней как бы говорило: "Сторонись, отойди, некогда, не до того!"

Постоянно в неизменно скромном розовом ситцевом платьице, цветущая, с пылающими, точно накрашенными щеками. Не верилось, что такая изящная гармония могла существовать в столь маленьком теле. Поэтому она казалась мне не реальным существом, а милой сказкой.

Щеки, бывало, пылают буквально как огонь в печке, глаза блестят, сама постоянно суетится, и только для того, чтобы

кому-нибудь услужить, оказать внимание. А если некому, то ищет и находит такой случай, иногда со стыдливой улыбкой на милом лице. Нет, таких девушек я еще не встречал. Сама мифологическая грация, нежность, ангельская доброта цветут в ней. Она слегка заикалась, когда спешила, торопилась. И этот физический недостаток мне был мил и дорог. Да, она не похожа на других девушек, с которыми мне приходилось встречаться до того времени.

Время шло.

Я задумывался над этим вопросом. Это было какое-то новое чувство, еще не испытанное, более возвышенное, чем прежние. Отдавая должное "маленькой Юличке", ее душевным качествам, милой, скромной внешности, изумительной хозяйственной работоспособности, обязан еще раз отметить мое изумление, даже конфуз пред несомненным фактом: она и ее сестры Леночка и Маша оказались почти малограмотными. В "дворянском гнезде", ведущем свой род чуть ли не от Рюриковичей, при наличии не только материальных средств, но и права на бесплатное воспитание в так называемых "институтах для благородных девиц" - им это право почему-то не было дано.

Таких институтов было много: в Харькове, Полтаве, Киеве, Одессе, Орле и других городах, не считая Москвы и Петербурга. Стоило лишь предъявить документы, что эти дети - сироты капитана Криштафовича, потомки героя Отечественной войны, и двери любого института для них были бы открыты настежь. Однако никто этого не сделал, как говорится, пальцем не шевельнул.

Вот уж действительно полное оскудение дворянства на всех фронтах.

Забегая вперед, должен отметить: когда мне потребовались эти документы в 1912 году для моих детей, не стоило особого труда получить их из Полтавы через две недели.

Я много знал дворянских Митрофанушек, о которых не распространяюсь потому, что они не имели отношения к моей семье, но об одном субъекте не могу не сказать несколько слов.

Броневский, бывший вольноопределяющийся, так и не дослужившийся до офицерского чина, на вопрос: "Где учился?" - самодовольно отвечал: "Я окончил полный курс всех московских трактиров и ресторанов". Недурно! Тогда это называлось бахвальством милого молодого человека, а теперь называется иначе - более точно.

Не сходящая в то время с театральных подмостков пьеса "Иудушка" (бессмертный тип русского Тартюфа, созданный Салтыковым-Щедриным в "Господах Головлевых") не казалась фантастической выдумкой. Таковы были нравы и обычаи многих дворянских гнезд.

Эти мысли меня преследовали неотступно, а маленькая Юличка с каждым днем все больше и больше нравилась. Не знаю, замечала ли она мое увлечение. Я несколько раз пытался объяснить с ней, сказать все, что на душе и в мыслях, совершенно чистосердечно, откровенно, но как-то не хватало силы воли, а может быть, и решимости. Мне казалось, что трафаретно-книжное "я вас люблю", "вы мне дороги", "прошу вашей руки" или что-либо в этом роде было бы слишком обыденным, даже пошлым для этой милой, честной, открытой девушки, совершенно непохожей на других. Надо было бы придумать, изобрести иной подход, найти новое. Но это "новое" мне не давалось.

Как-то раз, в начале сентября, я был в Курске у своих родных. К вечеру пришел на вокзал, чтобы уехать в Золотухино с почтовым поездом. Неожиданно встречаю на платформе Юлию Евгеньевну.

- Как, какими судьбами вы в городе? Такая редкость.

Оказалось, что дядя Аркадий Ионович телеграммой просил немедленно прислать ему мундир для какой-то экстренной надобности. И вот тетя поручила ей отвезти дяде мундир.

- Меня сестрица оставляла у себя, соблазняла городскими удовольствиями, а на сегодня уже взята ложа в театр, но я не решилась остаться, - ведь тетя одна, ей будет скучно.

Действительно, тетя осталась одна, так как Андрей Аркадьевич, Мария Викторовна и Сергей Аркадьевич были в Париже на Всемирной выставке. Беседа наша продолжалась, и когда поезд прибыл, мы сели вместе, в один вагон. До Золотухина езды около часа. Все это время я не сводил глаз с маленькой Юлички, наблюдая с жадностью, с каким восторгом и увлечением она занимала маленькую девочку, ехавшую с матерью в нашем купе. Меня тогда осенила мысль: "Такую мать я понимаю, она сумеет воспитать ребенка". Хотелось ей сказать об этом, но язык прилип к гортани, не ворочался.

Юлия Евгеньевна, доставая из ридикюля конфетку для девочки, вытащила пакет с фотографическими карточками, показала мне свой снимок у известного тогда Федецкого, в Харькове. Я загляделся на милые черты, похвалил фотографа и попросил дать мне карточку. Она отказала под предлогом, что еще не сообразила, как распределить полученные шесть карточек: тете и дяде надо, Ване послать надо и т.д. Наблюдавшая за нами соседка по купе сказала: "Дайте

карточку, видите, как ему хочется получить вашу карточку. Вы такая славная пара, что любо поглядеть". Как даже посторонняя, при случайной встрече в вагоне, замечает, что мы подходим друг другу? Значит, я не ошибаюсь? Так вот она - моя судьба, моя мечта! И после какой-нибудь секунды или момента раздумья - "быть или не быть?", решил быстро, определенно - быть. В это время раздался милый, чарующий голос: "Вот вам моя карточка, но с условием, что привезете мне свою карточку".

Поезд подходил к Золотухину, мы быстро стали собираться, простились со случайной спутницей, ее девочкой, которую Юлия Евгеньевна вновь стала ласкать, а я глядел и думал: да, это мать по призванию. Какой предок или какие обстоятельства ее наделили такими высокими качествами? Поезд остановился в Золотухине уже в сумерках, на платформе обычные керосиновые коптилки, шум, суета. Я проводил Юлию Евгеньевну до экипажа. Кучер Петр с трудом сдерживал коня, нервничающего в привокзальной суете, у слабоосвещенного подъезда, где суетились приехавшие, уезжавшие, провожающие и вокзальные ребяташки-ротозеи. Прощаясь со мной, намереваясь сесть в экипаж, Юлия Евгеньевна вновь напомнила мне о карточке: "Запомните, я дала вам свою карточку с тем, что на днях получу вашу, да?" Тут меня наконец прорвало:

"Нет, Юлия Евгеньевна, не надо карточки, возьмите подлинник, меня самого, вот, как есть, навсегда", - ответил я. Она растерялась, стала шептать: "Как же так, я, право, не знаю, не понимаю, наконец, так неожиданно. Ведь надо подумать". Но я не дал ей возможности подумать. Обняв и крепко поцеловав, сказал: "Да, конечно, тут не место говорить об этом. Пришлите за мной лошадку, поговорим

обо всем в Сергеевке", - и помог ей сесть в экипаж. Молчаливый, хмурый кучер Петр не выдержал:

"Срамота, при всем честном народе целует нашу барышню взасос. Беспременно старой барышне расскажу", - и быстро тронул с места. Замечание Петра, сказанное с укоризной: "срамота", заставило меня крепко задуматься. Нет, не прав кучер Петр. Никакой "срамоты" нет, решил я, когда публично, при всех, от всей души, от всего сердца целуют любимую девушку. "Срамотой" это можно назвать, когда это делается в тиши, для разврата. Впрочем, такие вопросы всякий решает по-своему.

Как бы там ни было, а с момента поцелуя маленькой Юлички на станционном подъезде, "при всем честном народе", как говорил кучер Петр, начинается новая, красивая, радостная страница моей жизни. Так я решил безоговорочно к утру следующего дня, каковое, как и подобает, оказалось мудренее вечера. Я понял, что эта девушка предназначена мне роком, судьбой, или как хотите называйте. Она, я был уже уверен, будет женой по призванию и свойству своей природы, в полном смысле этого слова.

Я пишу эти строки через 45 лет после вспоминаемого эпизода. Перечитываю написанное как будто напыщенными фразами, и они таковыми мне не кажутся и не преувеличивают достоинства и личные качества "маленькой" тогда Юлички, моего незабвенного друга.

На следующий день после дежурства я крепко спал с утра спокойным сном, а к вечеру за мной приехала лошадка из Сергеевки. Когда я садился в экипаж, кучер Петр упорно молчал, но его строгое молчание мне казалось весьма красноречивым. В деревне меня встретили дядя Аркадий

Ионович и тетушка Анастасия Андреевна, подчеркнуто торжественно, любезно. Маленькая Юличка, красная, как бурак, крепко сжала мою руку - не так как прежде. Подали самовар. Глотая чай, я не знал, как начать разговор "об этом". Все как-то не клеилось, не ладилось. Наконец, набравшись храбрости, глотая слюну, одолевая спазму, выпалил: "Анастасия Андреевна, прошу вас и Аркадия Ионовича уделить мне несколько времени - я желал бы поговорить с вами по нужному делу". Юличка зарделась вовсю, встала из-за стола и ушла. Мне предложили не торопиться, выпить еще чаю, обратили мое внимание на какую-то булочку, придвинули печенье. А мне было не до того. Пришла Юличка, зачем-то стала запирает все замки в буфете, видимо, только для того лишь, чтобы не оставаться без дела. Нервничала, волновалась, как и я. Наконец, чай допили. Тетушка пригласила меня в свою комнату, села, предложив мне сесть рядом, торжественно заявила:

"Я вас слушаю, дорогой Григорий Маркович". Хотя и волнуясь, все же как будто достаточно ясно и складно объяснил тетушке, что сделал предложение Юлии Евгеньевне и теперь пришел к ней просить руки любимой девушки, которой она заменяет мать. Тетушка этого не высказала, но чувствовалась ее уверенность, что правильной и резонней было бы мне просить руки Леночки, а не Юлички. Так мне тогда казалось по крайней мере. Но вместо этого она спросила:

- Скажите, дорогой Григорий Маркович, вы православный?

- Да, - ответил я, - православный.

- В таком случае я весьма рада и благодарю вас, мой дорогой, за оказанную нам честь. Я весьма рада, но,

согласитесь, надо и Юличку спросить об этом. Я ее сейчас же позову, и мы совместно обсудим этот вопрос.

Встала и ушла, оставив меня одного в комнате. На такой "шах" тетушки относительно православия, надо было бы тут же ответить "шахом" ей же, как это принято при игре в шахматы, но в столь исключительный момент у меня не хватило силы воли. Тут же вошла Юличка вместе с Анастасией Андреевной. Взглянув на меня своими добрыми глазами, не дав мне что-либо сказать, заявила, что уже приняла мое предложение и просит тетушку не препятствовать нашему счастью.

- Вот и хорошо, рада и счастлива. Возьмите Юличку, умеете ее беречь, уверена, будете счастливы. Я ей заменяю мать, мою покойную сестру, и с радостью благословляю вас, мои дорогие, на мирное, долгое и счастливое житие.

Перекрестила нас обоих, обняла, расцеловала, пригласила в гостиную. Там нас ожидали Аркадий Ионович и Елена Евгеньевна. Чтобы закрепить наш предстоящий союз, дядя и тетя благословили нас иконой. О том, что жениха и невесту будут благословлять иконой, оказывается, быстро стало известно на кухне, конном дворе, всей дворне. В обоих коридорах, так называемых лакейской и девичьей, появились любопытствовавшие, заглядывавшие в щели и полуоткрытые двери. Хотя меня все знали больше года, а посмотреть, как благословляют нас иконой, собралось много. Больше всего собралось женщин со двора, из кухни. Ясно слышались вздохи и причитания какой-то бабы: "О-о-о-х-х-х! Наша барышня такая молоденькая, х-о-о-о-рошенькая, а жених старый, с ба-а-а-радой!" Юля мне шепнула: "Слышите, что про вас говорят?"

- Да, слышу, - ответил я, - хорошо слышу, что говорят о вас и обо мне. А вы разделяете такой взгляд и отзыв обо мне?

- Нет, не согласна. Совершенно не согласна. Вы мне давно нравились, с первого дня нашей встречи. Точно я предчувствовала случившееся. А баба так говорит потому, что у крестьян ребят женят в 19-20 лет, иногда даже моложе, а вы бороды не бреете.

Благословили нас весьма торжественно и помпезно. Аркадий Ионович сказал очень милый экспромт (он хорошо владел рифмой и размерами стихосложения), а тетя еще раз перекрестила, обняла, расцеловала.

Я ответил благодарностью за оказанные мне честь и доверие, обещав употребить все усилия, чтобы Юличка не пожалела о своем решении разделить со мной свою судьбу.

- Мы вас хорошо знаем и ценим, - сказала тетя, - а [Иван Алексеевич](#) (мой начальник станции, Баранов) говорил нам о ваших способностях и что вы далеко пойдете по службе. И слава Богу. Мир вам и совет. Юличка будет хорошей женой, и вы не пожалеете о своем выборе.

- Ну, матушка, - возразил дядя Аркадий Ионович, - нашла время комплименты говорить. Соловья баснями не кормят: шампанское давно в бокалах, да и закусить не вредно. Неужели голодом нас морить собираешься. Не согласен. У нас в полку был такой порядок... -- и пошел, пошел рассказывать о былом.

Пили за здоровье и благополучие жениха и невесты, старых и молодых Щекиных, моих родных. За ужином возник вопрос: когда назначать свадьбу? Решили наметить приблизительно через полтора-два месяца. Во всяком случае

ждать возвращения Марии Викторовны, Андрея и Сергея Аркадьевичей из Парижа.

Я чувствовал себя безмерно счастливым, но не давал мне покоя тетушкин знаменательный вопрос о моем православии. Уж поздно вечером, после ужина, случилось, что я остался с ней вдвоем в столовой и тогда спросил Анастасию Андреевну, почему она, зная меня больше года, принимая у себя в доме как желанного гостя, наконец, зная моих братьев в Курске, в столь торжественный момент прежде всего нашла необходимым спросить: православный ли я?

Она ответила:

- Вы знаете, мой дорогой, родной, я человек старый и глубоко верующий. Я заменила Красногладовым мать, а затем и отца и хотела бы, чтобы будущее поколение, если им суждено иметь потомство, было бы православной веры. Вы, надеюсь, меня, старуху поймете и не вздумаете на меня обижаться; ведь вы, право, такой славный.

- Да, дорогая тетушка, вы точно определили, что я право... славный человек. Если нам с Юличкой суждено иметь детей, то, поверьте, и дети будут в отца пра-а-а-во славными, по вашей терминологии.

Она расхохоталась, обняла меня, стала целовать. В это время вошла Юличка.

- Юличка, пока ты там хлопотала, я, старая, обнимала тут Григория Марковича. Ты не ревнуешь? Нет? Радуюсь, что Господь послал тебе разумного, хорошего жениха. Он меня тут пожурил, а я его целую, так как полюбила как тебя, мое дитя. Благодарю Господа Бога, что он хорошо устраивает твою судьбу. Я, конечно, теперь, через 45 лет, не могу воспроизвести точно, стенографически, слова тетушки, но

мне кажется, что не отступаю от слов этой женщины. Ведь многие давнишние события нашей жизни почти фотографически сохраняются в нашей памяти. Почему? Объяснить научно не могу, но мне кажется, что в известных случаях, как бы это выразиться, мы становимся не меньше, а больше своего времени, сильнее по существу, да и по возрасту. Надо полагать, поэтому у нас иногда сохраняются в памяти даже эпизоды далекого, далекого детства, а позднейшие события, наоборот, нередко улечучиваются. И теперь, когда я на склоне лет пишу эти строки, все же не могу понять и постигнуть вопроса умной, вернее - умнейшей в семье Щекиных, Анастасии Андреевны о моем православии в столь исключительный и торжественный момент, когда я просил руки ее племянницы и воспитанницы.

Необходимо отметить, что в Курске тогда было около 30 тысяч всего населения, с причисленными к городу подгородными слободами: Ямской, Стрелецкой, Пушкарной. Естественно, что в городе все более или менее заметные персонажи не только знали друг друга, но и что кто вчера ел на обед. Да и я уже знал хорошо по Золотухину быт, нравы многих помещиков, этих так называемых "гамлетов Щигровского уезда", и ничуть не страшился сопоставления с моими предками. Наоборот. Все же сладость, торжественность великого момента мне казалась нарушенной. Безумно любя маленькую Юличку, я тогда примирился с этой горечью, проглотил эту горькую пилюлю, хотя, надо сознаться, был момент, когда, подобно гоголевскому жениху, готов был выскочить в окно, удрать от женитьбы куда глаза глядят. К счастью моему и моей будущей семье, этого тогда не случилось - я взглянул на вошедшую Юличку, встретил ее милый взгляд, и все мое недовольство улечучилось,

испарилось мгновенно. В тот вечер я уехал из Сергеевки около полуночи. Выехав в поле, глядя на звезды, млечный путь, пытался прозреть будущее - все соображения укладывались в хорошее русло.

На правах жениха я ездил в Сергеевку часто, почти каждый свободный от дежурства день. За мной не только всякий раз неизменно присылали экипаж, но и встречали восторженно, радостно, как близкого, родного. Тетушка старалась всячески загладить возникшее было мое уныние, когда она справилась о моем православии, и буквально засыпала меня таким вниманием, какого я не видал и не ожидал. Юличка меня встречала на крыльце своей неизменной радостной улыбкой, в простеньком розовом ситцевом платице, которое так шло к ней.

Дядя и тетя пытались спросить меня, что и как надобно сшить Юличке к свадьбе, но я от этих вопросов отмахивался, уверяя, что в нарядах дамских мало смысла. Я знал, что портниха и белешвейка кроют, что-то шьют с утра до вечера, но что именно - меня не интересовало. Я знал также, что Юличка ничего не читала, совершенно не сведуща в литературе, поэтому пытался - как тогда говорили - ее просветить: читал ей Толстого и еще что-то, точно не помню. Давал ей читать вслух для нас обоих, указывая, как надо при чтении оттенять логические ударения и т.д.

Тут я сделал еще открытие. Оказалось, что когда Юличка читает медленно, спокойно, не торопится, то заикание совершенно исчезает. Когда я ей указал на это, она стала, вернее, старалась, все делать медленнее, не спеша, говорить спокойнее. Слушая меня внимательно, Юличка как-то проговорила, что и брат Володя заикался, так как всегда, как и она, торопился скорее исполнить что приказывали (так

их учили). А с тех пор как он стал учиться в Курском землемерном училище, перестал заикаться. Что тетя очень ее любит и мечтает о ее счастье, но на институтское или гимназическое воспитание девочек имеет своеобразный взгляд: не только своих трех племянниц, сирот, не обучала в учебных заведениях, но и ее единственная дочь, Мария Аркадьевна, росшая, когда Шекины жили в Курске, дошла лишь до 3-го или 4-го класса гимназии. Тетя считала, что девочкам лишняя учеба бесполезна. Когда я стал Юличке рассказывать о прочитанном в газетах, новых книгах, она созналась, что в Сергеевке и мужчины очень мало читают, а лишь "просматривают" газеты и журналы. Это я и сам видел. Объяснение: некогда, мол. Я ей пытался доказать, что надо уметь распределять свое время так, чтобы на все хватало - на работу, чтение, игры, удовольствие. Это дается не сразу, но тренировать себя возможно и необходимо. "Вот, смотрите, - говорил я, - как хорошо Андрей Аркадьевич тренирует беговых лошадей и какие блестящие результаты достигнуты. Значит, мы, разумные двуногие, можем далеко уйти от того, чем сейчас обладаем в наших знаниях". Так мы нередко мирно беседовали, и я восторженно глядел на свою невесту, эту близкую к природе девушку, нетронутую городскими обычаями и взглядами, увлечениями, пороками, убеждаясь с каждым днем, что жизнь моя круто повернула на повороте в сторону счастья и благополучия. У меня до сих пор хранится письмецо Юлички от 28 сентября 1889 года. Шутка сказать: через месяц исполнится 45 лет, как написаны эти несколько строчек, я и теперь с умилением гляжу на эти милые каракули. Дорогие дети мои, взгляните внимательно в почерк, изображение букв, построение фразы и поймете, надеюсь, меня. Это писала молодая девушка жениху, своему избраннику. Наверное, ни вы сами, ни ваши знакомые так не

писали, да и не умели так цельно, разумно стоять близко к природе, как эта маленькая Юличка.

С тех пор много, много воды утекло; цепь дней, недель, месяцев, лет, десятилетий...

А знаете, зачем она меня звала тогда к себе? Предупредить, что 30 сентября утром приедет ко мне дядя Аркадий Ионович в мундире и полном параде поздравить с днем ангела, затем приедут она и Мария Аркадьевна, т.к. тетя отсутствовала. Она наивно полагала, что это может застать меня врасплох и получится нежелательное в моем хозяйстве замешательство, мне неприятное. Я поблагодарил за предусмотрительность, высказав предположение, что поскольку я знаю об этих визитах лишь по секрету, то не лучше ли мне 30 сентября уехать в Курск, ибо при скудости моего домашнего инвентаря мне все равно невозможно принять как подобает официальных визитеров в шелках, бархате, мундире и орденах. Предупреждать мою Ковшиху (фамилия моей прислуги) бесполезно - она, старая, что-нибудь напутает. Так мы с Юличкой, также по секрету, этот вопрос согласовали.

Тут уместно будет отметить, что, когда я женился, мое приданое состояло из самовара, половой щетки, сапожной щетки и дубовой кадки для воды. Как видите - более чем скромно и не для приема титулованных визитеров. О моем приданом мы долго, долго радостно вспоминали. До старости лет.

30 сентября я был свободен от дежурства и, как мы условились с Юличкой, уехал к братьям в Курск. Вернулся вечером и выслушал доклад Ковшихи. В положенное время был Аркадий Ионович в мундире и орденах. Оставил визитную карточку с загнутым углом внизу справа, что

означало "визит". "Затем были, - рассказывала Ковшиха, - Мария Аркадьевна и невеста. Долго сидели, барышня наводила порядок (квартира состояла из двух больших комнат и отдельной кухни), расставила по-своему и оставила вам подарок со днем ангела. Ай, как нехорошо вы сделали, что уехали в Курск. Надо было приказать мне, - продолжала старуха Ковшиха, - изготовить кулебяку, купить водочки и чего-либо сладкого из наливочек для женского пола, пригласить соседа (а у меня за стеной жил жандарм), честь по чести выпить, закусить и все прочее, а тут бы и невеста явилась с подарочком. А то, что вышло - ни мы им, ни они нам. Как себе хотите, Григорий Маркович, а по мне - нехорошо. Люди осудят".

Старуха ворчала, а я с умилением, радостно сжимал в руке первый подарочек моей суженой. А когда узнал, что Юличка заходила ко мне в спальню, поправляла подушки на постели, крестила их (чтобы я спокойно спал, не видел дурных снов), то еще более размяк.

В начале октября в Сергеевке начались серьезные приготовления к свадьбе, назначенной на 29 октября - в день ангела Марии Евгеньевны, или Маши, как ее кратко называли близкие. Юличка часто ездила в Курск с тетей или Леночкой за покупками, примерить или получить у портнихи платья. Цель поездки, признаться, меня мало интересовала, но я восторженно ждал каждой встречи с моей суженой, когда окружающие или знакомые оглядывали нас на вокзале, на платформе или в вагоне. Чем больше я на нее смотрел, приглядывался, тем больше она мне нравилась своей искренностью, неподдельной простотой и милой внешностью. Это было не обычное влечение к красивой девушке. Нет. Это было что-то иное, высшее, которому я и

сейчас не знаю названия. Я глядел, млел и восторгался своим счастьем, уверенный, что только этой, пышащей здоровым румянцем девушке суждено, как теперь говорят, поставить на новые рельсы мои стремления. И действительно так случилось в дальнейшем: без огласки, без клятв, без крестного знамения, без фразерства, без громких слов - я стал работать, работать, работать и обратил на себя внимание не подхалимством или подслуживанием, а знанием техники и экономики транспорта. Но об этом еще речь будет впереди, а факт остается фактом: с тех пор как я стал счастливым женихом, меня охватило особое волнение, жадное стремление к труду и знаниям вследствие безмолвного воздействия на меня маленькой Юлички. Да, жизнь - лучшая школа!

Не помню, как это случилось, но примерно за две недели до нашей свадьбы я поехал с Юличкой в Коренную Пустынь, в монастырь. Я там как-то был, знал некоторых монахов по их далеко не монашеским похождениям. В особенности нам, железнодорожникам, известен был казначей, отец Акакий, ездивший два раза в месяц в Курск сдавать деньги в банк. Как производилась эта операция, не знаю, но возвращался Акакий из Курска в большинстве случаев пьянее вина и, конечно, засыпал в вагоне. Намеренно или случайно кондукторы его не будили своевременно, и Акакий нередко проезжал один-два перегона дальше Коренной Пустыни (теперь станции Свобода) и платил штраф. Чтобы скрыть от игумена позднее возвращение из Курска, нам приходилось возвращать в Коренную Пустынь Акакия с первым обратным поездом, нередко с товарным. Акакий, конечно, меня знал, относился ко мне подобострастно, а Юличка, со слов тети,

считала Акакия святошей, и ей, видимо, неприятно было мое суждение о монахах и Акакии в частности.

- Не надо никого осуждать, это грешно и нехорошо, - сказала она мне как-то. Ее доброе сердце не допускало возможности осуждения чьих-либо дурных поступков. Я подчинился. Узнав, что Юличка моя невеста, монахи, которых тетушка обычно щедро одаривала, оказали нам на сей раз исключительное внимание и почести после молебна, заказанного Юличкой, и затем, и во время обеда, накрытого для нас не в трапезной, а в парадных комнатах. Тут я впервые увидел себя записанным Юличкой в ее поминальной книжечке "за здоровье".

- А вы верите этому? - спросил я.

- Да, искренне верю и хочу, чтобы вы были здоровы долго-долго, до ста лет. Об этом я и молилась сегодня, - ответила она, умиленно и доверчиво глядя мне в глаза.

- А вы о чем молились и думали во время молебна?

Вопрос был поставлен ребром. Я ей чистосердечно объяснил, что, признаться, ни о чем божественном не думал, а мечтал о нашей будущей совместной жизни. Хочу, желаю, чтобы она была счастливой. Если она сулит мне 100 лет жизни, то я хотел бы ей посулить столько же и, как в сказке, еще полстолька и еще четверть столька.

- Нет, не надо, - возразила она, - это невозможно.

В это время мы проходили мимо монастырского киоска, где продавались крестики, иконки, листовки и прочее. Почти одновременно у нас обоих возникла мысль обменяться подарками "навсегда". Она подарила мне крестик, а я ей иконку. День был будний, стояла тишина, располагающая к

мечтаниям. Мы долго гуляли, беседовали и наговорились, что называется, от души обо всем и обо всех. На мой вопрос:

"Как вы представляете себе нашу будущую семейную жизнь?" она поразила меня исчерпывающе искренним и ясным ответом, сводившимся к тому, что

"это будет зависеть от нас обоих". Что руководить всем обязан буду я, как старший по возрасту и более житейски опытный.

"Вы умнее меня, - закончила она свою мысль, - а я неопытна, росла без материнской ласки и всецело подчинялась тете. Жаловаться грешно - тетя меня очень любила и любит".

Скромно, дельно, разумно, без жеманства говорила откровенно, что я ей давно нравился. Сказала, что случай на вокзале, у экипажа, в присутствии кучера Петра, явился осуществлением ее тайной мечты и в то же время по месту и времени был столь неожиданным, что она растерялась и не знала, как надо реагировать. Кроме того, в Сергеевке считали, что сначала должна выйти замуж Леночка, как старшая.

Высказала она свою мысль так скромно, разумно и деловито, что я вновь счел себя обязанным просить верить моему искреннему глубокому влечению, вере в наше счастье. Говорил я, вероятно, долго, напыщенно.

- Вы, вероятно, уже любили кого-нибудь? - спросила она неожиданно в разгар моего красноречия.

- Да, любил, - ответил я, - но так, как вас, - никого. Не знаю почему, но я предвижу, чувствую, что мы будем счастливы.

- Дай Бог, дай Бог, - шепнула она. - Знаете, еще подростком, бывая на маленьких железнодорожных станциях вроде Золотухино, заглядывалась я на вокзальную суету, любовалась чистенькой, посыпанной песочком платформой, садиком с крашеными скамейками. Тогда уже предвосхищала этот уют и в то же время людскую суету. А тут - на вот - словно кто-то напроорочил.

Слушая эти наивные слова, я все больше убеждался, что мой выбор подруги жизни сделан правильно. Я это осознал уже тогда с полной ясностью. Мне так хотелось ее обнять, приласкать, но разум взял верх над чувством; я не посмел прикоснуться к любимой девушке, опасаясь нарушить то чистое, святое чувство, которое можно питать только лишь к существу, пред которым преклоняешься. В таких неповторяемых в жизни случаях даже обычный поцелуй истолковываешь как оскорбление или осквернение святыни.

Многие события того времени давно растаяли в моей памяти, а эту прогулку в монастырском саду, объяснения по душам с невестой, ее доброе, пышущее здоровьем личико ясно представляю себе и сейчас, по прошествии 45 лет.

У моих детей, имеющих уже свои семьи, может возникнуть вопрос: откуда у папаши такое романтическое подобострастие даже теперь? Не знаю, сумею ли передать вам, как теперь говорят, конкретно мои чувства и мысли, но попытаюсь. Меня не оставляла мысль: хватит ли у меня умения и понимания дать маленькой Юличке что-то, равное ее прекрасным чувствам и преданности идее брака как таинству, а не сожителству. Ясно? Такой уверенности у меня не было, поэтому я ставил ее выше себя. Затем взять хотя бы такой эпизод. Я знал о похождениях некоторых монахов Коренского монастыря, а Юличка, под влиянием

тетушки, не только глядела на это сквозь пальцы, а пыталась себя убедить чуть ли не в святости их, которой, конечно, и в помине не было. С другой стороны, она не могла не верить мне, когда я приводил ясные, неоспоримые факты. Однако ее доброта и природное обаяние были столь велики, что признанные ею слепо обычаи, да и символы веры, как-то невольно стали надолго для меня и детей, если можно так выразиться, законом жизни больше из уважения и преданности к ней, чем от веры по существу. Я уже писал о неуместном вопросе тетушки о моем "православии".

Беседуя по этому поводу с Юличкой, еще невестой, до нашей свадьбы, я, считаясь с черносотенным настроением того времени вообще и в частности среди оскудевшего дворянства, не мог не спросить: чем вызван такой вопрос тетушки и как она сама смотрит на это? Юличка меня всячески пыталась убедить, что о себе она говорить не будет, так как я сам должен знать о ее ко мне чувствах. Что касается тетушки, будто бы меня уже любящей как родного сына, то нельзя не считаться с ее возрастом, особыми взглядами на жизнь, свойственными старикам. "Не стоит об этом вспоминать, и я очень прошу вас забыть об этом", - сказала она. Дети знают и не могут теперь не вспомнить, что в дальнейшем, как обычно бывает в жизни, я иногда ссорился с мамочкой, бранился. Бывала в этом случае моя вина, случалась и мамочка виноватой. Но за 43 года нашей совместной жизни я не помню ни одного случая, чтобы она когда-либо намекнула или сравнила наших арийских и не арийских предков. К моим родным она относилась неизменно любовно, и те ей платили сугубо тем же.

В те времена, в разгар черносотенства, разве кто-либо из мне известных женщин так выполнил свой долг служения

семье, как моя маленькая Юличка? Нет, никто. Я, по крайней мере, не знал и не знаю другой такой. Кто-то из современных писателей недавно привел в своей повести цитату из книги пророков: "Оставь отца и мать и прилепись к мужу своему". При выходе замуж женщина должна "прилепиться" к мужу своему, т.е. составить с ним одно целое. Хоть у маленькой Юлички не были живы ни отец, ни мать, когда она выходила замуж, но я обязан подтвердить, что она действительно была прилеплена ко мне и я к ней - неотъемлемо. Я не только имел счастье быть мужем и другом маленькой Юлички, но, очевидно, я в рубашке родился, что судьба приготовила мне такой подарок. Или, говоря словами Пушкина: "Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминанья прежних лет". Быстро промелькнули две декады октября, когда шли усиленные приготовления к свадьбе.

Строго говоря, мне лично не было особой надобности готовиться: я имел все необходимое, поэтому мысленно уже возлагал все заботы о будущем хозяйстве на Юличку. Купить в Курске новую модную глаженую сорочку, белый галстук и лаковые полуботинки с блестящими пряжками, издававшими "шепот нежный, робкое дыхание" (по Фету), было незатруднительно. Иное дело - невеста. Для нее по целым дням и вечерам, под наблюдением тетушки, кроили, шили, примеряли. Признаться, меня мало интересовали портнихи, белошвейки и чем там они занимались - я больше заглядывался на невесту. Но пришлось подчиниться обычаю: заказать венчальные кольца, купить фату, свечи. Мне подсказали, что это обязанность жениха. Ладно, подчинюсь. Ориентироваться в этих тонкостях мне помог дядя Аркадий Ионович, которому, как оказалось, тетя поручила купить все необходимое для квартиры молодых. Осмотрев тщательно

мои две комнаты и отдельную кухню, Аркадий Ионович нашел мое "приданое" (самовар, сапожная и половая щетки, дубовая кадка для воды) недостаточным для хозяйства молодых. Для первой комнаты, так называемой гостиной и в то же время столовой, он приобрел обеденный стол, шесть венских стульев, мягкий диван, два кресла, четыре стула, круглый стол и какие-то тумбочки. Для второй комнаты он привез гору подушек, двуспальную кровать, несколько одеял, ковры и еще что-то. Уцелел лишь мой письменный стол. На мое заявление, что двуспальная кровать конфузна, дядя, обидевшись, возразил: "Ивините, мой дорогой, это так кажется по современным, либеральным понятиям. Нашим предкам не казалось конфузным и вам, поверьте, не будет стыдно. Юличка входит в ваш дом законной женой, а не содержанкой". Словом, отчитал меня на все корки, прочитав пространную лекцию о значении законного брака. Пришлось молча подчиниться обычаям юличкиных предков. Накануне венца тетя и Мария Аркадьевна убрали постель разными украшениями и накрыли шелковым одеялом, оставшимся по наследству от бабушки Криштофович, матери Елены Андреевны Красногладовой. Будучи осведомленной о моей беседе с Аркадием Ионовичем по поводу двуспальной кровати, Мария Аркадьевна шепнула, чтобы я не вмешивался в действия тети - таков обычай старины. Ладно, думаю, валяйте.

## **Свадьба**

Наконец настал знаменательный день свадьбы - 29 октября. Венчание назначили около 2 часов дня в церкви села Николаевка, где Щекины были прихожанами. Я приехал в Сергеевку с моим старшим братом Осипом Марковичем и

тетей Цилей. Вскоре после нас приехала Мария Никаноровна Бурнашева - моя посаженная мать - и с ней молоденькая гувернантка Загоскина, никогда, как оказалось, не выдавшая свадебного обряда. Внучка известного в XIX веке литератора Загоскина, она круглой сиротой поступила в Смольный институт и по окончании института попала в гувернантки к Бурнашевой. Ростом, общей внешностью, манерами походила на Юличку и вполне гармонировала с ней в качестве так называемой подружки.

Как всегда, в это время года в черноземной полосе, после длительных дождей, все проселочные дороги и тропинки представляли собой сплошную грязь. Проехать можно было лишь с невероятными усилиями - вполне могли застрять в поле или сломать экипаж, но, в общем, все обошлось благополучно. Я уехал в церковь со своими родными раньше невесты. Невесту я встретил на паперти и, предложив руку, торжественно ввел в церковь в полной уверенности, что мое счастье в руках этой маленькой Юлички. В окружении молчаливых близких и любопытных я вел к аналою свою будущую подругу жизни, полный благоговения.

В Сергеевке мой слух давно уловил нашептывания Марии Аркадьевны: "Если, Юличка, идя к венцу, раньше ступишь на коврик, то будешь главой семьи. Запомни хорошенько". В этом наставлении чувствовалась порода, кровь поколений, и я его не забыл. Помнила ли Юличка, не знаю, но, подведя ее к аналою, я намеренно задержался на полшага и, пропуская невесту вперед, тихо сказал ей: "Пожалуйста". Кто из нас фактически ступил первым на коврик, не помню, но мой жест как будто заметили. Ведь окружающие, что называется, ели нас глазами. Во все время венчания я себя чувствовал легко, свободно. Юличка мне казалась углубленной, усердно

молилась. Когда расщепленным старостью голосом дьякон Овечкин, как бы боясь, чтобы его не остановили, торопясь, провозгласил: "Да-а-а убо-ится же-е-е-на мужа сво-о-о-его!", я слегка прижал к себе локоть Юлички, шепнув: "Слышите?" - она покраснела и ласково на меня взглянула.

Наконец длительная церемония венчания кончилась; начались поздравления, объятия, поцелуи. Из деревни я ехал с Юличкой в карете. При спуске с горы к дому в Сергеевке я уронил носовой платок, свалившийся в канаву. Я его не поднял. Этому ничтожному случайному эпизоду дали какое-то объяснение, но я его не помню. В Сергеевке молодых встретили дядя и тетя у порога, покрытого шубой, по которой мы прошли (таков обычай), чтобы принять благословение иконой.

Подали шампанское, поздравляли молодых, кричали "ура", "горько". Затем обедали, пили водку, вино, шампанское, вновь бесконечно кричали "ура" и "горько", заставляли молодых целоваться, что заметно конфузило Юличку. В числе бесконечных тостов выделялись тосты дяди Аркадия Ионовича, большого мастера провозглашать экспромты в стихах и прозе. Он же произнес пространную витиеватую речь и тост за молодых - за счастливый, удачный, разумный брачный союз представителя технического транспортного труда с трудовой девушкой, являющейся потомком Рюриковичей. "Такой брак, если Господь благословит, - закончил дядя, - должен дать и даст здоровое, талантливое потомство". Андрей Аркадьевич предложил тост за моих родных. Отвечал мой старший брат Осип Маркович, предложивший тост "за Щекиных и Красноглядых, с которыми наша семья этим браком имела честь и счастье породниться".

Хотя пили много и усердно, но все шло хорошо, гладко. Я очень сожалел, что свадебный обычай не дает мне право ответить на тосты, а когда я это высказал Юличке, она ответила: "И очень хорошо - все равно никто уже ничего не разберет и не услышит. Ведь одного шампанского выпито около трех дюжин".

В это время доложили, что из Сергеевки и ближайших деревень пришли "славить молодых". Все вышли на террасу слушать, как бабы "кричали песни", как говорят в Курске. Поющим подносили по большому фужеру водки. Все опьянели, крики продолжались.

Я еще не отметил, что в числе моих гостей кроме родных были сослуживцы, начальники станций Грацианский, Баранов и Федоров.

Баранов и Федоров перепились, что называется, до бесчувствия, настолько, что когда бабы, славившие молодых, выпили всю водку и кто-то из толпы крикнул: "Можно послать за водкой, у кабатчика Леонова много водки в запасе", сначала я, затем Щекины бросили в толпу деньги, по три или пять рублей, то Баранов бросил бабам свой бумажник, в котором кроме своих было около 100 рублей чужих денег, а Федоров отдал толпе около 200 рублей станционной выручки, то есть казенных денег.

Остается присовокупить, что Федоров в конечном счете опьянел настолько, что в нижнем этаже, где были сложены все верхние вещи, закопался в дамские шубы и ротонды; выпавшись, он уже смог встать на ноги, чтобы уехать. Затем тетя нам рассказывала, что после отъезда молодых и гостей, когда стали прибираться в доме, в раздевалке нижнего этажа нашли глаженую мужскую сорочку. Никак не могли понять, кто и как мог потерять свою сорочку. Оказалось, что

Федоров, лежа в дамских ротондах, от жары снял мундир и разоблачился. А когда его разбудили, он второпях натянул на себя форменный железнодорожный мундир со стоячим воротником, а про глаженую сорочку забыл.

Баранов у Щекиных не спал, а бесконечно ворчал и сердился. Ему пришлось возвращаться на станцию в одном экипаже с моей тетей Цилей, которая затем жаловалась, что Баранов грозил ее высадить из экипажа в поле, среди непролазной грязи. Один Грацианский уехал вполне благополучно.

Пышущая здоровьем краснощекая Юличка сидела за столом во время свадебного обеда бледная-бледная. Оказалось, что (также по обычаю предков) молодые в день венца не должны ничего есть и даже глотка воды не могут выпить. Я, признаться, пренебрег этим обычаем, хотя и был предупрежден, что надо поститься. Утром пил чай, а перед отъездом в Сергеевку слегка позавтракал. Бедная Юличка, как выяснилось, ровно сутки ничего не брала в рот. Естественное волнение в столь знаменательный день, обряд венчания, когда взоры всех находящихся в церкви обращены на невесту, затем отвратительная осенняя грязь, объятия, приветствия и, наконец, шампанское на голодный желудок - все это повлияло на Юличку. А тостам не было конца, и со всеми надо было чокаться и хоть для вида пригубить шампанское, кружившее голову.

Тост за будущее поколение Красногладовых вызвал всеобщее смущение, и в особенности милейшей Маши (Марии Евгеньевны Мизгер), находившейся на нашей свадьбе уже в просторном капоте. Так шумно, шумно проходил наш свадебный обед. Молодой зять Виктор

Александрович Мизгер где-то уснул в уголочке, и его долго искали.

Все же, несмотря на такое гульбище, когда, кроме тети, молодых да нескольких дам, почти не было трезвых, все разъехались вполне благополучно и нас доставили на вокзал своевременно к 10 часам, почти ко времени отхода почтового поезда на Москву (было решено, что после венца мы поедem в Москву). До отхода поезда оставалось несколько минут, и мы зашли в нашу квартиру, хотя все было приготовлено к отъезду заблаговременно. Квартира блестела новизной, все выглядело празднично, парадно - даже посуда в кухне. Хмельные шафера Щекин, Шаумян и еще кто-то было крикнули: "С новосельем, принимайте гостей!" Но я заявил, что через несколько минут мы уедem, поэтому будем ожидать дорогих гостей после возвращения из Москвы, и стал торопить Юличку на вокзал. А она усердно крестила все углы наших комнат.

Поездка наша в Москву было предрешена по нескольким соображениям: во-первых, я хотел показать Юличке Москву, где она еще не была, во-вторых, мечтал показать свою молодую жену моей московской родне - Филипповым, и в особенности старухе Марии Егоровне - моей крестной матери, и, в-третьих, тем, что все, имевшие возможность, совершали свадебные поездки, а у меня уже были для себя и жены бесплатные билеты. Да еще какие!

## **Наши дети и внуки**

Хочу для краткости привести точную хронологическую справку благополучных, нормальных рождений детей после нашей свадьбы.

Леся - 25 августа 1890 года в Курске.

Шура - 23 ноября 1891 года в Золотухине.

Женя - 1 марта 1893 года в Песочной, скончался в Серпухове

10 сентября 1898 года.

Володя - 30 января 1895 года в Золотухине.

Вася - 7 марта 1897 года в Серпухове.

Варя - 4 декабря 1898 года в Серпухове.

Маня - 18 октября 1900 года в Серпухове.

Боря - 17 января 1903 года в Серпухове.

Коля - 20 ноября 1904 года в Серпухове.

Надя - 28 августа 1910 года в Перми.

Короче говоря:

"Жизни годы прошли не даром. Ясен предо мной

Конечный вывод мудрости земной". ("Фауст")

Не могу не отметить наследственную торопливость, доставшуюся от мамочки, у некоторых наших детей. Кстати, о наследственности. Наблюдая наших детей, что называется, с пеленок, нахожу во многих резкие наследственные внешние и душевные черты свои и моих дальних предков, которых они не знали, не видели. Прав поэт:

Что такое день иль век

Пред тем, что бесконечно?

Хоть не вечен человек,

Но то, что вечно - человечно.

Приведу здесь, в дополнение к перечню нашего потомства, - всех потомков нашей третьей смены, родившихся до января 1936 года.

Миша Коровин, сын Лели. Родился 27 июля 1915 года, скончался 9 августа того же года в Свердловске.

Леся Коровина (Лека) родилась 19 сентября 1917 года в Свердловске.

Ниночка, дочь Володи, родилась 3 ноября 1924 года в Перми.

Ирочка Польшалина, дочь Мани, родилась 10 апреля 1926 года в Новосибирске.

Дима Даев, сын Вари, родился 8 декабря 1927 года в Новосибирске.

Шурик, сын Волод , родился 22 июля 1928 года в Щиграх Курской области.

Муся Польшалина, дочь Мани, родилась 27 июля 1930 года в Новосибирске.

Боря Даев, сын Вари, родился 4 мая 1931 года, скончался 27 июня 1932 года в Новосибирске.

Алеша Шимбарецкий, сын нашего Николая, родился 11 августа 1931 года в Горьком.

Валентин, сын Васи, родился 7 января 1932 года в Москве.

Юрик, сын Бори, родился 20 июня 1933 года в Курске.

Танюша Даева, дочь Вари, родилась 27 января 1934 года в Новосибирске.

Юличка, дочь Бори, родилась 14 ноября 1935 года в Асбесте Свердловской области.

Какая огромная рать! И покойная мамочка, основательница этой семьи, пока не свалилась окончательно с ног в январе 1932 года, всем ближним и дальним отдавала свои силы и труд. О себе она думала меньше всего, а жила лишь

для других. Назвать ли это достоинством или недостатком? Не знаю. Но так было. Между прочим, мамочке свойственно было некоторое суеверие: она считала, что високосный год несчастливый. В январе високосного 1932 года она тяжело заболела и скончалась 2 февраля.

### **Начало совместной жизни с женой в Золотухино**

Когда я женился, то по должности первого заместителя начальника станции получал жалованья 40 рублей в месяц. Второй помощник получал 35 рублей, а сам начальник - 60 рублей. Теперь, вероятно, покажется странной возможность существования семьи на 40 рублей в месяц. Но имейте в виду, что тогда мясо стоило 2-3 копейки фунт, сахар - 7-8 копеек, ситец - 8-10 копеек аршин и т.д. в этом роде. А если примете во внимание, что кроме собственно жалованья я имел прекрасную квартиру из двух просторных комнат с отдельной кухней, отоплением и освещением и форменное платье (пальто, шубу, тужурку, фуражку, китель, брюки), то вам, милые дети мои, станет ясно, какую революцию произвела мамочка ваша в моем маленьком хозяйстве. Ведь кроме моего заработка Юличка получала около 200-300 рублей в год процентов от своих наследственных денег и, по старой привычке считая Сергеевские кладовые своей собственностью, беспрестанно привозила оттуда муку, печеный хлеб, сливки, масло, фрукты и даже вино.

Естественно, нам жилось неплохо, имея в виду исключительные способности мамочки распорядиться по хозяйству.

Наступила зима, мы нередко бывали в Сергеевке и в Курске у наших родных. Везде нас радостно встречали. Юличка все больше входила в роль дамы, самостоятельной

хозяйки, а я занялся - сначала робко, затем смелее - сотрудничеством с московскими газетами.

### **Сотрудничество с московскими газетами**

Началось это так. Как-то случайно послал заметку о снежных заносах. Поместили. Это мне польстило. Следующую заметку я дал о грузовых потоках к Балтийским портам. Также напечатали. А так как в то время в печати остро обсуждался вопрос о предполагавшейся тогда постройке линии Курск- Воронеж через Щигры или сооружении взамен этой магистрали подъездных путей к линии Московско-Курской дороги из Фатежа, Щигров и Малоархангельска, то я решил попытаться осветить эту проблему в газете. Взяв у Щекиных протоколы щигровских уездных земских собраний, я на этой основе написал корреспонденцию, на которую обратили внимание и в Управлении дороги. Меня узнали в земских кругах, что моей Юличке льстило, - из моих коллег и сослуживцев никто не выступал в печати. Все шло хорошо, приближалась Масленица, ничто как будто не омрачало нашего счастья.

### **Первая беременность Юлички**

Как-то раз я заметил следы слез на глазах Юлички.

- Отчего, почему, что случилось?

Долго не отвечала, а затем обняла меня, зарыдала, заливаясь слезами:

"Я умру, не выдержу..."

С трудом ее успокоил. Созналась, что она беременна и полагает, что столь малого роста женщины, как она, не могут

рожать. Отсюда вывод - стало быть, умрет. Я сам в этом ничего не смыслил, но истерические рыдания моей дорогой, славной, маленькой Юлички, обычно всегда веселой, жизнерадостной, меня тяжело опечалили. Насколько мог, успокоил свою милую, но и сам здорово струсил. Стали обсуждать этот вопрос насколько возможно спокойно, логично и, конечно, наивно, как могут обсуждать подобные вопросы молодые будущие родители. Как я ни волновался, благоразумие все же взяло верх, и мои доводы, что столь же малая ростом тетя Анастасия Андреевна Щекина благополучно родила пять человек детей, возымели свое действие.

Через несколько дней мы поехали в Курск, где решили Юличку показать известной в то время Шатовой Агафье Ивановне. Шатова нашла положение вполне нормальным, советовала Юличке не поднимать тяжестей, не суетиться и т.п. Успокоилась моя Юличка, и я вместе с ней.

Мой ограниченный кругозор линейного агента расширился, когда я, не обладая теоретической технической подготовкой, засел за книжки и осилил все, что мог достать. В то время как мои коллеги посвящали свои досуги выпивке и кутежам, меня к этим удовольствиям не тянуло благодаря влиянию Юлички. Юличка старалась, чтобы я был сыт, обут, одет, а я не только сам учился, но и учил других: вел беседы со стрелочниками, кондукторами, паровозными бригадами не о выпивке, а о технических достижениях - это моя маленькая Юличка чрезвычайно ценила во мне, и мы жили, что называется, душа в душу, как голубки. Она знала дом, хозяйство, а я работу на службе, книжки, газеты, письменный стол.

А тут прибавилась еще забота: шитье пеленок будущему нашему новорожденному.

Как-то зашел у нас разговор о том, как мы назовем ребенка. Я попытался свести беседу к шутке.

- Если будет мальчик, - предложил я, шутя, - назовем Варсонофием, Акакием, Илией (таких мы знали монахов в Корейском монастыре), а если девочка - Феофилой, Соломонией, Степанидой.

- Ты все шутишь, мой дорогой, - возразила она, - тебе смешно, а ведь это нехорошо, даже грешно. Если ты ничего не имеешь против, мой друг, я бы назвала девочку Еленой, именем моей покойной матери, память коей я свято чту. А если будет мальчик, то ты назови, как хочешь, твое право, но, конечно, не Варсонофием и не Акакием.

- Не возражаю, решаем заблаговременно: если дочь, то Елена, а если сын, то не Варсонофий и не Акакий, а... Евгений.

Она крепко ко мне прижалась, заявила, что чувствует, как ребенок шевелится, ворочается, предложила послушать. Тут я впервые постиг великое, незабываемое чувство отца. Кто знает, что ждет этого ребенка, нашего первенца?

- Каковы родители, таковы и дети. Яблоко падает недалеко от яблони, - сказала она. - Я верю, что так будет.

Так и сбылось: в моей семье нет ни одного подобного Аркаше Маресеву благодаря матери, отдавшей душу свою воспитанию детей. Таких матерей немного. Такие драгоценные и чистые человеческие характеры так же редки, я полагаю, в наших современных семьях, как радий в недрах земли.

Прошла зима, приближалась Пасха. Первая Пасха молодой женщины в своей семье, в своем хозяйстве. Первый свой кулич. Легко сказать! Конечно, Юличка готовилась к этому дебюту основательно, чтобы не только догнать, но и перегнать старых опытных хозяек, близких и знакомых наших. Короче говоря, она затеяла спечь не кулич, а Эйфелеву башню. А так как готовых форм подобных размеров не было, да и высота печки ставила определенные преграды, то решено было сделать форму из промасленной толстой бумаги. Ладно. Сказано - сделано. Маленькая Юличка в первый раз, без помощи тети, перекрестив себя, будущий кулич и печку, приступила к работе. Я ушел спокойно на станцию, так как мне приказано было не показываться до обеда ни в коем случае - дверь, мол, будет на запоре, чтобы "легкий дух" не просквозило. Ход в нашу квартиру был один: через кухню. Часа через полтора прибежала ко мне на вокзал перепуганная соседка.

- Пожалуйста скорей домой, с Юлией Евгеньевной нехорошо.

Бегу, не помня себя. Юличка на постели в истерике кричит: "Умру, ребенка своего не увижу!" Почему, что случилось? Насилу успокоили. Плачет, волнуется. Оказалось, что на большом куличе, на "Эйфелевой башне", загорелась промасленная бумага, кулич осел, обуглился. Только и всего? Аллах с ним, здоровье дороже! Обнял свою маленькую женушку, напомнил о будущем нашем потомстве, которое надо беречь уже теперь, во чреве матери. Эта идеальная маленькая женщина, воспитанная в границах сергеевских обычаев, порядков, конечно, по-своему откликалась на всякое мелкое житейское явление. Если промасленная бумага загорелась в горячей печи, то отсюда вывод: смерть

хозяйки, и никаких гвоздей. Ведь кроме Сергеевки ей ничего не показывали. Не сочли даже нужным как следует обучить грамоте.

Тургенев еще в конце 1850-х годов в "Дворянском гнезде" бросил лозунг словами Михайловича: "Новым чувствам всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал. И я сжег все, чему поклонялся. Поклонился всему, что сжигал". Моя Юличка отдалась мне, а затем нашим детям всей душой, всем сердцем, всем своим существом, но сжечь то, чему поклонялась в Сергеевке она не могла, это было выше ее сил, возможностей. И я этого не требовал. Я был безмерно счастлив, что судьба подарила мне жену, без меры преданную, прекрасную хозяйку, идеальную мать детям. Повторяю: жену, друга во всем объеме значения этих слов, а не содержанку и не сожительницу, коих было, есть и будет так много в нашем житейском обиходе, в котором модная шляпка, шелковые чулки и иная подобная дребедень - выше чувств, выше обязанностей жены, матери. Моя маленькая Юличка целиком и полностью доказала, оправдала в дальнейшем до последнего вздоха свое высокое призвание. Почему? А потому, что она видела, воспринимала острее и глубже многих других свой долг. Меня и теперь охватывает особое чувство, которое я назвал бы священной радостью, при воспоминаниях, как она обычно благоговейно готовилась к каждому рождению ребенка.

### **Вторая беременность Юлички весной 1891 года**

Я не упомянул о второй беременности Юлички весной 1891 года. Теперь, конечно, уже не было такого страха, как в первом случае, но все же определенная предосторожность

являлась обязательной, особенно при свойственной Юличке природной привычке всегда спешить, торопиться без меры. Много у нас было споров по этому поводу за 43 года совместной жизни, но отучить ее от спешки и нервной торопливости мне не удалось. Так же до сих пор спешит, торопится ее старшая сестра Леночка - по всякому нужному и ненужному поводу. Очевидно, это результат особого воспитания тетушки Анастасии Андреевны, также обладавшей этим свойством.

Итак, миновало лето, наступила осень, приближалось время родов. На сей раз решили не ездить в Курск, не затруднять милую Машу. Шура родился 23 ноября.

Не могу сейчас припомнить, почему его не назвали Евгением, как предполагалось до первых родов, когда мы решили: первого мальчика назвать именем отца Юлички. Если не ошибаюсь, когда зашла речь, как назвать мальчугана, глубоко и искренно верующая мать справилась по календарю. Там, в святцах, значилось на 23 ноября: "Благоверный, великий князь Александр Невский, в иночестве Алексей". Решили дать ребенку благословенное имя и праздновать в один день рождение и именины. Юличке это понравилось, а я не имел оснований возразить. Судя по наружности, мальчик глядел полным молодцом: полный, здоровый, горластый. Конечно, у нас была нянька, но молодая мать ей не доверяла детей - сама возилась с ними без усталости дни и ночи. Ее колоссальная работоспособность точно спорила или "сопоставлялась", как теперь говорят, - с преданностью мне и семье.

Когда Шуре было 6 месяцев, Юличка заболела брюшным тифом, и тогда мы впервые ощутили нужду в деньгах. Прибегнуть к займу по векселю я не видел основания, зная,

что у моей жены имеются свои средства, все еще хранившиеся почему-то у тетушки. Мало того, ни Юличка, ни я не знали точный размер этих средств - об этом почему-то считалось неловким даже говорить, чтобы не обидеть тетушку. С таким положением я, взрослый человек, отец двоих детей, не мог примириться и, быть может, резко, но определенно заявил Юличке, что если она сама не потребует отчета о своих средствах, то это обязан буду сделать я. Она просила, умоляла этого не делать, мол, тетушка обидится, и на этом вопросе у нас впервые произошло разногласие и первое неприятное объяснение "о деньгах" с молодой любимой женой. Леночка, ее сестра, назвала это наше объяснение "ссорой".

Будучи щепетилен в том, что касается собственности, я уступил Юличке. Но горький осадок, конечно, остался всерьез и надолго, может быть, даже навсегда. Юличка мне бесконечно разъясняла, что тетушка считает всю молодежь, то есть ее, меня, Машу, Виктора Александровича Мизгера, Леночку, своего сына Сережу и всех прочих молодых людей легкомысленными, вроде своего внука Аркаши Маресева, не знающего счета деньгам, поэтому она (тетя) не решается выпустить сиротские деньги из своих рук. Сначала такие суждения казались наивными, а затем стали злить и вносить разногласие в нашу улыбочную, радостную жизнь. Чтобы не казаться голословным в своих суждениях, приведу выдержку из брошюры Андрея Аркадьевича Щекина "Моя исповедь", изданной в 1907 году:

"Окончив гимназию, я получил неожиданно наследство от дяди моей матери, Андроника Моисеевича Костенецкого, бывшего предводителя дворянства Конопольского уезда Черниговской губернии. Это был человек бесконечно

справедливый, труженик и народник. После 14 декабря 1825 года, выйдя молодым офицером в отставку из гвардейской конной артиллерии, он поселился в деревне и посвятил себя служению ближним. Преклонным стариком он вызвал меня, молодого студента Петербургского университета, к себе, и его влиянию обязан я дальнейшим направлениям всей моей жизни. Оставляя мне свое состояние, он привил мне и свои принципы, во многом схожие с идеями великого графа Толстого. Получение средств дало мне возможность устроить жизнь как хотелось".

Невольно возникал вопрос: почему старик Костенецкий, никогда не выдавший Щекиных, вызвал к себе только Андрея и передал большое состояние свое только лишь одному Андрею, а не всем законным наследникам? По законам того времени наследниками значительного состояния Костенецкого являлись Анастасия Андреевна Щекина или ее дети и дети умершей Елены Андреевны Красногладовой, но не один Андрей. Каким образом "бесконечно справедливый, труженик и народник" Андроник Моисеевич Костенецкий, ушедший в отставку в связи с событиями 14 декабря 1825 года, лишил наследства восемь человек в пользу одного Андрея - мне неизвестно. Об этом никогда не говорили у Щекиных.

Если не ошибаюсь, уже после рождения у нас Коли Юличка получила наконец от тетушки две тысячи рублей. Но почему две тысячи, а не больше или меньше, - этого мы не знали, и считалось почему-то неловким спрашивать. Вспомнишь - злость и грусть охватывает! "Когда Адам пахал и прядла Ева, - где родословное тогда стояло древо?" - надо было бы спросить кое-кого словами поэта. Но я промолчал, дорожа спокойствием моей семьи.

Не могу еще раз не отметить, что не только к Юличке, но и ко мне персонально все Щекины относились всегда дружелюбно, родственно, любовно, делали для меня и моей семьи много хорошего, но взгляды тетушки на денежные средства сирот Красногладовых я никогда не понимал.

Были ли между мной и Юличкой за 43 года нашего супружества какие-либо недоразумения, кроме денежных расчетов с тетушкой? Да, были. И детям, конечно, памятливы случаи, когда я "ругал" мамочку или она меня "ругала", если это можно назвать "руганью". Такие случаи имели место: когда она меня упрекала в скупости, иногда в пьянстве или же я ее в мотовстве, отсутствии забот о черном дне; когда наши взгляды не сходились по какому-либо вопросу, касающемуся воспитания детей. В иных случаях, когда я не понимал полностью ее бесконечной доброты, а видел лишь непосильную, никчемную, на мой взгляд, ее беготню, суету. В конечном счете такие "ссоры" оканчивались шуткой, мирной иронией. Ее доброта, преданность семье были столь велики, что на нее можно было сердиться так же, как, скажем, на солнце, что оно светит слишком ярко.

Некоторым нашим детям трудно давалась учеба в первых классах гимназии. Я настаивал на необходимости тщательно готовить заданные уроки. Мамочка это одобряла, но в то же время советовала усердней молиться Богу, чаще ставить свечки перед Св. Иконой, находившейся в Серпухове, где-то на окраине города. Я противился этому, ссылаясь на поговорку: "На Бога надейся, а сам не плошай", а мамочка мне возражала: "Ты ничего не понимаешь в этом, пожалуйста, не вмешивайся не в свои дела". Да, я не понимал, как можно выпросить у Бога лучшую отметку за пяточковую свечку, слабо приготовив заданный урок.

При блестящих способностях мамочки сводить концы с концами в хозяйстве Юличка в то же время не терпела наличных денег в запасе, а я настаивал, что не надо забывать про черный день: мало ли, мол, что может случиться. Отсюда мелкие разногласия, объяснявшиеся, конечно, только лишь различием нашего воспитания и тех бытовых условий, в которых каждый из нас рос в детстве. От наследственных свойств и привычек нелегко отделаться. Что бы я ни предпринял для своих детей, Юличка, по своей доброте, не ограничивалась нашими ребятами, а собирала друзей, знакомых - получалась толпа.

Помню, из Серпухова она поехала в Москву в театр буквально с целым выводком. При ревизии поезда из Подольска чиновник государственного контроля обнаружил в вагоне первого класса около тридцати безбилетных "наших зайцев".

- Разве вам мало своих ребят? - язвительно спросил меня вскоре после этого начальник дороги, которому контроль, оказывается, не замедлил сообщить об этом эпизоде. Я мог бы получить большую неприятность, но как-то миновало. Мы долго пикировались с мамочкой по этому поводу. Через несколько месяцев я встретил на линии того же контролера. Бледный, взволнованный, он мне заявил:

- Я очень прошу вас меня простить. Знаете, сегодня такой случай, особо исключительный: я женюсь, а венчаться буду в деревне, около Шараповой Охоты. Со мной в вагоне весь свадебный кортеж едет из Москвы, около 30 человек, билетов нет. Еще раз прошу вас, Григорий Маркович, забыть прошлое и не мстить мне в столь исключительный момент.

? Напрасно просите, - ответил я ему, - не припомню, чтобы вы когда-либо сделали мне что-то дурное. Да и мстить не в моих правилах.

Словом, этот контролер благополучно проехал в деревню и обратно со всеми гостями, конечно, без билетов, и долго сам всем рассказывал о моем "рыцарском", как он говорил, поступке. Юличка была в восторге от этого и долго восхищалась моими действиями. Другой случай - когда я устроил детям катание на пароходе по Оке. Мамочка собрала не только всех своих ребят, но и знакомых, соседей и еще кого-то. Заполнили бесплатными пассажирами почти все каюты. При желании дети, вероятно, вспомнят еще немало подобных курьезов. Например, мое волнение, когда мамочка на нашу огромную семью забирала в обществе потребителей Пермской железной дороги на 80-90 рублей в месяц продуктов, обуви, белья и т.п. Я тогда возмущался: "Куда деваешь столько, на что все это?" Теперь кажется наивным, что семья в 12 человек расходовала на все меньше 100 рублей в месяц.

## **Юличка**

До 7-8-летнего возраста она прожила с отцом безвыездно на родном хуторе в Полтавской губернии. Города не видала. Остальные годы до замужества провела в Сергеевке у тети, занятая по уши хозяйством, и лишь один раз, случайно была в театре: смотрела в Курске оперетку "Зеленый остров". Казалось, выйдя замуж за любимого, давшего ей возможность не только часто ездить по бесплатным билетам в Курск, но и в Москву, молодая женщина должна была наброситься с жадностью на наряды, театры, удовольствия.

Ничуть не бывало. Все заботы, стремления были прежде всего обо мне, затем о детях, но не о себе. Она долго не могла привыкнуть к тому, чтобы называть меня на "ты", и нередко сбивалась с такта, как говорят музыканты. Почему? "Не знаю, - бывало, отвечает мне незабвенная, - язык не поворачивается". А затем: Гриша много работает, мало отдыхает; Гришу надо подкормить; Грише надо привести в порядок белье, платье и т.д. и т.п. до бесконечности. Я начал службу на самой пьяной железной дороге - Московско-Курской, работал там непрерывно более 27 лет, однако пьяницей никогда не был: миновала меня чаша сия. Пьяным помню себя лишь один раз. В начале своей работы на транспорте, молодой еще, неопытный, попал я как-то в Курске в компанию матерых железнодорожников, устроивших в трактире попойку по случаю получения жалованья. Начали с того, что пили водку и пивом закусывали, то есть каждую рюмку водки запивали стаканом пива, считавшимся закуской. Факт. Конечно, я быстро обалдел и еле-еле добрал до квартиры, вспоминая фразу Расплюева из "Свадьбы Кречинского": "После попойки в Курске - не жить". Да, не жить. Меня тошнило, душу выматывало. Что было дальше - не помню, но в конечном счете все же уснул на своей постели. Утром оказалось, что спал в одном сапоге. Повторяю, это было очень давно, за несколько лет до моей женитьбы, и об этом я, как-то случайно вспомнив, рассказал Юличке. Конечно, шутя, она часто вспоминала этот эпизод, присовокупляя: "Все знают, как папа, пьяный, спал в одном сапоге после кутежа в трактире".

Юличка, как я уже упоминал, все делала спешно, точно на пожаре. Она вела большую переписку со своими родными, с детьми. И каждое письмо писалось нервно,

спешно, за несколько минут до отправки письма или отхода поезда. На моем чернильном приборе были две чернильницы: одна с чернилами, другая - пустая. Кто-то зачем-то налил в пустую чернильницу воды. Как-то Юличка, по обыкновению спешно, торопясь, писала кому-то письмо; мне пришла в голову мысль пошутить: ловко, незаметно убрать чернила и поставить на это место вторую чернильницу с водой. Макнув два- три раза перо в воду, она обнаружила мой фокус и стала меня бранить, а я нашел повод для упрека: "Мамочка так всегда торопится, что пишет письма даже водой, керосином, нефтью - чем угодно, лишь бы скоро". Эта шутка ей не нравилась, надоела, и она вспоминала, как я, пьяный, спал в одном сапоге. Можно ли такие эпизоды называть ссорой? Нет, нет и еще раз нет.

Пройдя длинный жизненный путь, на склоне лет, мне не стыдно сказать, что со времени своей женитьбы я не знал других женщин. Был один случай в Серпухове, когда я был на грани измены жене. Юличка своим женским чутьем обнаружила, своевременно предупредила мое падение и затем никогда не вспоминала об этом. Так до последних дней была ключом ее яркая жизнь, изумлявшая окружающих и всех, кто близко подходил к этому замечательному человеку. Она верила в жизнь, обязанность служения семье и всех нас увлекала своим примером. Поныне звучат еще в моих ушах ее правдивые слова: "Меня не будет, вспомнишь, Гриша, обо мне, но будет поздно". Да, она отдала мне и детям все лучшее, что было в ней самой и ее прекрасной многогранной жизни.

## **Начальник полустанции Песочная. Профессиональный рост**

### **На полустанции Песочная**

В девяти километрах к северу от города Орел находилась полустанция Песочная. Полустанциями назывались тогда остановочные пункты, не имевшие коммерческих операций. В Песочной, вернее, вблизи полустанции, был большой балластный карьер, снабжавший красивым красным песком всю Московско-Курскую дорогу. Видимо, отсюда и название - Песочная. При отсутствии коммерческих операций Песочная имела сравнительно серьезную техническую работу по ежедневной отправке семи-восьми балластных поездов, приему стольких же порожних составов для погрузки, а также пропуске своевременно, без задержки, и на трех станционных путях сквозных пассажирских и товарных поездов. Когда там случайно освободилась должность начальника станции, кто-то указал на меня как на хорошего техника. Мне предложили это место, я принял предложение и быстро переселился туда с семьей. Там я впервые дебютировал в качестве самостоятельного руководителя технической работой - и как будто небезуспешно. На меня обратили внимание, мои планы работ одобрил начальник пути, являвшийся хозяином балластных составов и песочного карьера. За пять месяцев моей работы в Песочной там не было не только аварий, считавшихся обычными в балластном карьере, но не было и ни одной задержки каких-либо поездов. Быть может, это результат случайного стечения обстоятельств, не знаю, но на это Управление дороги обратило внимание. Там зорко следили за

своевременным следованием не только пассажирских, но и товарных поездов - задержка пассажирского поезда на 10 минут считалась "происшествием" и подвергалась обсуждению. Как бы там ни было, мой первый практический опыт приложения метода "американца" Данишевского имел большой успех.

Не менее успешно дебютировала в роли "начальницы" моя маленькая Юличка. В то время фактического единоначалия на всех ступенях административной лестницы жены "самодержцев" нередко влияли если не на ход работы, то на взаимоотношения начальника с подчиненными. Если сами начальники нередко не в меру выпивали, то их жены "делали политику" через посредство жен младших служащих, а также живущих в пристанционных поселках. "Начальницу" задабривали подношениями, чтобы она в нужных случаях повлияла на своего супруга.

Моя Юличка оказалась прекрасной "начальницей" - не в пример прочим, она была внимательна, приветлива со всеми, но раз навсегда заявила, что в мою службу не вмешивалась и вмешиваться не будет. Если на многих станциях процветала выпивка, нередко взяточничество, игра в карты не по средствам с купцами, кумовство с кабатчиками, то я от этих прелестей избавился с первого дня своего приезда в Песочную. Юличка меня поддержала в этом целиком и полностью, и мы с ней хоть и разными путями, но шли к единой цели - разумному порядку на станции.

Отмахиваясь от наущничанья, сплетен, заискиваний, она ласково приблизила к себе двух телеграфисток, перезрелых сестер Петуховых, коих многие игнорировали, оскорбляли. С женами младших станционных служащих Юличка была неизменно корректна, внимательна, любезна, но

отказывалась от компанейских отношений и выслушивания нашептываний. В Песочную нередко приезжали из Москвы комиссии инженеров для подсчета земляных работ. Бывал и начальник пути, инженер Якубовский, назначенный вскоре начальником Сызрано-Вяземской дороги - необычайно талантливый и работоспособный. Редкое явление среди инженеров путей сообщения того времени, в большинстве случаев никчемных для серьезной работы, белоподкладочников. Не всегда приезжающие инженеры имели возможность съездить в Орел пообедать, покупали, что возможно, в Песочной, и всякий считал возможным драть с приезжих втридорога. Так поступал и мой предшественник.

Как-то раз председатель комиссии обратился ко мне с просьбой продать им что-либо съедобное, например, гуся. Комиссия, мол, умрет голодной смертью. Я ответил, что торговлей не занимаюсь, но справлюсь дома у себя, и если хватит продуктов, то попрошу ко мне запросто, к обеду.

На мою записку об этом Юличка ответила, что всего вдоволь и ждет трех инженеров к обеду через два часа "откушать чем Бог послал".

- А сколько это будет стоить? - спросил один из них.

- Повторяю, я не торгую, - ответил я. - Если угодно быть моими гостями, - пожалуйста, а если не угодно - обратитесь туда, где продают всякое съедобное.

Очевидно, заносчивые инженеры не ожидали таких речей от начальника маленькой станции, на которого они обычно глядели свысока.

Со свойственным Юличке гостеприимством она всех накормила на славу и очаровала московскую компанию - они привыкли видеть совсем иных жен начальников маленьких

станций. Как бы там ни было, а жареного гуся с яблоками и воздушный пирог со сливками мои невольные гости впоследствии не раз вспоминали при встречах со мной.

Вскоре после этого меня назначили начальником станции Золотухино. Было ли это назначение случайным совпадением или же именно этот жареный гусь двинул меня вперед по службе - не знаю.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник рассказывает в своих воспоминаниях, что она родилась от яблока, так как ее будущие родители познакомились и затем сблизилась при посредстве яблока. Если так, то я вправе допустить, что моя служебная карьера началась в Песочной от того жареного гуся с яблоками и воздушного пирога со сливками, которыми Юличка так усердно угощала наших случайных гостей. Кто знает? Возможно. Всяко бывает в жизни. Тем более тогда, когда без протекции, связей чрезвычайно трудно было продвинуться по службе.

### **Рождение Евгения, 1893 г**

Юличка была беременна третьим ребенком. Почему-то так случилось, что никто из нас своевременно не подумал о вскоре предстоявших родах, наступивших в Песочной, где кругом лишь деревенские избы, но ни врача, ни акушерки не было. Я так растерялся, что обратился за помощью к своим телеграфисткам, сестрам Петуховым, престарелым девицам. Они нашли в ближайшей деревне бабу-повитуху, явившуюся в момент рождения ребенка, и ей оставалось лишь перевязать пуповину. Так родился 1 марта 1893 года наш сын Евгений, названный этим именем в память отца Юлички. До

сих пор у меня сохранился сорванный тогда листок отрывного календаря.

Крестили Женю тоже не менее экзотично. Реки уже вскрылись, все затопило, залило. Священнику, как он нам рассказывал, пришлось переправляться вплавь на лодке через Оку и затопленные места, затем шлепать пешком по грязи. Где-то в пути батя нализался "до положения риз" и, пьяный, чуть не утопил Женю, когда опускал его в купель.

Женечке бабушка Мария Егоровна предсказывала тогда счастливую долгую жизнь. Злая судьба его распорядилась иначе.

Уделял ли я вообще достаточное внимание воспитанию детей? На этот вопрос обязан с грустью ответить: нет. Я слишком был занят службой, с головой ушел в работу, а, кроме того, считал влияние доброй, любящей матери полезнее моего.

Я не оправдываюсь; я хотел бы с фотографической точностью отразить былое, чтобы дети запомнили, что все хорошие качества воспитала и привила им с детства мать.

Переселились вновь в Золотухино, но уже не в казарму, а на станционную вышку с балконом, выходящим на перрон, то есть в квартиру начальника станции. Я, конечно, всячески старался, как говорили тогда, не за страх, а за совесть оправдать оказанное мне доверие. Ведь в Песочной я пробыл всего лишь около пяти месяцев. Случай по тому времени почти небывалый, что заметно льстило Щекиным еще и потому, что я попал в Золотухино - к ним под бочок. Милейший балагур, добряк Сергей Щекин прозвал Юличку "начальницей", и иного имени ей не было, пока мы там жили.

Ревизором движения Курского участка был тогда С.Ф. Сциславский, с которым я раньше работал в Курске в качестве его помощника - агента по передаче грузов. Сциславский, молодой, талантливый, работоспособный, был женат на старухе, вроде Кашаевой, двое старших детей которой были значительно старше молодого супруга. Была и младшая дочь, Александра Матвеевна Кашаева, когда-то мне нравившаяся. Мать это заметила, и ей, видимо, хотелось тогда иметь меня своим зятем. Очевидно, сам Сциславский не смешивал личную жизнь со службой, поэтому не придавал моей женитьбе того значения, которое заметно обнаружилось у его супруги. Как мне казалось, он старался обратить на меня внимание администрации дороги, давая ответственные поручения. Я это ценил и лез из кожи вон. Но мои теоретические познания были слишком мизерны, а школ тогда еще не было.

Сциславский, бывший офицер пехотного полка в глухой провинции, также не обладавший нужными техническими познаниями, как-то посоветовал мне читать все, появляющееся в технической литературе. Я последовал этому совету и буквально пожирал технические книги по транспорту, проверяя кое-что и на своей практической работе. Сначала книги являлись для меня откровением, а затем стали обычной потребностью. Меня кто-то даже прозвал "ходячей энциклопедией".

Сциславский нередко бывал у меня в семье, и это он прозвал Шуру "попом" - вот по какому поводу. Богомольная Юличка брала с собой ко всенощной Лелю и Шуру. Леля стояла важно, тихо и смиренно, подражая во всем маме. Шура, маленький, толстенький, шнырял глазами, впитывая в себя все кругом происходящее.

Со Сциславским, с которым наши добрые отношения продолжались, мне пришлось разойтись во взглядах на одном из больших совещаний. На транспорте тогда превалировали два течения: техническое и коммерческое. Последователи первого течения (к которым принадлежал и я) считали ответственной властью на транспорте технических распорядителей: в депо, на станции, в околотке, участке и т.д., то есть лиц, обеспечивающих своевременное и безопасное движение. Последователи второго течения, к которым принадлежал Сциславский, коих было большинство, ставили во главу угла прежде всего, по примеру американских дорог, денежные доходы и находили необходимым подчинить всю дорогу коммерческим руководителям. Выступая по этому вопросу, отстаивая свою точку зрения, я будто бы сказал приблизительно следующее: "Что ж, посадите начальнику станции на шею коммерсанта со сборником тарифов подмышкой, дайте ему в руки вожжи вагонов и паровозов, посмотрим, как он будет им подхлестывать технику и что из этого выйдет". Один из членов совещания после моего выступления тут же набросал пером шарж, изобразив Сциславского сидящим у меня на спине. Правда, портретного сходства никакого, но мысль мою художник подхватил быстро и удачно. Рисунок был передан тут же за столом Сциславскому, а он передал его мне. В свое время мы долго смеялись по поводу этого шаржа.

Добрые отношения наши со Сциславским, конечно, не нарушились. Много лет спустя, когда я был старшим ревизором Нижегородской дороги и работал во Владимире, а Сциславский был начальником движения Николаевской (ныне Октябрьской) дороги, я причинил ему невольно большую неприятность, рекомендовав ему знаменитого

своими подвигами Аркашу Маресева. Этот Аркаша, работая на какой-то маленькой станции, подчистил заграничный документ на прибывшую из Германии молотилку и украл около 5 тысяч рублей. Германские дороги обнаружили подлог и предъявили претензии через министерство иностранных дел. Возник дипломатический конфликт. Убедившись в несомненности подлога, Управление Николаевской дороги немедленно уплатило эти долги, а знаменитый Аркаша бежал. У Сциславского же были из-за этого большие проблемы. Мне это было очень тяжело. Юличка, по просьбе которой я дал Аркаше рекомендательное письмо, страдала не меньше меня. Сциславский, пользовавшийся большой популярностью как талантливый, работоспособный железнодорожник, был все же снят с должности начальника движения Николаевской дороги, но вслед за этим его назначили председателем Московского района по регулированию перевозок. Точнее говоря, распорядителем грузовых потоков и перевозок всех дорог, примыкающих к Москве. Таким образом, тяжелая неприятность, причиненная ему, а также и мне знаменитым своими подвигами Аркашей, была ликвидирована не только вполне благополучно, но со значительным повышением его служебного положения. Юличка была в восторге, уверяя, что "Бог правду видит".

Очень хорошо, но почему Бог не видел ни тогда, ни в дальнейшем гадостей, которые творил Аркаша.

Сциславский, поселившись в Москве, что называется, ожил после предательского удара Аркаши, развернулся во всю, вращаясь не только в административных сферах, но и в "обществе" Первопрестольной, где именитое богатое купечество тянулось за столбовым дворянством.

Являясь центром промышленности, Москва отправляла свои грузы, изделия во все концы, во все медвежьи углы, а склады все же оставались переполненными. Степан Феодосиевич Сциславский стал открывать "новые Америки", как тогда злословили его противники: он ввел смешанное железнодорожно-водное сообщение, длительное хранение грузов на складах и пристанях и еще многое другое необычайно полезное, удобное. Но так как он не имел диплома, то наши инженеры отпускали злобные реплики в его адрес. Я же радовался его успехам еще и потому, что это дало возможность забыть о моей протекции Аркаше.

Я успешно работал, был всем доволен, Юличка была весела, здорова, счастлива, цвела как маков цвет. Я прекрасно сознавал, чувствовал общее поветрие того времени: Иванов, Петров, Карпов, Сидоров и прочие, фамилии коих оканчиваются на "ов" или "ин", могут не работать, а Вайнштейн обязан занимать первое положение среди ему равных, своим трудом, знаниями и честным отношением к работе и окружающим.

### **Юличка целиком отдавала себя заботе обо мне и детях**

Юличка целиком отдавала себя заботе обо мне и детях.

Почему? Я нередко задумывался над этим вопросом.

"Я дала пред алтарем обет быть верной женой твоей", - как-то сказала она мне по этому поводу. Считаю подобное объяснение вполне искренним, но не полным, не исчерпывающим. Да, Юличка глубоко, искренно верила в Бога, но такая привязанность, такая преданность до самозабвения и тогда, через пять лет после нашей свадьбы, и

в такой же степени, в дальнейшем всю жизнь, до последнего ее вздоха, не могла основываться лишь на обете, данном в церкви при венчании. Я думаю, причину надо искать глубже.

В возрасте 9 месяцев Юличка осталась на руках у няньки, которой умиравшая от туберкулеза молодая мать завещала беречь "малу несчастну дытыну". Эта няня привила Юличке прекрасные душевные качества и, кроме того, избавила от наследственного туберкулеза. Правда, в доме всего было вдоволь: молока, сливок, масла и всего прочего, а в саду - избыток всяких фруктов, ягод. Воздух благодатный, степной. Отец Юлички, Евгений Иванович Красногладов, бывший кавалерийский офицер, блестящий танцор, покоритель дамских сердец, женившись на Елене Андреевне Криштафович, вышел в отставку после Крымской кампании, занялся хозяйством, поселившись в Полтавской усадьбе жены. Одно время был причислен к корпусу лесничих, но вскоре и эту службу оставил, стал получать пенсию. В марте 1870 года скончалась Елена Андреевна Красногладова, оставив его с пятью детьми, из коих младшей была Юличка.

Леночка (Елена Евгеньевна) мне говорила, что Евгений Иванович, овдовев, опустил, пил, никуда из усадьбы почти не выезжал - настолько, что прекратил всякую связь с близкими. Так, например, его старший брат занимал в Тифлисе должность старшего врача Кавказского военного округа - старый холостяк, одинокий, обладавший солидным состоянием, домовладелец, он много раз просил Евгения Ивановича приехать или прислать кого-либо из детей для передачи большого состояния. Евгений Иванович как будто не удосужился откликнуться на приглашение брата, после смерти которого все состояние досталось по завещанию посторонним. Юличка рассказывала о "хозяйке" в доме отца,

очевидно, не препятствовавшей пьянству Евгения Ивановича, а наоборот. Поездки три раза в год (раз в четыре месяца) за 25 верст в ближайшее уездное казначейство для получения пенсии являлись чрезвычайными событиями. За две недели до поездки выкатывали из сарая карету, мыли, скребли, чистили, кропили святой водой. Теперь как будто ясно, почему тетя, Анастасия Андреевна, увезла из Полтавской усадьбы Леночку, Володю и Машу.

Скончался Евгений Иванович в конце августа 1882 года, а в начале 1883 года, когда Юличке было 14 лет, тетя увезла ее из Полтавской усадьбы в Сергеевку.

Нужно ли удивляться, что когда маленькая Юличка обзавелась своим гнездом, своей семьей, то она этому гнезду, своей родной семье отдала себя целиком без остатка.

Забыл отметить, что в семье Красногладовых не было ни одного портрета, ни одного фотографического снимка ни отца, ни матери Юлички. Жаль, очень жаль! А хотелось бы поглядеть на черты Елены Андреевны и Евгения Ивановича. По словам Елены Евгеньевны, ее родители никогда не снимались - "живя безвыездно в глуши, никогда об этом не помышляли". Случайно сохранилась лишь визитная карточка Евгения Ивановича Красногладова. Все же странно - ведь бывали они в своем уездном центре. Значит, глушь тут ни при чем, просто потребности не было в пользовании фотографией. Мои родители также жили в глухом уездном городишке Староконстантинове Волынской губернии, где я родился. Однако у меня до сего времени хранится прекрасная фотография отца, сделанная в 1867 году.

В то время, когда, казалось, наше счастье ничем невозможно было омрачить, на нас свалилось несколько бедствий.

У Юлички, беременной четвертым ребенком, неожиданно случился выкидыш. Она ехала из Золотухина в Сергеевку в обычном рессорном экипаже Щекиных. Кучер Петр, прекрасно знавший свои обязанности, почему-то растерялся на повороте, когда лошади неожиданно понесли, испугавшись тревожных паровозных свистков. Через несколько минут Юличка и Петр лежали у плетня в обломках разбитого экипажа. Дня два от меня это скрывали, а затем доктор Сербии привез Юличку ко мне на станцию.

Милые дети, можете ли представить мое состояние, когда ко мне привезли разбитую, искалеченную мамочку вашу.. Но беда не приходит одна. Не успело пройти время после катастрофы и последовавшего выкидыша, как у нашего сына Жени образовался ниже правого виска какой-то злокачественный нарыв. Сначала не придали этому должного значения, клали припарки, компрессы. Молодой, видимо, малоопытный железнодорожный врач заявил о необходимости вскрыть нарыв ножом. Я сам поехал с ребенком в Курск, взяв с собой нашу няню.

Не знаю почему, но я всегда страшился хирургического вмешательства, считая врачей не в меру увлекающимися в этой области. Скажут: малодушие, трусость, невежество. Возможно, и то, и другое, и третье даже, но трусость, подкрепленная как будто здоровой логикой, заставляет нередко крепко задуматься...

Я по просьбе мамочки согласился на операцию и сам держал ребенка, когда врач зверски полосовал моего сына.

Если вспомните прекрасные страницы "Записок врача" Вересаева, то поймете мое состояние во время этой злосчастной операции. Мне казалось тогда, что я сам, своими руками убиваю своего ребенка, дав согласие на эту

операцию. Во всяком случае я и поныне полагаю, что испуг, крик и отчаяние несчастного Жени были тогда столь невероятны, что, несомненно, отразились на его сердечной деятельности, и это ускорило его преждевременную кончину якобы от дифтерита, хотя никаких видимых признаков его не наблюдалось.

Недавно в печати был опубликован такой случай. В охоте на лисиц в одном из северных районов Украины принимали участие члены Академии наук. Гончие гнали лисицу, в которую пришлось выстрелить почти в упор, и она тут же свалилась. Каково же было удивление охотников, когда убитая лисица оказалась наружно совершенно целой, невредимой. Что называется - ни царапинки. Значит, стрелявший "промазал", как говорят охотники. Тогда труп лисицы вскрыли по всем правилам науки. Оказалось, что она пала от разрыва сердца.

Не успели мы оправиться после катастрофы с мамочкой и злосчастной операции Женички, как меня - по образному тогдашнему выражению - "потянули к Иисусу".

### **Дело о неблагодежности, 1894 г**

Осенью 1894 года скончался в Крыму Александр III. По распоряжению министерства путей сообщения на всех станциях была отслужена панихида по скончавшемуся государю. Это распоряжение являлось обычным и ничего особенного собой не представляло.

Во время поступления этого телеграфного распоряжения на станции оказался местный приходской священник, отец Николай, которому я лично объявил о телеграмме. Священник, собиравшийся ехать в Курск, мне ответил, что

такие же распоряжения получены в других ведомствах. По возвращении из Курска он выполнит все указания и заедет для сего также на станцию. В итоге священник забыл или не пожелал приехать на станцию в ближайшие дни, а затем стал как будто даже скрываться от нас. Словом, панихида не была отслужена. Возникло "дело". Оказалось, что в Петербург об этом поступили от золотухинских купцов две жалобы: в министерство путей сообщения - о неисполнении мною его распоряжения и в министерство внутренних дел - о моей неблагонадежности.

Пошли допросы, расследования, исследования: кто, как, почему? Искали, конечно, крамолу. В то время черносотенного настроения властей и, по меткому определению Чехова, всеобщего уныния "хмурых людей" меня нетрудно было не только в два счета прогнать со службы, но и отправить в Нарым. Ведь таких эпизодов было тогда немало. Когда выяснилось, что обвинение исходит от "своих" купцов, я спокойно объяснил, что своевременно сделал все, от меня зависящее, то есть предупредил местного священника. Мне предложили подтвердить это документально.

Я написал священнику официальное письмо с просьбой ответить на ряд вопросов, напомнив о. Николаю, что его сан обязывает не уклоняться от истины, быть исчерпывающе правдивым и ответить кратко, ясно. Я требовал ответа на каждый вопрос отдельно прямо на моем письме для приложения к расследованию. Деваться было некуда: священник дал ответ исчерпывающе правдиво. Этим дело как будто закончилось, мне даже разрешили привлечь авторов доноса к ответственности за клевету. Но меня интересовала жалоба по своему существу: каким образом таковая могла возникнуть?

Правда, я не дружил с купцами, но был со всеми корректен, вежлив, предупредителен насколько это требовало мое служебное положение. Все они меня знали с тех пор, когда я впервые появился в Золотухине в должности помощника начальника станции. Никогда у меня с купцами, да и вообще с публикой, не было никаких недоразумений. Откуда же такая злоба, ненависть, даже политический донос? Это оказалось делом рук станционного жандарма Мандрусова, прятавшегося за спины купцов. Чтобы выявить подоплеку, я подал в суд жалобу, обвиняя купцов в клевете. Я наивно полагал, что купцы на судебном разбирательстве раскроют карты и пригвоздят жандарма к позорному столбу.

Не тут-то было. Купцы не только не выдали жандарма, но сами подали на меня в суд, обвиняя в том, что я лишил их возможности помолиться об умершем государе. В доказательство представили письмо о. Николая, которым тот, ничтоже сумняшеся, свидетельствовал, что я его не приглашал отслужить панихиду на станции и он о таком распоряжении администрации дороги, мол, не знал. Тогда я заявил суду, что в служебном расследовании имеется иное письмо о. Николая, написанное им значительно раньше, поэтому я прошу допросить о. Николая для установления того, первое или второе его письмо надлежит считать правдивым.

Земский начальник Сергей Щекин вынес такое решение: "За недоказанностью взаимных обвинений сторон дело прекратить". Соломоново решение, не правда ли? "Дело", тянувшееся более года, мне надоело, и я махнул рукой. Купцы (вернее, жандарм) не успокоились: вновь была отправлена жалоба в Петербург в министерство внутренних дел о том, что "дело" разбирает мой родственник, сведший

его на нет по родственным соображениям. Министерство внутренних дел сообщило об этом курскому губернатору и министерству путей сообщения. Вновь возникло расследование, которое закончилось быстрее первого, так как все эти кляузы, видимо, всем порядком надоели. Купцам сообщили, что жалоба их на начальника станции Золотухино признана неосновательной и оставлена без последствий. Решение окончательное, дальнейшему обжалованию не подлежит.

В глазах администрации дороги "дело" это окружило меня ореолом мученичества. Мученичества, конечно, не было, а волнений, неприятностей - немало.

### **Рождение сына Владимира, 1895 г.**

Предстоявшие в январе 1895 года роды очень нас пугали возможными осложнениями после выкидыша. Так и случилось. Роды длились около 40 часов. Вызванный из Курска известный в то время доктор Плетнер потерял было всякую надежду на благополучный нормальный исход родов. Конечно, в квартире роженица не могла быть обеспечена теми удобствами, какими располагают нынешние родильные дома. Но все доступное имелось наготове.

Я сидел понурый в гостиной, мрачно прислушиваясь к слабевшим стонам моей маленькой Юлички. Шел второй день с момента начала родов. Кто-то постучал, и на пороге неожиданно появился милейший Володя, брат Юлички. В этот момент из спальни раздался душераздирающий крик, и все тотчас же смолкло. Володя бросился ко мне.

- Где Юличка, что случилось?

- Случилось чудо, - ответил за меня выходявший из спальни доктор Плетнер, - роды окончились вполне благополучно. Трудно, почти невозможно было ожидать такого исхода.

Я обнял Плетнера, затем стоявшего у дверей в недоумении Володю, неожиданно, нежданно, негаданно приехавшего из Петербурга.

В честь того, что появление в нашей квартире брата Володи совпало с моментом благополучного окончания необычайно длительных, мучительных родов, я предложил назвать новорожденного сына Владимиром. Юличка радостно приняла это предложение.

### **Летом 1895 г я заболел**

Летом я заболел. Около прямой кишки образовался нарыв, превратившийся в фистулу. По своей природе всегда мнительный или неженка, как правильно определила Юличка, я принципиально избегал врачей. А когда врачи предложили оперировать фистулу, я категорически отказался и уехал в Харьков. Разумеется, у меня еще свежа была в памяти операция в курском приемном покое, где так безжалостно полосовали моего ребенка.

В Харькове, университетском городе, меня показывали сведущим врачам, пришедшим также к заключению о необходимости подвергнуться операции. Мой страх был столь велик, что в последнюю минуту я не пошел в лечебницу, а отправился к известному тогда профессору Зарубину. Он также признал необходимость операции, но заявил, что не видит необходимости оперировать сейчас, немедленно. Можно, мол, подождать, а там видно будет. Я

ухватился за эту мысль и удрал из Харькова. Будучи всегда сторонником водолечения во всех видах (система Кнейпа), я стал применять водолечение и в этом случае. Результат получился блестящий: рана зарубцевалась, фистула зажила. Моя Юличка радовалась этому удачному исходу лечения по способу Кнейпа не менее, если не более, меня. После смерти Юлички я нашел в ее бумагах одно из моих писем из Харькова от 13 августа 1895 года, которое она сохранила.

13 августа 1895 года.

Дорогой друг мой!

Я вновь был у некоторых специалистов и, между прочим, у профессора Зарубина; все утверждают, что у меня фистула, хотя явного сообщения раны с прямой кишкой никто не нашел. Я окончательно решил лечиться у Зарубина, но не знаю, когда назначить операцию, так как профессор говорит, что можно ее сделать без вреда и после. Операция и лечение займут от 2 до 3 недель времени и в частной лечебнице Давидовича, где ежедневно бывает Зарубин. Я выторговал комнату на всем готовом за 3 рубля в сутки, но профессору за операцию нужно будет заплатить особо - по условию; полагаю, что он возьмет с меня за эту операцию не более 25 рублей, а может быть, и меньше и для условий пошлю к нему Акима. Так как у меня вновь появилась опухоль и операцию делать сейчас нельзя, то я, может быть, решу приехать домой на некоторое время, впрочем, тогда напишу об этом. Пока, в общем, чувствую себя очень хорошо и благодаря Шиперовичам и другим провожу время весело. Вчера мы были в саду до часу. Как ты поживаешь и мои дорогие детки? Кто будет капризничать, тому гостинцев не привезу, так и скажи им. Купил тебе хороший недорогой платок и грешок, как ты поручила. Сегодня меня пригласили к

Гольдбергам на дачу, но я туда не попаду. Попроси тетю выслать в Харьков большой скоростью пуд хорошего масла на предъявителя квитанции, а квитанцию выслать в письме по следующему адресу: Харьков, Екатеринославская ул., Южная торговля аптекарскими товарами, Льву Владимировичу Шиперовичу.

Крепко целую тебя и дорогих деток. Всем кланяйся.

Твой всегда Григорий.

Рельсы, вагоны, гудки паровозов, огни семафоров стали моей мечтой, идиллией во сне и наяву настолько, что я стал мечтать о работе в более широком масштабе.

Стремясь вперед, вперед, я работал не покладая рук в самом широком смысле этого слова, всячески пополняя свои весьма скудные технические познания. И я дошел до заметных в то время достижений, значительно обогнав своих ровесников и сослуживцев. Я твердо знал, что во многом ошибаюсь, много своевременно не предвижу, но продолжал трудиться, уверенный, что меня оценят. Так и случилось в дальнейшем.

Но предварительно необходимо рассказать, каким чудом судьба сохранила жизнь моей Юлички, попавшей в знаменитую Ходынскую катастрофу в мае 1896 года. Судя по газетным сведениям того времени, на Ходынке погибло несколько тысяч человек на так называемых "народных гуляньях". Во время коронации Николая железнодорожникам не давали отпусков - надо было следить за движением поездов с представителями различных сословий и иностранных миссий, которые ехали на коронацию, а также за перевозкой экспонатов на Всероссийскую Нижегородскую выставку. Моей Юличке очень хотелось посмотреть на московскую церемонию во время коронации. Вместе с

сестрой Машей и пятилетней Лелечкой она быстро собралась в Москву. Жили они в центре города у бабушки Марии Егоровны, которая радостно возилась с внучкой. Таким образом, Юличка и Маша целыми днями крутились по Москве и все видели, что доступно было широкой публике. Я получал от Юлички почти ежедневно восторженные письма. В одном она, между прочим, сообщила, что бабушка ходит с пятилетней Лелечкой по Лубянской площади, показывает ребенку иллюминацию, поучая ее: "Гляди, Лелечка, и все запомни. Вырастешь большая, вспомнишь, как ты с бабушкой гуляла. Да и меня, быть может, добрым словом вспомнишь".

Затем письма из Москвы как-то внезапно оборвались, что меня чрезвычайно встревожило - до нас докатились слухи о катастрофе на Ходынском поле. Число жертв, по слухам, исчислялось многими тысячами. Случилось это, как тогда передавали, так: на народное гулянье, где обещано было раздать каждому явившемуся узелок с пряниками, орехами, колбасой и сладостями, а также по металлической кружке в память о коронации, еще с ночи стали стекаться с окрестных деревень сотни тысяч людей на Ходынское поле. Тесня друг друга, чтобы стать ближе к ларькам, толпа попала в ловушку, так как при подготовке забыли сравнять какие-то ямы. Первые ряды упали, вернее, их свалили в эти канавы те, кто был сзади и не знал, что происходит. Получилась свалка, и в результате - неимоверное количество убитых, раненых, изувеченных. Я предполагал, что моя Юличка, любопытная провинциалка, несомненно, была на Ходынке. Естественно, я не мог не тревожиться, когда именно с этого времени прекратились письма. Я отправил телеграмму, другую, третью. Ответа никакого. Тогда я обратился по служебному

телеграфу к начальнику движения с просьбой послать к Филипповым узнать о судьбе моей семьи. Лишь после этого я получил письмо, что все здоровы, а на другой день мои путешественники, длительное и упорное молчание коих причинило мне так много волнений, явились домой целы и невредимы.

Оказалось, что мою Юличку спасло от несчастья случайное совпадение обстоятельств. 18 мая, в день объявленного народного гулянья, они с Машей собрались на Ходынку. Но так как она была в тот день именинницей, то сначала пошла в церковь помолиться. Отстояла обедню, и когда, наконец, поехала на Ходынку, то на Тверской-Ямской улице уже встретила возы с мертвецами, которых везли на кладбище. На мои тревожные телеграммы она не откликнулась своевременно по совету бабушки, которая считала, что не стоит зря тратить деньги на телеграммы: "если бы что случилось особенное с Юличкой, Машей или Лелечкой, то сами бы телеграфировали, не ожидая запросов. Раз молчат, значит, все благополучно". Оригинальная логика.

### **Всероссийская Нижегородская выставка**

Как только окончилась коронация, усилились перевозки на Нижегородскую выставку служащих, крестьян, рабочих по коллективным бесплатным билетам, это было особое распоряжение Витте. Печать того времени отмечала ошибку Витте, организовавшего выставку в Нижнем, а не в Москве. Витте говорил сотрудникам газет: "Пожалуйста, ругайте или хвалите меня сколько вам угодно, это мне безразлично, и я этому не препятствую. Но об одном прошу: в какой угодно

форме напоминайте обо мне каждодневно, чтобы в России знали, помнили о моем существовании".

Выставку в Нижнем посетили почти все железнодорожники нашей сети. В конце августа дошла очередь и до меня. В Москве в Управлении дороги, куда я явился за путевкой на право бесплатного входа на территорию выставки и пользования бесплатной гостиницей, мне предложили после возвращения с выставки представить доклад о виденном.

Я поинтересовался, всем ли дают такое поручение, и выяснил, что лишь некоторым. Стало ясно, что уровень моих знаний кого-то интересует.

Я пробыл в Нижнем на выставке около недели, все подробно осмотрел, а главным образом - железнодорожный отдел. Там я впервые увидел то, о чем не имел понятия. Так, например, первый наш паровоз, вагоны первой в России Царскосельской дороги - там я имел возможность сравнить их с современным подвижным составом. Да, за 60 лет железнодорожная техника шагнула далеко вперед. Прослушав на выставке одну из многочисленных лекций, я был поражен идеей докладчика о необходимости удалить с товарных вагонов так называемые запасные цепи и о возможности увеличить подъемную силу этих вагонов.

Эта и другие лекции настолько меня вдохновили, что я тут же, в номере железнодорожной гостиницы приступил к составлению своего доклада, подробно описывая все экспонаты, все виденное. Несомненно, в моем докладе было немало наивных, технически неграмотных суждений, но я писал старательно, усердно пытаюсь изложить на бумаге важнейшие свои мысли, объясняя значение каждого экспоната железнодорожного отдела. В заключение я коснулся строившейся тогда Сибирской магистрали.

Строительное управление этой магистрали, точнее, три управления - западное, среднее и восточное - выставили немало интересных экспонатов, на которые нельзя было не обратить внимание.

## В Серпухове. Дети

### Ревизор движения Серпуховского участка, рождение Васи

Мой доклад о Нижегородской выставке, видимо, имел успех. В половине октября мне предложили должность ревизора движения Серпуховского участка. Я принял это предложение и в начале ноября перевез семью в Серпухов. Юличка была в восторге, как никогда. Шагнуть из Золотухина в ревизоры подмосковного участка без связей на верхах, без протекции, без диплома, без теоретической и технической подготовки - случай в то время почти небывалый. Моя маленькая Юличка, конечно, все приписывала прежде всего Богу, была довольна, счастлива и продолжала трудиться, заботиться обо мне и детях.

Крупным минусом явилось для меня и моей семьи отсутствие в Серпухове казенной квартиры. Я поселился в пристанционном поселке, в доме Кудрявцева. Хотя я занимал, если не ошибаюсь, четыре комнаты, но они были настолько неудобные, холодные, старые, сырые, что я очень опасался осложнений при предстоящих Юличке весной родах. Мне пришел на помощь мой сослуживец, местный железнодорожный врач Василий Иванович Зембулатов, молодая жена которого, Лидия Ивановна, с первого дня нашего знакомства крепко подружилась с Юличкой. Эта дружба длилась много лет и перешла к нашим детям.

Василий Иванович быстро убедил начальника дороги в необходимости вытащить мою семью из старой, негодной квартиры Кудрявцевых, спасти мою беременную жену, будущего ребенка. В скором времени я получил в здании

вокзала прекрасную, просторную квартиру, в которой мы прожили около десяти лет. В этой квартире родился Вася 7 марта 1897 года. Роды прошли нормально, вполне благополучно, без малейших осложнений. С крестинами не торопились, так как ребенок был вполне здоров, задавал такие концерты - хоть куда.

Когда Юличка встала с постели, она настояла, чтобы мы покумились с Зембулатовыми. Василий Иванович, овдовев, женился на Лидии Ивановне, будучи значительно старше молодой жены. Ее сын, Валентин, был ровесником нашему Володе, а больше детей не было. А детей она любила, мечтала о них. И Юличка решила дать ей крестника.

Крестины были торжественные, пышные - со всеми "онерами", - как обычно говорили тогда, и наша дружба с Зембулатовыми закрепилась всерьез и надолго.

Василий Иванович, сын своего века, просиживал ночи напролет в клубе за карточным столом. Лидия Ивановна была прекрасной женой и столь же достойной матерью детям. Говорю "детям", т.к. в доме было двое детей: сын Василия Ивановича от первого брака и сын Лидии Ивановны. Об обоих детях она одинаково заботилась, поэтому эпитеты "мать, мачеха" в этой семье не имели места. Василий Иванович, добродушный по природе, ко всему в мире, кроме карт, врачебной практики и вкусной еды, относился весьма равнодушно, безразлично.

Припоминаю такой эпизод. В багажном отделении, у парадной лестницы нашей квартиры, возник пожар. Я знал, что около багажной стойки остался невостребованный ящик с порохом, прибывший из Москвы для местного общества охоты. Я не мог, конечно, не растеряться, ожидая каждый момент взрыва ящика с порохом. Первой моей мыслью было

спасти детей, сейчас, немедленно, во что бы то ни стало. Потом передавали, что я будто предлагал даже кидать ребят в окно с третьего этажа. Но возникший пожар был прекращен своевременно, все окончилось вполне благополучно. Когда прошли первые моменты суматохи, мы не досчитались Васи. Ему было тогда уже около трех лет. Оказалось, что он удрал самостоятельно к своей крестной. Лидия Ивановна где-то отсутствовала, а Василий Иванович, не интересуясь пожарной тревогой (крики, звонки, гудки паровозов и стрелочных рожков), спокойно ел свежесваренную ветчину с зеленым горошком. Маленький Вася мой достаточно ясно объяснил, что у нас пожар, спасают детей и т.д. Но невозмутимый Василий Иванович усадил ребенка с собой за стол, сказав: "Ешь, Вася, ветчина вкусная. А на пожар плюнь: погорит и перестанет". Когда я явился искать Васю, то увидел за столом двух Василиев, уписывающих за обе щеки ветчину с зеленым горошком. Этот эпизод был предметом долгих разговоров, шуток. Полагаю, вам ясно, дети мои, что в Серпухове, фабричном подмосковном крупном центре, мы попали в иную обстановку, не похожую на золотухинскую. Необходимо сказать, что ваша мамочка, имевшая весьма малое общение с городским людом или "обществом", как тогда говорили, быстро, однако, сориентировалась в новой обстановке и не без успеха. Ей пришлось впервые заказать для себя визитные карточки, пришлось привыкать выезжать в модной шляпке, делать визиты, принимать визитеров. Я хотел бы отметить, что среди "дипломированных" железнодорожных и фабрично-заводских дам, жен высококвалифицированных директоров фабрик, химиков, механиков, путейцев и иной прочей "знати" ваша мамочка сумела быстро занять далеко не последнее место. Не забудьте, что, когда мы поселились в

Серпухове, ей было от роду 27 лет, а смотрелась она значительно моложе. Каким же образом добились успеха выршая в деревенской глуши ваша мамочка?

Ответ, по словам М. Горького, возможен один: "Случайностей нет, все явления жизни обоснованы". Обоснованы самоотверженным трудом и преданностью семье до самозабвения. Или, говоря словами старинной поговорки, "жить - значит работать, работать - значит жить". Для кого? Для детей, для семьи. Она не только рожала, сама вскармливала (кормилиц не было), купала, обмывала, обшивала, одевала, растила, лечила, учила ребят, но и воспитывала прекрасно. В этом воспитании детей сохранилось немало предрассудков, обычаев старины - вроде традиционных "жаворонков", которые пекли 9 марта ежегодно во что бы то ни стало, и в один из этих жаворонков обязательно мамочка вкладывала серебряный гривенник. Этот счастливый жаворонок доставался младшему ребенку, считавшемуся "лучше всех". Такую оценку - "лучше всех" - поочередно получали все дети, каждый в свое время. Скажут - мелочь. Да, мелочь, и не одна, а много, много мелочей, из которых в совокупности образовалась неплохая семья.

Первой моей работой в должности ревизора Серпуховского участка было участие в комиссии по снабжению Сибирской железной дороги подвижным составом. Дорогу эту строили тогда спешно, и в 1897 году, ко времени передачи в эксплуатацию линии Челябинск-Иркутск - по образному выражению того времени "от Урала до Байкала", - для этой магистрали не оказалось у министерства путей сообщения необходимого подвижного состава. Всем дорогам Европейской сети министерство предложило выделить для

Сибири из своего инвентаря определенное количество паровозов, вагонов, платформ, угля, дрезин и т.д.

Не помню, сколько паровозов и вагонов должна была дать туда наша Московско-Курская дорога, зато помню, насколько я "вырос" благодаря участию в этой комиссии. Я понимал: это не Золотухино, не золотухинские старосветские помещики или купцы. Там можно было пользоваться сильными словами, но ограничиваться слабыми по размеру и размаху познаний действиями. А тут - не из Курска в Щигровский уезд, а, будьте любезны, из Европы в Азию, через огромные водоразделы, Уральский хребет, озера, Барабинскую степь и т.д. и т.п.

Строго говоря, я не имел никакого понятия о техническом устройстве, стойкости, прочности тех или иных паровозов, вагонов. Я мог лишь поддакивать опытным тяговым, не оставляя мысли, что все же "состою при сем", формально причастен к подвигу, рисуящемуся в моем воображении, не зная и не предвидя, что со временем судьба даст мне возможность не только увидеть Сибирь, но и поработать на Великой магистрали. Но тогда, в то далекое время "подвиг" нашей комиссии сводился к тому, чтобы сбыть Сибирской магистрали всякое негодное барахло. Мол, в далекой, холодной, дикой Сибири ведь еще "щи лаптями хлебают", там ведь медведи по улицам ходят, значит, там сойдет для "азиатов" всякая заваль, негодная нам, просвещенным европейцам.

## **Встречи с Чеховым**

Устроившись с квартирой на вокзале, где родился Вася 7 марта 1897 года, я стал твердой ногой на новом месте. Из

эпизодов серпуховского периода нашей жизни не могу не отметить мою встречу с А.П. Чеховым и всеобщую переписку населения, в которой я принимал участие.

Чехов жил тогда в Мелехове, в своем имении, около станции Лопасня, входившей в мой участок. Чехов был членом Серпуховской уездной земской управы, нередко ездил по своим делам в Серпухов, и я его встречал в вагоне. Он бывал также в Серпухове у моего сослуживца, железнодорожного врача В.И. Зембулатова - они были друзьями детства. Зембулатов, Чехов и артист художественного театра Вишневский (настоящая фамилия - Вишневецкий) земляки по Таганрогу, вместе были в Таганрогской гимназии, начиная с первого класса. После окончания гимназии Вишневский ушел на сцену, а Чехов и Зембулатов продолжали учебу в Москве, оба - врачи одного выпуска. В.И. Зембулатов мне говорил, что Чехов и в гимназии всегда был молчалив, редко принимал участие в детских шалостях. По словам Зембулатова, у них был еще один близкий однокашник, известный впоследствии толстовец, некий Сергиенко, вначале подвизавшийся в литературе под псевдонимом "Чемоданов". Родители этого Сергиенко, как передавал Зембулатов, жили где-то в деревне, недалеко от Таганрога. Уезжая к родителям и возвращаясь из деревни, малый ростом Сергиенко обычно таскал с собой огромный отцовский чемодан. Чехов, шутя, назвал Сергиенко Чемодановым, и эта удачная кличка к нему прилипла навсегда. Припоминаю, я как-то спросил Иванова, начальника станции Лопасня, знаком ли он с Чеховым?

- Как же, - ответил Иванов, - бывая на станции, он заходит ко мне, мы часто беседуем. Он очень внимателен к нам, железнодорожникам. Я ему, - продолжал Иванов, - как-

то сказал, что мы предполагаем открыть станционную библиотечку, и через два дня Чехов мне прислал, глядите, какие хорошие книжки.

Иванов показал мне около десятка книжек Чехова. На каждой книжке мелким, бисерным чеховским почерком было написано: "Библиотеке станции Лопасня Московско-Курской железной дороги. А. Чехов".

Во время всеобщей переписи населения в 1897 году Чехов, по поручению земской управы, заведовал переписным районом в уезде. В этот район первоначально входили станция Лопасня, Шарапова Охота и вся железнодорожная полоса двух этих перегонов. Затем, когда решено было выделить полосу отчуждения железных дорог в самостоятельные переписные районы, я, в числе прочих ревизоров, получил переписной район по линии железной дороги от Подольска до станции Бараново, вблизи Тулы. Моими переписчиками были начальники станций. При новой структуре переписных участков станции Лопасня и Шарапова Охота перешли от Чехова ко мне, и по этому поводу он называл меня своим конкурентом. Я был чрезвычайно горд этой "конкуренцией" с Чеховым.

Чехов был тогда в расцвете своего блестящего таланта, но уже болен. Вскоре он продал свое имение Мелехово и переселился в Крым - из-за быстрого развития процесса в легких, как говорил нам тогда В.И. Зембулатов.

Когда писатель жил в Ялте, Зембулатов гостил с семьей у него. Помню рассказ Лидии Ивановны Зембулатовой, нашей кумы - она крестила Васю, - что Чехов читал им отрывки из своей новой пьесы "Вишневый сад" и очень волновался, опасаясь провала пьесы.

## **Серпухов в конце XIX в.**

Что представлял собой тогда город Серпухов, где насчитывалось до пятидесяти тысяч жителей? Хотя вокзал, где мы имели квартиру, находился вне городской черты, в уезде, но я в городе, конечно, бывал. Правда, сообщение первобытное - пешком или на извозчике, но преодолевать эти полторы-две версты приходилось нередко. Не говоря уже о том, что мои старшие дети начали свою учебу в Серпухове и малышам приходилось каждодневно шагать с вокзала в гимназии и обратно. Я бывал в городе по службе - для выяснения недоразумений по грузовым перевозкам. Ведь в Серпухове находились крупнейшие тогда и старейшие текстильные фабрики Коншина с 5 тысячами рабочих (фабрика основана в 1798 году), фабрика Новоткацкая с 3500 рабочих, фабрика Ситценабивная с 2500 рабочих, фабрика Красильно-отделочная с 1500 рабочих, фабрика Каштановых, фабрика Мараяевых, фабрика Рябовых и др.

Словом, Серпухов был тогда крупнейшим в Московской губернии центром текстильной промышленности. При наличии на фабриках и заводах значительного количества инженеров и техников Серпухов ничем, однако, не отличался от обычных уездных городов.

Работали в Серпухове, а отдыхали, веселились в Москве, в двух с половиной часах езды от места работы. В самом Серпухове даже постоянного театра не было. Рабочие ютились на окраинах, в Ораловке, Свисталовке, Блеваловке, где были трактиры, кабаки, притоны, а для чиновного люда и служащих средней руки были два городских клуба: любителей драматического искусства и купеческий, где так же, как и в Курске, процветало пьянство, обжорство, карты,

карты и карты до бесконечности. Азартные игры не были ограничены временем и продолжались до рассвета в табачном дыму и бесконечной выпивке. Можно себе представить, каковы люди в работе после таких ночных бдений.

На моих глазах буквально погиб, сошел на нет талантливый работник, прекрасный семьянин - главный бухгалтер Коншинской фабрики. Он получал 6 тысяч рублей жалованья в год при готовой квартире с отоплением и освещением да ежегодно около 2 тысяч рублей наградных. И все это проигрывалось в клубе с какими-то темными личностями, без всякой цели и удовольствия. Кто-то из его детей вынужден был оставить гимназию из-за неуплаты 8 рублей за так называемое право учения. Больно, обидно! И это был не единственный случай.

Наш участковый врач, Василий Иванович Зембулатов, добрый, внимательный человек, прекрасный семьянин, если не каждодневно, то уж обязательно три раза в неделю уезжал в 7 часов вечера в город, в клуб - и до рассвета, а то и позднее. Играл Василий Иванович как будто удачно, осторожно, весьма часто обыгрывая богатых купцов. Мы все, и я в том числе, полагали, что Зембулатов богатеет на картежной игре. А когда он неожиданно скончался, то пришлось его семье продавать необходимые вещи, чтобы расплатиться с его карточными долгами.

## **Серпуховское купечество во второй половине 1890-х гг.**

В Серпухове мне впервые пришлось столкнуться, что называется, нос к носу с великорусским богатым, или, как

тогда величали, именитым купечеством. Правда, во второй половине девяностых годов это было уже не то "темное царство", которое так образно рисовал Островский. Наши серпуховские Коншины, Рябовы, Мараевы и прочие уже кое-чему научились, бывали за границей, одевались у лучших французских портных в Москве, но дикие нравы купечества еще окончательно не выдохлись.

Так, например, я лично был на именинах у Хутарева, который после лукуллового обеда, когда молодежь пустилась в пляс, предложил тем, кто не танцевал, неистово пить шампанское, подававшееся дюжинами в буквальном смысле этого слова... После второй или третьей, точно не помню, дюжины распитых бутылок шампанского, когда больше пить уже не было мочи, хозяин (знай наших!) велел официантам притащить еще две дюжины, дабы каждый гость мог сам вылить себе на голову "по бутылочке шампанского". Шампанское принесли, откупорили с шумом, с треском, пробки ударились в потолок. Как ни были пьяны гости, но дикое предложение хозяина лить на себя шампанское было отвергнуто. Тогда хозяин, стоя в торжественной позе, -буль, -буль, -буль, вылил себе на голову бутылку "Клико". Его примеру последовали некоторые гости. Я этого не стал делать, как и некоторые другие. Не подчинившихся мнению большинства насильно обливали шампанским. Я убежал в сад. За мной погнались старшие сыновья хозяина, один из них был артиллерийский офицер. Вылитое на меня французское шампанское разлилось по голове, проникло под белье; все на мне слиплось. То же было и со всеми. Мокрых гостей повели на речку, некоторых под душ, в баню, в ванну, дали чистое белье, свежее платье.

Я долго не мог без ужаса вспоминать об этом безобразии. А в клубе долго рассказывали, захлебываясь от удовольствия и восторга, о том, "как здорово угостил Хутарев своих гостей настоящим французским шампанским". На мои возражения, что это свинство, мне отвечали: "А вы бы побывали в богатых купеческих домах Замоскворечья, Таганки, Новой деревни, поглядели на широкие натуры. Иные старики много десятков лет копят денежки, любовно складывая их пачками, сотенными билетами. Много, много таких здоровенных пачек в московских сундуках. Ну раз в кои веки отчего душу не отвести, не погулять во всю ширь".

Мне не верилось, когда я слышал о множестве пачек сторублевых бумажек, хранившихся в купеческих сундуках и банках. Не верилось, что такие огромные Деньги могут принадлежать отдельным людям. Ведь я рос и воспитывался до 15 лет в иной среде, иной обстановке, где копейка - деньги. В Москве, на свадьбе того же Хутарева, а затем фабриканта Рябова видел, как за невестой дали в приданое миллион... Ни больше, ни меньше.

А в другом случае за устройство свадебного бала в ресторане "Эрмитаж-Оливье" уплатили 40 тысяч рублей без вина! Зато лакеи были в черных шелковых чулках, в гостинной хозяйка поила гостей чаем из чашек сервиза Людовика XVI. За несколько дней я видел старика Рябова, владельца этих огромных капиталов, играющим по три копейки в стуколку со смазчиками в поезде. Тогда я стал постигать психологию богатого купечества:

"Нашему ндраву не препятствуй". По-своему они были правы, когда говорили: "Деньги - чеканная свобода".

Эта серпуховская купеческая среда не была похожа на дворянскую среду курской черноземной полосы, но и не

имела ничего общего с той средой, в которой я рос. Я не мог, не должен был чуждаться людей, не мог не поддерживать компанию, но мне удалось не забытья, удалось не перешагнуть ту грань, которую переходить не следует. Этому помог "счастливый" случай, о котором нельзя не упомянуть.

Буфетчиком в Серпухове на вокзале был А.А. Марков, которого я знал по Курску, где он работал мальчиком в станционном буфете, мыл посуду и т.д. Когда я приехал в Серпухов, Марков уже был отцом большой семьи, домовладельцем и считался кандидатом на московский буфет как аккуратный, исполнительный работник. Марков знал меня с того времени, когда я еще не имел определенных занятий, а теперь в Серпухове на командной должности, и он всячески старался мне угодить. Мы ведь были почти одного возраста.

Как-то мы были приглашены к Маркову на именины. Пошел туда и Зембулатов с женой. Гостей, конечно, полон дом, угощение - парадное. После обеда кто-то предложил сыграть в карты. Конечно, в стуколку. Сел и я. У меня в кармане было 150 рублей - мое месячное жалованье, полученное в то утро. Через пару часов в кармане не оказалось ни копейки - продул все дочиста.

Под предлогом головной боли я предложил мамочке уйти. Несмотря на протесты хозяев, моих сослуживцев, мы ушли. Дома мамочка меня уложила в постель, клала на голову компрессы и т.д. А на другой день, когда понадобились деньги для рынка, я сознался, что продул все жалованье дочиста. Семья большая, надо месяц как-то существовать. Стыдно, совестно - хоть бы провалиться. Но мой ангел ни одним жестом, ни единым словом меня не упрекнула, напротив, она старалась меня подбодрить и где-то нашла

деньги для текущих расходов. Мы прожили весь месяц обычно, ни в чем себе не отказывая, как будто ничего не случилось. Мне лично этот эпизод стал хорошим уроком, я перестал играть в азартные игры и считаю, что легко отделался, проиграв один раз весь месячный заработок и на этом поставив точку раз и навсегда.

Моя квартира в Серпухове находилась в здании вокзала во втором этаже. Пребывание детей в таком помещении было не безопасным - ребяташки нередко располагались на подоконниках, глядели на станционный подъезд, где постоянно толклись пассажиры, комиссионеры, извозчики. Семья росла быстро, денег на дачу, конечно, не хватало. Тут пришли мне на помощь Управление дороги и Андрей Аркадьевич Щекин. Андрей Аркадьевич арендовал у Медведевых имение Уколово, где имелся хороший барский дом, сад, купанье и прочие удобства. Там он предоставил моей семье несколько комнат, где все прекрасно расположились. Конечно, был свой огород, поэтому пребывание моей семьи на этой прекрасной даче обходилось в сущие пустяки, тем более что для проезда весной от Серпухова до Золотухина и осенью обратно Управление дороги предоставляло нам отдельный вагон I класса, в котором мы осенью перевозили из деревни овощи на всю зиму.

Глядя на нас, в Уколове поселились на лето Мария Евгеньевна Мизгер с детьми, семья Николая Аркадьевича Щекина и еще кто-то. Образовалась значительная колония взрослых и ребят. Я нередко туда наезжал.

## Смерть Жени, 1898 г.

Осенью 1898 года, после нашего возвращения с дачи, мой сын Женя заболел дифтеритом и через несколько дней, 10 сентября, скончался. Смерть Жени меня совершенно выбила из колеи. Все шло так хорошо, гладко, без сучка и задоринки, и вдруг такой тяжелый удар. Я потерял почву под ногами. Если Юличка находила утешение в молитвах, панихидах, молебнах, то у меня этого не было. Так ли это было на самом деле, или мне казалось, что Женечка резко выделялся среди других моих детей? Так, например, я всегда давал детям после обеда по одной маленькой конфетке. Конфетки я хранил у себя в письменном столе, под замком, и после обеда обычно оглашал: "Кто желает конфету, подымите руки". Все, конечно, отвечали в один голос: "Я". Каждый мог сам взять из коробочки "какую хочет" конфетку, но лишь одну, а не больше. Мамочка пыталась нередко нарушить этот порядок, но не всегда это ей удавалось. Я считал, что во всем должен быть план, порядок, дисциплина. Нельзя распускать себя только потому, что я так хочу или мне так удобно. Так меня воспитывали, и эта выдержанность мне много, много раз пригодилась в жизни. Мои маленькие дети пытались нарушить этот мелкий, но существенный порядок. В особенности, когда конфет случайно не было, подымали рев. Один лишь Женя обычно в таких случаях говорил так трогательно, мило: "Если конфетки нет, то я водички выпью".

В жизни нет равенства (уравниловки, как теперь говорят). Один - сметливый, другой - менее сообразительный, третий - сильный, четвертый - болезненный, пятый - ловкий, шестой - неповоротливый и т. д. Равных в природе нет, но родителям все дети одинаково дороги, близки, но все

же должен заявить, что покойный Женечка резко выделялся среди остальных детей своей сообразительностью, умением учесть те или иные обстоятельства - даже в своем пятилетнем возрасте. Мне кажется, если бы судьба дала ему прожить жизнь нормально, он был бы весьма заметным талантом.

И умирал он необыкновенно. За 10-15 минут до кончины он спокойно попросил дать ему альбом посмотреть на всех, как будто ничего особенного не происходит. Он не сказал "посмотреть в последний раз", но это как-то само собой подразумевалось. Перелистывая альбом, он спокойно и внимательно вглядывался в каждый снимок, точно желая что-то крепко запомнить. А когда я спустился по делу в телеграф, он скончался. Мне нужно было с кем-то поговорить, но в трубке я услышал голос моего сына: "Папа, папа". Я побежал наверх и застал Женечку уже мертвым. Когда я спросил, звал ли он меня, мне ответили - нет. Да если бы и звал, то я не мог услышать его зова, а между тем точно, в момент его кончины я отчетливо слышал в фонопорной трубке его голос.

Что это - пылкое воображение, галлюцинация? Не знаю. Когда Женечку хоронили, я попросил снять крышку гроба и долго-долго вглядывался в его милые черты, чтобы на всю жизнь запомнить их. Затем, когда гроб был опущен в могилу, я бросил первый ком земли; несколько горстей этой земли я унес домой. Мне казалось, что она пропитана запахом моего любимого сына. Эта земля вот уже около 40 лет хранится у меня в отдельной коробочке. Я завещал, когда умру, положить ее мне на грудь и так предать земле мой прах. Не забудьте, дети.

Женечка мой похоронен в селе Буторлине, Серпуховского уезда, около церкви. Могила в ограде, поставлен чугунный крест с соответствующей надписью. Да, смерть Женечки явилась для меня большим горем. И до сих пор не могу понять, как и отчего он заболел тогда дифтеритом.

Противодифтерийной сыворотки для прививки тогда еще не было, а лечили так, спустя рукава. Жалко, жутко вспомнить!

Не знаю, как другим родителям, но мне дорого было то, как особенно пахли мои дети - солнцем, травой, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным, близким, молодым, веселым. О мамочке и не говорю. Та не только восторгалась, восхищалась, упивалась нашим потомством, но всю душу, энергию, все заботы, всю себя, без остатка, отдавала детям, их воспитанию.

Как не прав был Андрей Аркадьевич, который не раз, хотя и шуточно, говорил нам: "Куда, для чего плодите нищих?" Об этом спустя 40 лет весьма удачно, красноречиво и уместно вспомнил сын Щекина Витя в своем трогательном письме по поводу смерти мамочки. Об этом письме и других речь впереди.

## **Прошлое Серпухова**

Говоря о Серпухове как о скверном городишке, хотя и с огромной развитой промышленностью, не могу, хоть и кратко, не привести здесь сохранившиеся мои записки о прошлом Серпухова. Эти сведения я собрал тогда в местной городской управе по поручению Управления нашей дороги для путеводителя, в составлении которого принимал участие в числе прочих грамотных ревизоров. Путеводитель для

путешествующих по железным дорогам преследовал цель дать пассажиру сведения о каждом районе, чтобы пассажир "не скучал" при дальних поездках.

О времени основания Серпухова в городской управе не оказалось сведений, даже отдаленных, но известно, что в виде сторожевого пункта он существовал уже при московских удельных князьях. Первое упоминание о Серпухове относится к 1328 году в завещании, так называемой "душевной грамоте" Ивана Калиты, отдавшего этот город в удел младшему своему сыну Андрею Ивановичу, первому Серпуховскому князю.

Название свое Серпухов будто бы получил от речки Серпейки, впадающей в Нару и серпообразно обтекающей курган, на котором построен древний "каменный город", вроде кремля. Такое объяснение правдоподобно и весьма вероятно. А местные старожилы объясняли, что название Серпухова произошло от торговли серым пухом - эта отрасль промышленности якобы была когда-то главным занятием населения. Какая чушь!

## **Жизнь в Серпухове**

В этом городе я прожил одиннадцать лет. Там мои дети начали учиться и почти окончили среднюю школу. Говорю "почти" - ведь, когда мы переезжали из Серпухова на Урал, Леля была уже в восьмом классе гимназии, Шура - в шестом, Володя - в четвертом классе.

Как мои дети росли, начинали свою учебу? Чрезвычайно трудно в моем возрасте объективно, на основании фактов писать о далеком прошлом. Мысли путаются, скачут, и не знаешь, что важнее: то или иное. Многое улетучивается из

памяти, забывается и затем всплывает неожиданно. Леле, Шуре, Жене и остальным мамочка прививала прежде всего то, что тогда называли "благодравием": обучала их молитвам, почитанию родителей, умению одеться, вести себя чинно, благородно, то есть быть культурными по понятиям того времени. Я им покупал книжки, читал. Не помню, какую книжку впервые получила Леля, а Шуре я купил "Степку-Растрепку". Обладая прекрасной памятью, Шура через пару дней, не умея еще читать, знал "Степку-Растрепку" наизусть с моих слов. Мамочку чрезвычайно радовала столь блестящая память старшего сына. В Сергеевке она видела, как росли дети Марии Аркадьевны Щекиной, по мужу Маресевой, которых уверяли, что крестьянские дети - "хамы", имеющие в жизни определенное назначение, а дворянам работать не надо и т.д. Что получилось из этих Митрофанушек, вы знаете, дети мои, видели воочию сами на примере Аркаши и его сестры. Ваша мамочка была человеком иного склада. Она глубоко, искренно верила в Бога и молитвы, внушала детям, что в этой безотчетной преданности Всевышнему - спасение человечества, а значит, и наших детей.

Когда Лелечка уже была в первом классе гимназии, пришлось ей помогать готовить уроки. Но кроме этого мамочка внушала ей необходимость поставить свечку Царице Небесной пред иконой, находившейся где-то на окраине города. И Лелечка шла туда, ставила свечку. Я этому не только не препятствовал, но старался не возражать, уверенный, что подрастая, дети сами начнут понимать не только значение молитв, но и значение материнской любви - этого высшего смысла человеческого существования. Наконец, и сама молитва не так вредна, как нам кажется. В

свое время Тургенев в "Молитве" писал: "Всякая молитва сводится на следующую: "Великий Боже, сделай, чтобы дважды два не было четыре!" Я был уверен, глубоко убежден, что в свое время мои дети это сами поймут, не могут не понять, поэтому мамочке не препятствовал по-своему дисциплинировать ум ребенка, так как заменить эту дисциплину мне было нечем. Это я сознавал прекрасно. Ведь не кисейную барышню мамочка воспитывала в Леле, внушая ей и остальным детям свои глубокие убеждения. Мамочка ваша, дети мои, не была ханжой, и за будущее детей я не опасался. Так и случилось.

У меня сохранилась программа первого выступления на эстраде моей любимой старшей дочери, когда она была в первом классе. Ученицы Вайнштейн, Миткевич и Серикова читали басню Крылова "Кукушка и петух". Я был на этом вечере, сидел как на иголках, услышав из ее уст знаменательные слова: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку". Только отец или мать способны так воспринимать отдельные слова, фразы своих детей. Я невольно вспомнил себя ребенком, местечковый быт, окружение, свои житейские мытарства, свое жизнелюбие.

И вот моя дочь, моя родная, близкая уже учится, читает, публично выступает. Мать смотрит, не может наглядеться, как и я, на свою дочурку, с восторженным умилением вместе предвосхищаем дебютный детский успех. Я решил пригласить преподавательницу и поручить ей делать уроки с Лелечкой и подготовить к гимназии Шуру, а затем остальных. Кто-то рекомендовал нам Марию Петровну Меньшову, бывшую сельскую учительницу. Мария Петровна поселилась у нас. Не могу без стыда вспомнить предупреждения Юлички не забывать о нахождении в нашем доме

постороннего человека, а поэтому стараться не кричать, не шуметь, не конфузить себя и всю семью подобными действиями. Это, дорогой Шура, послужило напоминанием об оставшемся у тебя в памяти эпизоде, когда я разбил тарелку. Она стыдливо опасалась повторения подобного в присутствии Марии Петровны. Теперь, милые дети, разберитесь спокойно, хладнокровно - в чьих венах, в чьей крови бродил тогда еще старый азиатский уксус, унаследованный от далеких предков? Думаю, вам ясно будет, почему - помимо того, что был обременен служебными обязанностями, - я предпочел целиком доверить мамочке воспитание детей. Если проникнетесь моей мыслью, то поймете меня. С приездом к нам в дом опытной преподавательницы учеба Лели, иногда хромавшая, вполне наладилась - и без молебнов и свечек пред иконой по указанию мамочки. Да и Мария Петровна оказалась довольна своим положением в нашем доме. Кроме жалованья она имела отдельную комнату, прекрасный стол и иногда (к Пасхе, к Рождеству, к ее именинам) небольшие ценные подарки. Кроме того, она за особую, конечно, плату обучала грамоте детей в семье доктора Зембулатова. Словом, все были довольны.

Теперь о Шуре. Как он начал учебу? Шуру подготовила Мария Петровна, и в августе он поступил в приготовительный класс Серпуховской гимназии. По знаниям Шура мог бы поступить и в первый класс, но директор гимназии меня убедил не спешить, не торопиться. Полезнее, мол, будет, чтобы Шура, как он говорил, привыкнул к стенам, к классной обстановке. Все же и в приготовительный класс надо было сдать экзамен. Везти ребят на экзамен являлось моей обязанностью. До города от нас было далеко, а до гимназии,

находившейся на противоположной окраине, - еще дальше. Ехали на извозчике. Домашние были предупреждены, что если Шура сдает вступительный экзамен успешно и будет принят, то форменный синий сюртук с белым кантом я куплю безотлагательно и он приедет домой в форменной фуражке.

Окна моей квартиры выходили на подъезд, и вся семья глаза проглядела в ожидании нашего возвращения из города, гадая, приедет Шура в форменном картузе или без оного. Нервничали и соседи наши. Каждый высказывал свои предположения с соответствующими комментариями.

Наконец, мы едем. Все ясно, отчетливо видят нас на извозчицъей пролетке и Шуру без форменного картуза. Отчего, почему, что случилось? Неужели провалился? Больше всех волнуется Мария Петровна. У нее на глазах слезы. Но я не могу кричать, объяснять с пролетки; спокойно плачу вознице следуемое, поднимаюсь наверх. Шура уже успел бегом убежать вперед и объяснить всем, что сегодня был лишь письменный экзамен, а завтра будет устный. Все довольны, счастливы. Значит, гимназический форменный картуз будет, вероятно, завтра. Не "вероятно", а обязательно, во что бы то ни стало, не может быть сомнения, уверяют мамочка и Мария Петровна.

Приходят соседи: Леоновы, Мевес и еще кто-то разделить нашу семейную радость. Ярко вспоминаю свое детство: как я учился грамоте на газетных полосах, наклеенных на зимние, оконные рамы, как мои успехи радовали моих родителей, как я поступил в школу и т.д. и т.д.

Обнимаю мамочку, нежно целую ее, говорю: дочь уже в гимназии, теперь старший сын на очереди. Затем очередь

будет за остальными. Ведь не так плохо "складось як казалось", как говорят на Украине.

На следующий день вновь еду с Шурой в город сдавать второй, устный экзамен по русскому языку. В коридоре ловлю преподавателя przygotowительного класса Бучинского. Спрашиваю его: "Как наши дела, Николай Андреевич?" Отвечает: "Хорошо, не беспокойтесь, Шура будет принят, но с условием, чтобы не шалил". И ласково треплет моего сына по головке. Шура сияет, и я не меньше его. После долгих ожиданий, волнений - видим, идет экзаменационная комиссия: директор Буслаев, инспектор Яншин, учитель przygotowительного класса Бучинский и еще кто-то. Лица строгие, мрачные, на людей не глядят, а куда-то в неведомое пространство, точно вот-вот прочтут кому-то смертный приговор. Папаши и мамыши шепчутся: ничего не поделаешь, так и надо.

Наконец, уселась. Папаши и мамыши, как школьники, подглядывают в дверь, мигают Бучинскому, когда дверь раскрывается больше обычного. Приступили к экзамену.

Наша фамилия начинается на букву В, я был уверен, что меня не задержат. Не тут-то было. На сей раз экзаменационный синедрион решил вызывать ребят не последовательно по алфавиту, а с конца. Первая как будто житейская неудача. Приходится нетерпеливо ожидать. Наконец-то вызывают Александра Вайнштейна. Дверь полуоткрыта. Прекрасно вижу экзаменационную комиссию. Лица строгие как будто, а приглядеться - безразличные. Видимо, утомились, надоело, есть хочется. Батюшка даже зевнул.

Думаю: к чему столь торжественная обстановка для пригостишек? Но мой старший сын идет смело и бодро, отвечает уверенно. Но тут, точно его кольнули, вдруг

срывается с места и бежит к открытому окну с криком: "Музыка, музыка!" Конфуз. Оказывается, откуда-то возвращалась военная команда с оркестром во главе. Старик Бучинский быстро овладел собой, вернул Шуру к экзаменационному столу. Я лишь мог расслышать вопрос одного из экзаменаторов: "Чей это такой шустрый?" Однако все кончилось вполне благополучно. Директор пожурил Шуру, как потом рассказывал Бучинский, и отпустил с миром. Вскоре огласили и список принятых, в числе коих значился и мой сын. Мы отправились в магазин, купили гимназический форменный картуз, Шура тут же его надел, и поехали домой довольные, радостные.

Там нас давно ожидали, глядели во все окна. Снявши с головки картуз, размахивая им, Шура орал на всю улицу: "Выдержал, выдержал, выдержал!!!" Лелечка гордилась братом-гимназистом, а маленький Володечка глядел с восторженным умилением на форменную фуражку с гербом, в которой щеголял старший брат.

Успешная учеба наших детей-первенцев омрачилась заболеванием Шуры. В нашей квартире в Золотухине, поздней осенью, кажется, в конце октября, производился запоздалый ремонт, со сменой полов и оконных рам. Моя квартира состояла тогда из четырех комнат и кухни. Чтобы мы не переселялись временно в казарму, начальник участка пути согласовал со мной производство ремонта в два приема: мы уплотнились в двух комнатах и освободили половину квартиры для плотничных работ. Беспрестанно лили дожди. Маленький Шура, по недосмотру няньки, заходил нередко к плотникам. Ребенок будто бы даже таскал им мои папиросы, и никто этого не замечал. Как-то раз утром, встав с постели, очутился он в одной рубашонке у

плотников в гостях, когда они пили чай. Усадив ребенка на сырые доски, плотники угостили его своим чаем. Через несколько дней появились боли в ногах - признаки явного ревматизма. Уложили в постель, стали лечить, но упорная болезнь не поддавалась. Летом он обычно бегал, резвился, а с наступлением осени болезнь осложнялась, и ребенок очень страдал. Два или три раза мы его лечили на курорте в Славянске, соблюдая в точности все назначенные врачами процедуры. В первый раз с нами поехала мамочка. Мы сняли около озера деревянную хату у старухи Дарьи Верчихи и временно обзавелись своим хозяйством, чтоб обходилось дешевле гостиницы и ресторана.

### **Жизнь в Славянске, лечение Шуры**

Жизнь в Славянске, у Дарьи Верчихи, напомнила мамочке далекое украинское детство: традиционные вареники, паляницы и прочие украинские прелести. Мамочка точно воспряла духом после долгой спячки и осталась очень довольна двухмесячным пребыванием в Славянске.

Лечением Шуры руководил известный харьковский врач Михаил Александрович Трахтенберг. Милый, обязательный человек, в дальнейшем наш дальний родственник, как говорили, девятая вода на киселе: Чайкель женился на младшей сестре супруги Трахтенберга.

Наш Шура заметно окреп после славянских соляных ванн, ревматические боли утихли. Чтобы ему нескучно было на курорте, он завел товарищей из числа деревенских ребят. Почему-то эта дружба закончилась дракой. Какой-то паренек, чем-то недовольный, поймал Шуру днем на улице и

среди бела дня ударом кулака свалил с ног, стал бить. Шура поднял душераздирающий крик. Я услышал, бросился на помощь и насилу отнял, вырвал своего сына из рук разъяренного парнишки.

Через год или два я один ездил с Шурой вторично в Славянск, так как ревматические боли в конечностях его не оставляли. Он, бедный, зимой хворал, прекращал на некоторое время учебу в гимназии. Врачи усиленно кормили его салицилкой, отразившейся в конечном счете на его сердечной деятельности. Во всех случаях, когда в Славянске приходилось обращаться к Трахтенбергу, он был чрезвычайно внимателен, а когда мы породнились после женитьбы Юзи Чайкеля и встречались в Харькове, он всегда вспоминал Шуру, спрашивал о нем.

Не могу не вспомнить один эпизод. Летом 1933 года я был в Харькове. Моя двоюродная сестра Сара Эрлих, вдова профессора-бактериолога предложила мне поехать с ней на еврейское кладбище осмотреть мраморный памятник, который она поставила на могиле своего мужа. Осматривая с любопытством харьковское еврейское кладбище, я, к удивлению, увидел на одном памятнике надпись: "Профессор Михаил Александрович Трахтенберг". Оказалось, что Трахтенберг завещал своим детям обязательно похоронить его на еврейском кладбище, так как его "православие", мол, было "вынужденным", и об этом приходится сожалеть. Значит, Трахтенберг на старости лет уже уверовал в старого еврейского Бога. А мне казалось, что он, как и все мы, ни в какого Бога не верует.

## Дети

После смерти Женечки, естественно, вся нежность родителей, да и старших детей, сосредоточилась на маленьком, шустром Володе. Это был ребенок во всех отношениях выдающийся. Так, например, он пошел самостоятельно, внезапно, твердой походкой до годовичного возраста. Заговорил он также как-то неожиданно, слов не коверкал, а выговаривал те, что мог произнести, громко, ясно, выразительно. Лелю и Шуру не обижал, но был их предводителем в придумываемых играх и шалостях. Своего рода, если можно так выразиться, вундеркинд по нашему родительскому определению.

Когда Женя скончался, мамочка не пожелала, чтобы дети присутствовали при похоронном обряде. Для чего детей взяла к себе Гарбузова, наша соседка по квартире, жена начальника станции. Леле тогда было около восьми, Шуру - около семи, Володе - около трех, Васе - полтора года. Старшие беспрекословно подчинились указанию мамочки и ушли в соседнюю квартиру, а Володя запротестовал, потребовал объяснения:

"Почему Боженька взял к себе Женечку, надолго ли?" Каково же было наше удивление, когда впоследствии стало известно, что Володя все же как-то подглядел отпевание, вынос и весь обряд похорон.

Другой случай, сохранившийся в моей памяти. Во время обеда, когда вся наша семья чинно восседала за столом, позвонили по служебному телефону из Москвы, из Управления дороги и сообщили, что неожиданно выехал в отдельном вагоне на юг военный министр Куропаткин, поэтому поезд обязаны сопровождать ревизоры. До прихода

поезда оставалось менее часа. Я попросил поторопиться с обедом, чтобы успеть переодеться. Когда я спустился вниз ко времени прибытия поезда, то на перроне встретил Володю с няней. Я на это не обратил особого внимания, так как дети нередко гуляли на перроне. Из подошедшего поезда вышел Куропаткин в сопровождении двух генералов высокого роста. Рядом с ними невысокий, толстый Куропаткин казался маленьким. Шустрый Володя, глядя в упор на генералов, спросил меня: "Папа, а где же министр?" Когда военные от нас удалились, я ответил: "Вот, видишь, идут трое. Посредине - министр, а по бокам - его генералы". Володечка удивленно долго глядел и, когда они вновь приблизились к нам, громко крикнул: "Папа, папа! Да разве такие маленькие министры бывают?" Куропаткин это восклицание четырехлетнего Володи прекрасно расслышал. Подошел к нему и, хлопнув по плечу, ответил: "Всякие, милый мой, бывают министры: бывают большие и маленькие, а я вот маленький".

Нечто подобное имело место при проезде министра путей сообщения Хилкова по нашей дороге со служебным поездом. Я сопровождал этот поезд по своему участку. Когда мы приехали в Серпухов, Володя, конечно, на платформе, тут как тут с ребятами. Я не обратил на это внимания, занятый своим делом. При отходе поезда произошло неприятное замешательство. Два почтенных старца, стройные величественные министерские курьеры, вся грудь в медалях, никого не предупредив, ушли в кухню буфета за кипятком. Они появились на перроне, когда поезд уже тронулся с места, и побежали догонять его. Я своевременно это заметил, сигнализировал машинисту. Сократили ход поезда, курьеры министра благополучно вскочили на

подножку вагона уже в конце перрона. Хилков пробрал своих курьеров за то, что они отлучились от поезда без предупреждения, и на этом инцидент был исчерпан. Когда я к вечеру вернулся домой, оказалось, что Володя этот случай передал так: "Когда поезд тронулся, на платформу выбежали из буфета два министра с чайниками в руках. Бегут, кричат: стой, стой! Папа испугался, машет флагом. Наконец оба министра вскочили в вагон, и папа успокоился. Мама, правда, плохо было бы нашему папе, если бы эти министры не успели сесть?" Мы долго смеялись над этим толкованием.

Необходимо заметить, что невзрачный, скромный Хилков никогда при своих поездках по дорогам не носил форменного платья или фуражки. Не только ребенок, но и всякий взрослый, глядя на Хилкова, не мог бы сказать, что это министр, да еще князь. Ничего удивительного, что Володя в огромных, значительных курьерах усмотрел двух министров.

Когда Володя поступал в подготовительный класс гимназии, произошел такой курьез. Одновременно с ним поступал в гимназию его ровесник Валентин Зембулатов, сын нашего друга, участкового врача железной дороги, о котором я уже упоминал. Валентина также готовила М.П. Меньшова, и не могло быть сомнения в том, что наши ребята успешно сдадут вступительный в подготовительный класс экзамен. В последнюю минуту, перед официальным оглашением результатов испытания, произошло какое-то замешательство.

Николай Андреевич Бучинский, учитель подготовительного класса, неожиданно объявил, что он не может понять, почему в распоряжении экзаменационной комиссии оказались два диктанта Валентина Зембулатова, написанные

разными детскими почерками, но с совершенно одинаковыми ошибками. Долго разбирались, проверяли, сверяли.

Наконец-то все выяснили: оказалось, что рядом с Валентином Зембулатовым сидел на парте во время диктанта бедовый рыжий мальчишка (рыжих во святых не бывает, говорила обычно наша покойная мамочка) - сын клубного буфетчика. Этот задорный мальчик, не надеясь на свои познания, "содрал" у Валентина Зембулатова весь диктант целиком и полностью, точь- в-точь. А когда по окончании диктанта велено было всем написать под последней строкой свое имя и фамилию, у Зембулатова была заимствована в точности и эта подпись, как и весь диктант. Поэтому-то и оказались два диктанта Валентина Зембулатова и ни одного - его соседа по парте.

## **Встретили наступление XX века**

Эту великую дату отмечали прежде всего в конце 1899 года газеты обозрениями XIX века и гадательными предположениями о возможных достижениях в XX веке. Но кто-то в Германии правильно напомнил, что XX век наступит лишь 1 января 1901 года, а не 1900 года. Наши российские пьяницы, обжоры, картежники и им подобные как будто даже были довольны такими пояснениями: представилось возможным праздновать наступление нового века дважды - "по старому и новому стилю". Так толковали это событие "хмурые люди", по образному определению Чехова. Пьяницам было безразлично, по какому поводу напиться, лишь бы башка трещала. Немало также гадали о кабалистическом значении и свойстве цифр и отсюда делали выводы, какие годы в XX веке будут счастливыми и наоборот. Не

припомню сейчас этих гадательных таблиц, распространявшихся тогда в огромном количестве, но припоминаю, что наиболее счастливыми считались те годы, сумма цифр коих делилась без остатка на девять.

Мы встречали 1901 год в кругу семьи. Дети уснули до наступления полуночи. Мамочка, по украинскому обычаю, вздумала гадать, топила воск, глядела в зеркало, но ничего из этого не вышло. Мамочке хотелось получить от зеркала или растопленного воска исчерпывающий ответ на волновавший нас вопрос: переехать нам в Москву или остаться в Серпухове?

В конце декабря меня вызвали в Москву и там мне предложили должность заведующего конторой движения. Предложение было соблазнительным. Это давало не только лишних 75 рублей жалованья в месяц, но и видное положение в масштабе всей дороги, а не участка или станции. Я был поражен этим предложением, не верил своим ушам. Как будто надо было вцепиться зубами в это лестное предложение, чтобы подняться на высшую ступень служебной лестницы. Я вспомнил карьеру Витте...

Чем черт не шутит, когда старый еврейский Бог спит? Эту поговорку я в детстве слышал много раз. Но неудачи в юности, при стремлении поступить в гимназию, затем в университет, научили меня быть осторожным. Надо было присмотреться: стоит ли взять в руки новые вожжи, повезет ли управленский конь. Ведь мне не первому делают это предложение. До меня пригласили на эту должность моего соседа, ревизора Селиверстова, бывшего учителя гимназии, имевшего, конечно, университетский диплом. Селиверстов, проработав две недели, сбежал. Я обещал дать ответ через

несколько дней, просил дать мне возможность посоветоваться дома.

Этот эпизод я на все лады обсуждал с мамочкой в ту ночь. "Как хочешь, дорогой, тебе виднее. Как ни трудно в Москве с маленькими детьми, но я все сделаю, чтобы тебе и детям все было готово своевременно". Эта добрая, ангельская душа о своих удобствах не думала, были бы довольны муж, дети, которым она отдала всю свою жизнь. Как причудливо, красиво, своеобразно разрисовала судьба, дети мои, вашу и мою жизнь. Предложение перейти в Москву мы отмерили не семь раз, а больше, и решили, что я должен отказаться. Хотя после этого я еще семь лет пробыл неподвижно в роли участкового ревизора в Серпухове, но и поныне об этом не жалею.

Ведь жизнь такая область, по которой нельзя пройти не споткнувшись, а этим тогда своим отказом я избежал возможности лишний раз споткнуться на прямой дороге. Не могу здесь не сказать хоть несколько добрых слов о начальнике дороги Шауфусе. Не потому только, что он меня ценил, хорошо ко мне относился, а и потому, что других, ему подобных, я не встречал в своей жизни.

Первое мое столкновение с ним имело место, когда я был начальником станции Золотухино. Он обратился ко мне с вопросом: "Как греет ночная печка в дамской комнате?" Я ответил наивно: "Не знаю, это дело службы пути".

- Как не знаете? - сурово возразил он. - Кто же, собственно, хозяин на станции? Вы или дорожный мастер?

Я понял свою оплошность и тут же ответил: "Да, вы правы, я теперь понял свою ошибку". Шауфус протянул мне руку, сказав: "Не забудьте же, что вы хозяин на станции, и когда на станции производится какая-либо работа, то вы

обязаны ее принять, как если бы эта печь или дверь сделана была для вашего собственного дома". Я понял его мысль. Больше он мне подобных замечаний не делал.

Другой случай, не менее характерный, имел место почти через 10 лет, во время моего ревизорства в Серпухове. Неожиданно на 12-15 часов был закрыт московский путь на перегоне между станциями Свинская - Ока. Шауфус, конечно, не усидел в Москве и сам выехал на линию проверить эту работу. Когда он меня спросил, как я организовал пропуск поездов по одному пути, я ему показал мое письменное распоряжение начальнику разъезда Свинская, в котором все было предусмотрено.

- А вы уверены, что все так аккуратно будет выполнено? - спросил он меня.

- Да, полагаю, - ответил я.

- Поедемте, проверим.

При проверке на месте оказалось, что начальник разъезда передал мое распоряжение своему дежурному помощнику, помощник - стрелочнику, а стрелочник недостаточно уяснил себе вопрос по существу. Короче говоря, безопасный пропуск поездов не был обеспечен. Шауфус предложил мне остаться в Свинской, телеграфировать ему о пропуске каждого поезда. Я продежурил на стрелке около 14 часов, еще раз осознав, насколько Шауфус был прав, убеждая нас всех, что всякое распоряжение необходимо проверять лично. Впоследствии он был недолго министром путей сообщения, а затем членом государственного совета. Хотя его из скромного Шауфуса и переименовали в многоэтажного Шаффгаузена-Шенберга Эк-Шауфуса, но на ролях дальше начальника дороги Николай Константинович не имел успеха. Он не умел расшаркиваться, целовать

ручки и т.п., что тогда требовалось для большого света. Он умел добросовестно, честно работать на линии и учить других не приказом, а личным указом, что так редко встречалось в то время. У Шауфуса мы учились, как надо продуктивно работать. Он умел подбирать кадры и дорожить людьми. Его биографию, если таковая будет когда-либо написана, полезно прочесть всякому транспортнику. Я с умилением вспоминаю Николая Константиновича Шауфуса, у которого я учился практически и многое у него позаимствовал.

За пятьдесят с лишним лет моей работы на транспорте я другого такого честного, исполнительного работника не встречал. С глубокой преданностью вспоминаю о нем. Шауфус скончался задолго до Октябрьского переворота, около 1910 года. Его портрет, вырезанный из какой-то газеты того времени, я долго хранил и теперь подклеиваю к своим запискам.

### **Пятидесятилетие супружества Щекиных 1898 г.**

Хочу написать о большом семейном торжестве у Щекиных, на котором я присутствовал со всем своим потомством. В начале февраля 1898 года Аркадий Ионович и Анастасия Андреевна Щекины праздновали свою золотую свадьбу - пятидесятилетие супружества. К этому торжеству готовились задолго, так как по заведенному обычаю необходимы были золотые подарки "молодым". Этим занялся старший сын Андрей, собиравший деньги у всех родных. Конечно, дал и я. Оказалось, что Андрей Аркадьевич заказал в Москве изящный золотой поднос небольшого размера, графин и отделанные в золото два стеклянных бокала. На донышке

бокалов были даты "молодых", причем эти надписи можно было разобрать, лишь выпив из бокала все содержимое. Изящно, красиво, но не практично по затраченным деньгам. Стоило случайно разбить стеклянный графин или бокал, как золотая отделка высокой художественной работы превращалась в лом. По моему мнению, в этом сказалось легкомыслие, отсутствие практического житейского подхода вырождающегося дворянства. А может быть, и ошибаюсь. Быть может, в данном случае слишком велико отличие моих взглядов, унаследованных от бережливых предков, знавших цену каждой трудовой копейке, от взглядов столбового дворянства, глубоко веровавших, что Бог даст день, Бог даст и пищу, которую кто-то добудет и поднесет в готовом виде.

Не помню, сколько человек присутствовало на этой золотой свадьбе, но по комнатам большого дома проходили с трудом. Были не только все "свои" - близкие и дальние родственники, но и соседи чуть ли не со всего уезда.

Выяснилось, что на подобные, исключительно редкие, торжества обычно не приглашают, а сами являются желающие поздравить "молодых" с подарками рукодельной работы. Поэтому в числе подарков было немало красивых полотенец, скатертей с вышивками крестиком, напоминавшими Анастасии Андреевне родную Полтавщину. Это семейное торжество удалось на славу. Всем нашлось место за столом, все были довольны, веселы. Аркадий Ионович, несмотря на свои 85 лет, был бодр, прекрасно, в рифму отвечал на тосты, немало пил, уверяя, что по слабости зрения с трудом разбирает надписи на доньшке бокала.

После обеда состоялись танцы. Первую кадрили танцевали представители старшего и младших поколений: Анастасия Андреевна с внуком и визави - Аркадий Ионович с

маленькой внучкой. Играла Мария Викторовна (жена Андрея), а гости хлопали в такт в ладоши. Все были радостно настроены, со всех сторон раздавались пожелания молодым отпраздновать "бриллиантовую". Но этого не случилось. Надо отметить, что незадолго до торжества у Щекиных газеты того времени отметили "бриллиантовую свадьбу" (75 лет супружества) каких-то стариков вблизи Варшавы, причем оказался в живых ксендз, который венчал их 75 лет назад. Аркадий Ионович, находясь под свежим впечатлением этих газетных сообщений, сам старательно хлопотал, принимая гостей, рассаживая их, чтобы всем было удобно. Он сам писал карточки для всех обеденных приборов. Свою карточку, написанную Аркадием Ионовичем, я, конечно, сохранил как памятку. Обратите внимание, дети мои, на почерк. Кто скажет, что так красиво, твердо, ясно писал 85-летний старик в суете, когда уже был полон дом гостей, стоял шум, галдеж от приветствий. В дальнейшем Аркадий Ионович мне рассказывал, что, когда он женился, ему было отроду 35 лет, а Анастасии Андреевне около 17.

## **Рождение Варюши**

В декабре же этого, 1898 года у нас родилась Варюша, вполне благополучно, без малейших осложнений. Рождение долго и давно желанной девочки после четырех подряд сыновей - Шуры, Жени, Володи, Васи - чрезвычайно обрадовало Юличку. Не знаю почему, но мамочка называла мальчиков "длинноногими". Почему новорожденную решили назвать Варварой, а не Аксиной, не Степанидой или еще иначе? Прежде всего потому, что она родилась 4 декабря - в день великомученицы Варвары, значит, именины и день рождения будут одновременно. А затем на это решение

повлияло и наше сравнительно близкое тогда знакомство с семьей артиста Малого театра Музиля, старшая дочь которого, Варвара Николаевна Музиль, по мужу Рыжова, теперь народная артистка, очаровала мамочку своим вниманием, предупредительностью, талантом. Был даже момент, когда Варюше было уже около восьми лет от роду, супруг Варвары Николаевны, артист Малого театра Иван Андреевич Рыжов, настоятельно советовал отдать нашу Варюшу в балетную школу. Почему именно в балетную школу? Милейший Иван Андреевич пояснил, что в балетную школу надо отдавать детей в учебу лишь в юном возрасте, не позднее восьми лет от роду. А затем природа, талант, стремления человеческой природы определяют, мол, подскажут дальнейшую судьбу и карьеру. В доказательство основательности такого суждения он приводил в пример себя: подкидыш, не помнивший, не знавший ни отца, ни матери, попал в воспитательный дом. По симпатичному личику его выбрали для поступления в балетную школу. Танцевал в Большом театре в маленьких выходах или в толпе. К 20 годам ощутил в себе влечение к драме. Поступил с трудом в театральное училище. И вот - работал в Малом театре на выходных ролях и т.д. "И вот, как видите, - убеждал он меня, - не лыком шит: и я, и жена - не без успеха". В конечном счете все эти суждения ограничились и окончились лишь разговорами: Варюша, как и остальные наши дети, училась в гимназии и затем в университете на медицинском факультете.

## **Дети в школе**

Как протекала учеба в средней школе старших детей? После моего отказа от назначения в Москву, в Управление

дороги, я надолго "засиделся" в Серпухове. Как я писал, то Леля там дошла до 8-го класса, Шура до 6-го и Володя до 4-го. Один Вася не учился в гимназии. Нам казалось, что в одной семье необходимо иметь хоть одного реалиста. А так как в Серпухове не было реального училища, то мы отправили Васю в Курск. Там его поместили у милейшей Марии Евгеньевны, которая, конечно, заботилась о нем как мать родная. Дети росли, учились, шалили, болели, выздоравливали. Больше остальных детей болел бедный Шурочка, наш старший сын. Васечка не болел, но казался как будто более других уравновешенным, спокойным, менее подвижным, за что ребята дразнили его "Пульхерией Ивановной". Это его обижало, злило, доводило нередко до слез. Из мелких эпизодов жизни детей я случайно вспомнил сейчас такой случай.

Шура был в первом или во втором классе гимназии, его одноклассник, ровесник, Марков, сын нашего станционного буфетчика, поленивался, пропускал уроки. Как-то раз, когда Шура после окончания занятий в гимназии шел из класса, он увидел издали шедшего ему навстречу Маркова, не бывшего в тот день в классе. Не заметив шедшего сзади гимназического инспектора, Шура стал на улице приплясывать, напевая: "Немец ногу сломал, ногу сломал, ногу сломал..." Гимназический инспектор тут же взял Шуру за ушко, указывая, как вести себя на улице. Несдержанная радость в связи с неудачным падением на катке преподавателя немецкого языка, который пропустил поэтому очередной урок, стала поводом для наших шуток, мы много смеялись над Шурой, по натуре скромным мальчиком, неспособным на разные шалости. В общем, учеба шла у старших ребят хорошо, их успехи отмечались даже похвальными листами и

наградными книжками. Я очень сожалею, что мне не удалось сохранить эти свидетельства.

Исключительно "не повезло" Васе. После поступления Володи в гимназию, Мария Петровна Меньшова уехала от нас и стала работать в сельской школе в Замарайке Ефремовского уезда Тульской губернии. Туда, к М.П. Меньшовой, мы и отправили Васю для начальной учебы.

### **Поступление в общество московских купеческих приказчиков**

Надо было решать вопрос об учебе Васи более основательно. Сколько мамочка умело ни изворачивалась, сколько мы неустанно не прочили ее, шутя, в министры финансов, а материальная почва с каждым годом становилась все более и более зыбкой из-за разницы между ростом нашего потомства и неподвижностью моего бюджета. Надо было что-то предпринять, чтоб не сесть на мель. "И сан, и возраст позабыв", я записался в члены общества московских купеческих приказчиков. Не удивляйтесь, милые дети мои, в жизни бывают и такие метаморфозы. Чтобы попасть в члены этого общества, надо было иметь связи, которые я нашел среди московских железнодорожников. Их дети воспитывались за счет этого общества, имевшего много стипендий во всех средних и высших учебных заведениях, даже с полным пансионом, как, например, в Московском коммерческом институте, куда я решил определить своего Васю.

Как попадали железнодорожники в общество купеческих приказчиков? Довольно хитроумно. Так как почти вся наша железнодорожная сеть строилась акционерными обществами, то есть частными лицами, то, с известной

натяжкой, можно было признать железнодорожников правомочными баллотироваться в члены общества купеческих приказчиков. Подобно другим прошел в это общество и я. Неважно, что наша дорога уже была выкуплена с 1893 года в казну, но поступил я на службу в 1880 году, когда дорога принадлежала акционерному обществу.

### **Вася не попал на казенный кошт Московского коммерческого института**

Пробыв членом общества несколько лет, я выставил кандидатуру Васи в Коммерческий институт вместо намеченного до этого Курского реального училища. Наступил день баллотировки. На одну вакансию оказалось двенадцать девятилетних кандидатов. В урну были опущены двенадцать записок, из коих одиннадцать пустышек и одна с надписью "Полное содержание за счет общества до окончания высшей школы". Во избежание недоразумений председатель предложил двойную баллотировку: сперва тянуть жребий, в каком порядке подходить к урне, а затем жеребьевка у урны. Вызывали по алфавиту. Я подошел, кажется, вторым. И вынул номер 11. Значит, надежды никакой. Из десяти, которые будут до меня тянуть жребий, конечно, кому-либо достанется заполненная записка. Не всем же пустышки. Оказалось, не так. Первый взял пустышку, второй - пустышку, третьему досталась пустышка, то же - четвертому, пятому, шестому. Напряжение присутствовавших дошло до крайнего предела, когда и седьмой, и восьмой, и девятый, и десятый вытащили также пустышки. Наступила моя очередь. Когда меня пригласили к урне, у меня буквально поджилки тряслись от волнения. В урне оставались две бумажки, из коих одна пустышка, а

другая - заветная, обеспечивавшая полное содержание и воспитание Васи за счет общества купеческих приказчиков до окончания вуза. Я был уверен, убежден, что мне, наконец, достанется заветная записка из двух лежащих в урне. Не глядя, я взял первую, верхнюю бумажку, я уже прикидывал в уме, когда надо привезти Васю в Москву, кто с ним поедет - я или мамочка.

В это время председатель оглашает: "Вайнштейн - пустышка".

- Как? Не может быть! Это недоразумение!

Председатель протянул мне пустую бумажку и пригласил к урне № 12. Но обладателя № 12 в зале уже не оказалось. Он ушел, будучи уверен, что эта стипендия ему ни в коем случае не может достаться, так как на это счастье слишком много шансов у впереди стоявших. Председатель сам вынул из урны последнюю, единственно оставшуюся бумажку, оказавшуюся желанной, долгожданной. Об этом постановили "сообщить письменно ушедшему раньше времени обладателю стипендии". Так грянул нам гром не из той тучи, из которой ждали.

## **Встречи с Львом Николаевичем Толстым**

К числу эпизодов того далекого времени нельзя не отнести и мои случайные встречи с Львом Николаевичем Толстым. В первый раз я увидел Льва Николаевича вскоре после моего переселения из Золотухина в Серпухов. Случилось это так. Кочетов, дежурный по станции Серпухов, исполнительный, аккуратный работник, как-то не успел своевременно встретить на платформе поезд из Москвы - в дверях скопились пассажиры, уже входившие в вокзал.

Пытаясь протиснуться сквозь толпу, Кочетов столкнулся с каким-то, как ему показалось, мужичком, которого он будто бы со словами "Куда прешь!", толкнул кулаком в грудь. Это видел главный кондуктор, доложивший мне, что Кочетов толкнул в грудь Толстого, шедшего с чайником за кипятком. Я вызвал Кочетова и предложил ему извиниться перед Львом Николаевичем. Кочетов немедленно вошел в вагон, нашел там Льва Николаевича и стал просить прощения. Толстой заявил, что ничего подобного не помнит. Толкались, мол, все, и нет никаких оснований для извинений. Чуть позже Кочетов, удрученный тем, что хоть и случайно, но он оскорбил Толстого, вновь вошел в вагон, стал опять извиняться, объясняя, как это случилось. Толстой ответил, что ничего не знает, ничего не помнит и никаких извинений не нужно. Он нежно взял Кочетова под руку, помог ему сойти с площадки вагона, просил забыть об этом эпизоде, не беспокоиться. Это было, насколько припоминаю, в то время, когда Лев Николаевич усиленно распространял в печати свое учение "о непротивлении злу".

Другой эпизод имел место через несколько лет, вскоре после отлучения Толстого от церкви синодом. Южнее Тулы, на станции Ясенки (ныне Щекино), в нескольких верстах от Ясной Поляны, где жил в своем имении Лев Николаевич, должность начальника станции занимал мой товарищ по службе Федоров. Сын кантониста, ловкий, сообразительный, он, однако, почему-то засиделся на маленькой станции, хотя по возрасту был значительно старше меня и своих сослуживцев. Ему почему-то не везло. Он не падал духом, прекрасно работал, был всегда жизнерадостен.

Получив от Федорова записку, что он отдает замуж свою старшую дочь и приглашает на свадьбу, мы с мамочкой

быстро собрались и поехали. Из-за опоздания поезда мы в церковь не попали. Во время свадебного обеда мне пришлось сидеть рядом с приходским священником, который венчал молодых. Тот выпил лишнее, разболтался. Рассказал мне, что синод отлучил Льва Николаевича по его доносу. На мой вопрос, как это случилось, пояснил: "Толстой давно не ходит в церковь, не принимает у себя причта, хотя я много раз пытался вернуть его на путь истинный. Как-то летом долго не было дождя. Все пересохло. Прихожане просили отслужить в поле молебен, не пошлет ли Господь дождика. Собрались, отслужили. И, когда с крестным ходом возвращались с поля, вдруг навстречу нам граф Толстой. Этот еретик не только не приложился, как подобает, к иконе, а, завидев издали крестный ход, свернул в сторону и даже шапки не снял. Я не стерпел, донес благочинному, все расписал как следует. Благочинный - архиерею, и пошло. Приехал следователь, которому Толстой заявил: "Я в иконы не верю, поэтому свернул в сторону". И больше не стал разговаривать. Вскоре его за это отлучили от церкви".

- И вам, батюшка, не стыдно? - спросил я.

- Чего стыдно? Ничуть. Так ему и надо. Его неверие скоро пройдет, и мы еще доживем, когда граф Толстой придет в церковь в веригах и будет умолять о прощении.

Этого не случилось, как известно.

Тут, мне кажется, интересен не только по существу рассказ пьяного батюшки о случившемся, но и его уверенность в особенности славянской природы Толстого - публично каяться в своих поступках, да еще в веригах.

Еще один эпизод имел место незадолго до Русско-японской войны, приблизительно в 1901 году. Мне как-то пришлось заведовать двумя ревизорскими участками, когда

мой сосед Селиверстов уехал в кратковременный отпуск. Неожиданно меня вызвали из Москвы по телефону и прочли полученную начальником дороги такую телеграмму:

"Сторож Кудрявцев украл мое пальто, прошу уволить его от службы, уплатить мне 35 рублей. Граф Толстой". При этом передали, что начальник дороги предлагает мне вместо Селиверстова немедленно поехать на станцию Щекино и расследовать на месте эту жалобу. Я поехал с первым отходящим поездом. Оказалось, что на станции Щекино - два станционных сторожа. По традиции, каждый обслуживает "своих пассажиров". Кудрявцев обслуживал Толстых, получая за свои мелкие услуги как носильщик станции не каждый раз, а оптом - деньгами, продуктами, овощами, нередко без строгого учета количества услуг. Рассчитывалась обычно графиня Софья Андреевна, и никогда никаких недоразумений не было. Все были довольны. На сей раз приехал накануне из Тулы, слегка выпивши, младший сын Льва Николаевича. Как водится, сторож Кудрявцев, увидев "своего" барина, бросился к вагону, вынес его вещи и проводил к подъезду. Лошадей из Ясной Поляны не было. Молодой граф стал бранить непорядки родительского дома, уверяя, что о приезде именно с этим поездом он заблаговременно телеграфировал из Тулы. Находившийся тут же местный крестьянин предложил молодому графу свои услуги. Сторговались за рубль. Поехали. Отъехав от станции около версты, встретили яснополянских лошадей. Молодой граф пересел в свой экипаж, уплатив случайному вознице следуемое. Уже дома этот мужичок обнаружил в своей телеге забытое графом старое пальто (пыльник). А так как он собирался в поле пахать, то поручил своей бабе отнести пальто на станцию,

отдать сторожу Кудрявцеву. Мол, барин спохватится, будет искать пыльник, а Кудрявцев служит всегда всем Толстым, он и отдаст. К вечеру явился из Ясной Поляны посланный, разыскивавший оставленное в крестьянской телеге пальто-пыльник. Пальто не оказалось. Отчего, почему, куда девалось? Надо было греху случиться. В тот день неожиданно приехали из Тулы печники и маляры ремонтировать станционные квартиры, и на первой очереди была комната-кухня сторожа Кудрявцева. Кудрявцев протестовал, возражал, что ему ребят девать некуда, надо подготовиться и т.д., но начальник станции убедил его временно поселиться в садовой беседке, куда его спешно стали переселять маляры, печники и случайные какие-то неизвестные, находившиеся в то время на станции. Во время переноски имущества Кудрявцева пропало графское пальто. Подняли шум, заявили станционному жандарму, полицейскому уряднику, всюду искали - пальто-пыльник не было найдено, что и послужило поводом к телеграмме молодого графа Толстого.

Когда я все это выяснил на месте, то послал в Ясную Поляну приблизительно такую записку на официальном бланке: "Графу Толстому. По поручению начальника дороги я приехал на станцию Щекино расследовать Вашу жалобу, переданную вчера по телеграфу. Не пожелаете ли еще что-либо пояснить по содержанию жалобы и показаниям причастных лиц. Уеду отсюда около полуночи". Это было около трех часов дня. Записку мою отнес в Ясную Поляну и лично вручил молодому графу сторож Кудрявцев, который мне сказал, что молодой граф ему ответил: "Хорошо, ступай" и отпустил с миром. Прождав, как обещал, до полуночи и не получив от графа никакого отклика на мою записку, я уехал.

Уезжая, спросил Кудрявцева, а затем начальника станции, почему довели этот эпизод до телеграфной жалобы. Если нельзя было согласовать этот вопрос с молодым графом, то почему Кудрявцев к Льву Николаевичу не обратился, - этот злосчастный пыльник не был собственностью молодого графа, пальто носили все, молодые, старые, вся семья. Мне ответили: "Кудрявцев просил прощения у молодого графа, но безуспешно, а обращаться к Льву Николаевичу бесполезно, так как, кроме Татьяны Львовны, никто его ни во что не ставит".

Я уехал из Щекино удрученный. Значит, как говорили тогда, нет пророка в своем отечестве. Лев Николаевич - великий талант, мыслитель, признанный всем культурным миром, а его ни во что не ставят в собственной семье. О времена, о нравы! Ничего не поделаешь - жизнь всякого человека включает и радость, и грусть. С такими мыслями я приехал в Тулу, чтобы до доклада Управлению дороги результатов моего расследования побеседовать об этом со старшим ревизором движения Ершевским, моим непосредственным начальником. В это время случайно был у Ершевского начальник станции Тула Грушевский, старый опытный железнодорожник, который заявил, что молодой граф Толстой нередко пьянствует в вокзале, скандалит с официантами, носильщиками, буфетчиком и швейцаром. Под впечатлением всего виденного, слышанного я представил об этом деле исчерпывающий доклад, заключив его так: сторож Кудрявцев, по моему мнению, виновен в данном случае в опрометчивости, быть может, недосмотре, но не больше. Он работает на дороге около 10 лет, взысканиям не подвергался, поэтому, полагаю, можно ограничиться выговором, который я ему уже объявил лично

на месте. Что же касается требования молодого графа уплатить ему 35 рублей за утерянный старый пыльник, то я не считаю себя компетентным в оценке этой вещи, ибо, насколько мне известно, новое такое брезентовое пальто можно купить в Москве за 15 рублей. Во всяком случае на станции Щекино нет камеры для хранения ручной пассажирской клади, поэтому предлагаю графу Толстому предъявить судебный иск, если он настаивает, что дорога ответственна за пыльник, оставленный им на крестьянской телеге. Начальник дороги согласился с моим докладом и распорядился послать графу Толстому копию ревизорского расследования. Этим дело закончилось.

### **Болезнь Шуры**

Болезнь Шуры причиняла нам много горя, невзгод. Ребенок не только страдал физически, но иногда и отставал от своих сверстников, пропускал уроки, что его и нас чрезвычайно удручало. Как-то осенью он долго болел, врач не разрешал ему вставать с постели. Кто-то посоветовал мамочке телеграфно попросить популярного тогда о. Иоанна Кронштадтского "помолиться о болящем Александре". Глубоко верующая мамочка предложила мне составить текст телеграммы. Нельзя сказать, чтобы это поручение соответствовало моим убеждениям. Но на что не идет отец, чтобы помочь своему ребенку. И я написал такую телеграмму в витиеватых выражениях. Текст одобрили, телеграмма пошла с оплаченным ответом. Через несколько дней о. Иоанн ответил: "Будет здоров". И Шура выздоровел, встал с постели, возобновил учебу. Чудо ли это, глубокая вера или случайное совпадение? Во всяком случае мы были счастливы.

## Отец Иоанн Кронштадтский

Для характеристики о. Иоанна Кронштадтского не могу не рассказать о моей встрече с ним. Вскоре после выздоровления Шуры скончался вблизи Серпухова богатый купец Хутарев. Его семья телеграфировала о. Иоанну с просьбой приехать на похороны. Он ответил: "1500 рублей, проезд ваш счет". Необходимо отметить, что проезд о. Иоанна равнялся стоимости 12 билетов первого класса плюс стоимость пробега отдельного вагона. Говорю "отдельного вагона", так как о. Иоанну действительно предоставлялся отдельный вагон - он не мог ехать в общем вагоне первого класса из-за неизбежной давки и несчастных случаев при скоплении его почитателей. Хутаревы перевели деньги в Кронштадт по телеграфу, и о. Иоанн прибыл к назначенному сроку, даже на несколько часов раньше.

День был воскресный, на похороны явились все рабочие Хутаревской фабрики (около 1000 человек), их семьи и масса крестьян окрестных деревень, когда узнали, что отпевать покойника будет "сам Иоанн Кронштадтский". Был там и я как знакомый Хутаревых.

До обедни был сервирован чай. Площадь перед домом кишмя кишела народом. Окна раскрыты. Неожиданно раздался крик: "Батюшку, батюшку требуют!" Выглянув в окно, я увидел, как на руках, по головам передают кричащую нечеловеческим голосом женщину. Народ волновался, требовал чуда. О. Иоанн спокойно встал, вышел в коридор, потребовал ввести кликушу в дом. Я пошел за ним, стоял почти рядом с батюшкой. Когда ввели больную, она не кричала, а как-то неистово визжала. Язык, точно вырванный из гортани, болтался снаружи. Отец Иоанн обнял больную

женщину, что-то шептал, прижимая голову к своей груди. Затем резко оттолкнул больную и, глядя прямо ей в глаза, точно гипнотизируя, сам стал кричать: "Перекрестись, перекрестись!", топая ногами. Больная этого приказа не исполнила, продолжая неистово визжать. О. Иоанн несколько раз обнимал голову больной женщины, прижимая ее к своей груди, затем отталкивал от себя, приказывая перекреститься. Однако безуспешно. Тогда он сам взял ее бледную руку и этой рукой стал ее крестить, пытливо глядя в ее бессмысленные глаза, продолжая кричать: "Перекрестись, перекрестись". Больная начала успокаиваться, припадок стал проходить, рот нормально закрылся. "Чудо" свершилось. А когда женщина вышла сама на крыльцо, без посторонней помощи сама стала креститься, благодарить батюшку за чудодейственное излечение, тысячная толпа ахнула от удивления и восторга.

Стоя почти рядом с батюшкой во время совершения им "чуда", я ясно слышал, как он шептал: "Бес изыде, бес изыде...", когда обнимал голову больной женщины. Не менее оригинально о. Иоанн отпевал покойника в церкви. Он не служил, как обычно было принято, не читал, не напевал, а командовал, приказывал, как командир войскам. Наконец, после долгой службы покойника похоронили, и после поминального обеда о. Иоанн Кронштадтский уехал на вокзал. Тысячная толпа двинулась за ним "проводить батюшку". Я поспешил туда же, опасаясь несчастных случаев на маленькой станции Шарапова Охота во время прицепки вагона, окруженного наэлектризованной толпой.

И действительно, прицепить салон-вагон о. Иоанна было очень трудно. В последний момент, когда поезд уже трогался с места, я не смог в толпе проникнуть в общий поездной

вагон и застрял на площадке салона. О. Иоанн, увидев это, пригласил меня к себе, угощал чаем, долго беседовал со мной. Прекрасно помню все, что мне тогда говорил о. Иоанн Кронштадтский. Прежде всего необходимо отметить необычайно выразительные, пронизывающие глаза. Такие глаза видел в продолжение своей долгой жизни лишь два раза: у Льва Николаевича Толстого и у о. Иоанна Кронштадтского. Глаза были точно бездонны, веселы и жизнерадостны.

Когда келейник (или служка), подав чай, удалился и мы остались в салоне вдвоем, наша беседа с о. Иоанном долго не клеилась. А когда я попытался ему напомнить, что его молитва вылечила моего сына, отец Иоанн ответил: "Все зависит от веры. Кто верит, тому молитва помогает".

- Когда вы, батюшка, сегодня излечили кликушу, я стоял близко и слышал, как вы шептали ей на ухо: "Бес изыде, бес изыде". Значит, вы убеждены, что в этой деревенской женщине сидел бес, которого надо было изгнать?

- Ничего подобного, - возразил мне о. Иоанн. - Спросите в любой деревне, что такое кликушество? Вам девяносто девять человек из ста ответят: беснование. И эта баба, которую вы сегодня видели, убеждена, что в ней сидит бес, которого надо изгнать молитвой. Это я и делал так, чтобы кликуша слышала мою молитву. И, как вы сами видели, помогло. Суть в том, что с каждым надо говорить понятными ему словами. Припомните, как учат детей. Сначала ребенку говорят: я утром съел два яблока и вечером одно. Сколько всего яблок я съел? Постепенно, когда ребенок подрастет и научится считать яблоки, столы, карандаши и т.д., ему говорят: сколько будет пять да три, без указания на яблоки, сливы и т.д. Взрослому юноше цифры уже не нужны. Он комбинирует иксами и игреками. Так и здесь. Дальше беса

понятия деревенской бабы пока еще не ушли, поэтому она должна быть убежденной, что этого беса изгоняют. А если это делает Иоанн Кронштадтский, то бес обязательно изыдет. Так и случилось. Никакого чуда тут не было. Была лишь вера моя и этой больной женщины.

Таких либеральных воззрений я не предполагал у о. Иоанна Кронштадтского.

Было ли ему скучно и явилась потребность поговорить или по иной причине, но о. Иоанн разоткровенничался дальше. Он сказал мне:

- Разные бывают люди. Вот, например, Хутаревы. Умер Андрей Диомидович, оставил семье много миллионов, большой капитал. Так им обязательно подай Иоанна Кронштадтского, чтобы отец Иоанн отпевал, хоронил, тогда на том свете скажут: "Пожалуйте в рай, во фраке, при белом галстуке".

- Поглядите, - продолжал о. Иоанн, - пошел дождь, приближается осень; скоро эта зеленая трава поблекнет, зимой сгниет, а весной вырастет новая, свежая трава. И так до бесконечности. Так же будет с Хутаревым, которого так пышно хоронил сегодня сам Иоанн Кронштадтский. Прах его сгниет, вырастет трава, которую съест корова или лошадь. А эти лошади, коровы родят других коров и лошадей. Вот и все.

- Позвольте, батюшка, - осмелился я ему заметить, - вы проповедуете переселение душ. Этот религиозный взгляд, убеждение - не христианское.

- Не знаю, не знаю, но это так, - закончил свою беседу со мной о. Иоанн.

Левая наша печать считала о. Иоанна Кронштадтского черносотенцем, и то, что я записал о моей случайной встрече с ним, не совпадает с подобным представлением. На этом заканчиваю речь об Иоанне Кронштадтском, так как записки мои и суждения начинают выходить за пределы автобиографии и нашей семейной хроники. Наконец, я ставил себе задачу дать детям материал, а выводы сделайте сами, мои милые, о той эпохе "великого обмана", если можно так выразиться.

### **Рождение Мани, 1900 г.**

18 октября 1900 года, около 9 часов вечера родилась Маня. У меня сохранился листок отрывного календаря того дня. Роды прошли легко, без всяких осложнений, хотя и наступили внезапно. При родах присутствовал наш друг и кум, доктор Василий Иванович Зембулатов, изводивший нас потом шутками по поводу пропуска спектакля Художественного театра. Дело в том, что я взял в Москве заблаговременно билеты на "Снегурочку" Островского в Художественный театр на 18 октября, и билеты эти, конечно, пропали. Не помню, куда делись эти билеты. Я их долго хранил, а затем они исчезли, о чем весьма сожалею. Если не ошибаюсь, это был первый спектакль с участием Качалова.

Новорожденную девочку назвали Марией, и как будто эта инициатива исходила от Анны Филипповны Филипповой, убедившей мамочку в необходимости некоторым образом оказать внимание Марии Егоровне, моей крестной, дети коей не имели потомства. Павел Филиппович остался холостяком, Анна Филипповна - девицей. Когда скончалась Анна Филипповна, она оставила духовное завещание (Мария

Егоровна и Павел Филиппович умерли раньше), по которому она все свои сбережения в сумме двух тысяч рублей в процентных бумагах завещала нашей Мане. Этими деньгами Маня не воспользовалась, так как в 1917 году, после переворота, все процентные бумаги были аннулированы, а свои сбережения Филипповы хранили в банковских облигациях. Говоря о несостоявшемся походе в Художественный театр в день рождения Мани, не могу не отметить влияния этого театра на мировоззрение вашей мамочки и всех нас. Мы впервые убедились, что театр не развлечение, а серьезная школа, перевоспитывающая людей, меняющая дедовский домашний обиход. Таких достижений ни Малый театр, ни театр Корша, ни иные театры тогда не имели. Припоминаю, какое влияние имела постановка в этом театре "Дяди Вани" Чехова хотя бы на Щекиных. Бросалось тогда в глаза (мне по крайней мере), что даже тетушка Анастасия Андреевна, не бывавшая в Москве несколько десятков лет, изменила свой домашний образ жизни под влиянием рассказов о забытых при отъезде с дачи ключах, об опустевшем после этого доме, об удивительной игре на гитаре Артема у теплящейся голландской печки и его напоминании, что "давно лапши не ели".

Покойная мамочка ваша, дети мои, чрезвычайно ценила Художественный театр, любила там бывать, увлекалась простотой исполнения, так похожей на живую жизнь, что мы часто забывали, что являемся очевидцами театрального действия. Благодаря связям В.И. Зембулатова, при посредстве артиста Вишневого, мы получали в этом театре билеты вне очереди и часто там бывали. Цены были дешевые, общедоступные. Так, например, кресло партера 4-5-го ряда - 1 р. 30 к., а галерка, кажется, не более 25-30 копеек.

## Рождение Бори, 1903 г.

Тихо, спокойно, без особых толчков шла наша жизнь до января 1903 года, когда приблизилось рождение Бори. Это событие принесло мамочке, мне и всем нам много тяжелых испытаний. Готовясь родить восьмого ребенка, имея опыт прежних родов, все подготовила спокойно, заблаговременно, не спеша. Когда она почувствовала приближение родов, я привез из города опытную повивальную бабку, фельдшерицу, которой мамочка и наши врачи вполне доверяли. Эта же фельдшерица принимала Варю и Маню вполне успешно, благополучно. Но возникли какие-то осложнения. Пришлось вызывать врача, а затем женщину гинеколога с Коншинской фабрики. Почти сутки эти врачи находились безотлучно у постели роженицы. Когда все средства были исчерпаны, стал вопрос о необходимости наложения щипцов. Скрепя сердце я дал на это согласие по совету доктора Зембулатова для спасения мамочки. За щипцами поехали в город. Когда щипцы уже были наложены на головку ребенка, мамочка не своим голосом стала кричать, что не надо калечить ребенка. Сверхчеловеческими усилиями она без щипцов произвела на свет здорового парня, на лбу у которого осталась лишь небольшая приплюснутость от первоначально наложенных щипцов. Ребенок был спасен. Но какими невероятными усилиями? На этот вопрос может ответить лишь врач да мать, отдающая свою жизнь за спасение своего ребенка. А может быть, и не всякая мать, а лишь такая, которую судьба подарила вам.

Боря родился в 12 часов пополудни 17 января (по старому стилю) 1903 года. По обыкновению, я сохранил листок отрывного календаря. Не приходится распространяться, как лелеяли Борю, рожденного в таких ужасных

муках и спасенного такой ценой материнских усилий. Старшие ребята-шалуны, сорванцы не давали матери возможности сосредоточить все свое внимание на Боречке. Доверять его няне казалось рискованным. Отказывая себе во многом, а может быть, даже в необходимом, мамочка пригласила к нам Розу Чайкель, младшую сестру Юзи, по тем соображениям, что, мол, как-никак все же свой человек. И действительно, Роза ухаживала за Борей прекрасно. Леля и Шура несомненно помнят (а может быть, даже и Володя не забыл) эту прекрасную девушку.

Насколько велика уже была в то время наша семья, нетрудно убедиться по сохранившемуся у меня любительскому фотоснимку, сделанному в июне 1904 года. Хотя фотография выцвела, но узнать можно всех. (Роза Чайкель во втором ряду крайняя с правой стороны. Рядом с ней тетя Маня - Мария Евгеньевна Мизгер.)

## **Семья Чайкель**

Сейчас я должен рассказать о семье Чайкель и об отношении этой семьи к нам.

Полина Абрамовна Чайкель, урожденная Шиперович, - двоюродная сестра Цецилии Владимировны (тети Цили), жены моего старшего брата Лазаря.

Наум Осипович Чайкель, по профессии винокур, работал на лучших заводах того времени, имел хорошие средства. На старости лет, видимо, оскудел и не только нуждался, а как будто даже бедствовал. Вскоре Наум Осипович скончался, и нужда семьи Чайкель увеличилась. Не тетя Цили, а мой брат Иосиф и главным образом его жена, София Осиповна, очень долго и весьма существенно помогали этой семье всем-всем,

так как Полина Абрамовна сама работать не могла, да и маленькие дети не давали возможности заняться чем-либо.

Мамочка ваша, дети мои, по своей, можно сказать, ангельской доброте также не могла не помочь Чайкелям. А когда Роза подросла, мамочка взяла ее к нам - не в качестве няньки, а как родственницу. Мне всегда доставляло удовольствие возиться с малышами, обучать их грамоте. Будучи еще холостым, я воспитывал, учил грамоте, готовил к гимназии сына моего брата Лазаря, Семена, обучал двух старших детей Чайкель - Сеню и Юзю. Когда Юзя окончил Технологический институт, он был уже женат, имел ребенка. Не имея возможности где-либо устроиться на более-менее сносных условиях, Юзя написал об этом мне в Серпухов. Начальник дороги меня ценил, и, когда узнал о нужде "моего племянника" (дети семьи Чайкель называли меня "дядей"), он велел принять Юзю на работу в отдел тяги на приличное жалование. Роза тогда уже жила у нас и собиралась съездить в гости к своим родным в Екатеринодар. Юзя достал Розе бесплатный проездной билет первого класса как сестре, якобы жившей на его иждивении. На обратном пути из Краснодара в Серпухов, при подходе поезда к Харькову рано утром Розу обнаружили мертвой (в отдельном купе). Выяснилось, что ни грабежа, ни насилия не было. Во всяком случае эта история выглядит загадочно.

### **Детей стало много, а всего остального мало**

Когда дети стали подрастать, огромная наша квартира на станции Серпухов оказалась только-только в пору этой огромной артели. Надо было всех одеть, обуть, иногда и принарядить. Одновременно учились Леля, Шура, Володя,

Вася, а малыши-сорванцы с утра до вечера гоняли по сквозным коридорам. Одной обуви сколько требовалось? Я теперь даже приблизительно определить затрудняюсь. А брюк, платьиц, штанишек, чулок, калош и т.д.? Конечно, мы были стеснены в средствах. Все же мамочка умела выходить из затруднения. Каким образом? Во-первых, кроме моего жалованья у нее были свои небольшие средства, а затем - и это главное - она так мастерски умела своевременно одно зашить, другое заштопать, третье перелицевать, что, в конечном счете, я, она и все дети были одеты не хуже прочих, обладавших большими средствами. Содержать такую семью, каждого своевременно накормить, одеть - для этого требовалось большое умение и стремление отдать семье всего себя. Запомните крепко, дети мои, какой была ваша мать.

О так называемых "безгрешных доходах" у меня не могло быть и речи. Я их боялся как огня, никогда не имел и этим горжусь. Если про некоторых железнодорожников говорили когда-то, что, мол, "в воровстве рожден, вором был и вором остался", то ко мне это определение не относилось даже намеком. За 11 лет работы ревизором Серпуховского участка, где было так много фабрик, заводов, я лишь один раз получил от Коншина 100 рублей за выполненную по его заказу работу - я подсчитывал пропускную способность его так называемой городской железнодорожной ветви, примыкавшей к фабрике. Но это была не взятка, а плата за мой труд. Многие глядели на меня с удивлением, делали большие глаза, разводили руками (и Щекины тоже), называли шляпой, однако таким я остался и этому принципу не изменил. И мамочка ваша это одобряла целиком и полностью, как теперь говорят.

## **Рождение Коли, 1904 г.**

20 ноября 1904 года родился Коля. Роды прошли вполне благополучно, без каких-либо малейших затруднений. По счету это был девятый ребенок, шестой сын.

Мамочка быстро оправилась, встала с постели в нужное время и уверяла, что "родился такой красавец, которому нет подобного". Всякая мать любит своих детей, но наша мамочка в этом отношении стояла выше других. Отсюда, видимо, возникла наша семейная традиция спрашивать маленьких: "А кто у нас лучше всех?"

Почему новорожденного сына называли Николаем, я не помню. Помню лишь, что были парадные крестины с какими-то необычайными закусками, угощениями - не по нашему карману. Об этом расходе долго вспоминали, как о трате не по средствам.

## **25-летний юбилей моей непрерывной работы на транспорте, 1905 г.**

В начале 1905 года приближался 25-летний юбилей моей непрерывной работы на транспорте. Об этом я, конечно, и сам знал, а окружавшие меня сотрудники намекали на готовившееся торжество. Я не ожидал такого внимания от сослуживцев и своих подчиненных. За несколько дней до знаменательной даты ко мне явилась делегация в составе начальника участка пути, инженера Узембле, начальника депо Ревенского и начальника станции Берендеевского. Они попросили дать им адреса моих старших братьев, чтобы пригласить нас всех на обед, устраиваемый в честь моего юбилея, 25 марта, в квартире Берендеевского. Пришлось

кланяться, благодарить. Мамочка наскоро сшила себе парадное светлое платье.

Оказалось, что собираются чествовать не только меня, юбиляра, но и моих старших братьев, также старых железнодорожников, воспитавших меня с юношеских лет после смерти отца нашего. Такого внимания я не ожидал, это было выше моих предположений. Не думал, что достигну такой оценки со стороны общества железнодорожников. Наступил этот знаменательный день - с утра стали поступать телеграфные приветствия, а около полудня явилась делегация от станций моего участка. Начальник станции Ока-пристань Кудрявцев, старейший по возрасту, произнес торжественную речь, смысл коей сводился к тому, что я не только краше и умнее всех, но и добрее, в своей работе никому не причинил зла. Поэтому, мол, мои товарищи и сослуживцы просят меня принять от них подарок и адрес в папке.

Я был сконфужен и в первый момент не знал, что ответить на такое приветствие. Затем овладел собой и поблагодарил за внимание не по заслугам.

За это время мамочка успела распорядиться насчет кофе и пригласила всех в столовую. С дневным поездом приехали из Курска мои старшие братья Иосиф и Лазарь, вызванные распорядителями юбилейного обеда. Все явились с дамами, парадно одетыми. Точно не помню, но можно с уверенностью сказать, что принявших участие в обеде было не меньше пятидесяти человек. Меня с мамочкой, конечно, усадили на почетное место, в красном углу. Речам, приветствиям, всяким пожеланиям мне, мамочке, всей нашей семье не было конца. Даже было обращено внимание на официальную дату моего зачисления на службу 25 марта -

день Благовещения, когда "по народному поверию, и птица гнезда не вьет". А я, мол, свил хорошее, прочное гнездо. Такое гнездо, что "дай Бог каждому". Я не знал, счесть ли это комплиментом или упреком, а пришлось отвечать на все тосты. Очень милую речь произнесла Лидия Ивановна Зембулатова. От имени дам она приветствовала мамочку, "создавшую эту славную семью труда и талантов". Мамочка сконфузилась и прослезилась. Зачитывали полученные приветственные телеграммы - неожиданной и трогательной явилась телеграмма из далекой Читы от моих агентов Лихачевского и Бредихина, командированных на Забайкальскую дорогу почти за три года до моего юбилея. Приятно было осознавать, что мои сотрудники, находясь за 4 тысячи верст не забыли меня поздравить. Я, конечно, аккуратно сохранил отрывной листок стенного календаря от 25 марта, меню обеда, нарисованное от руки инженером Антошиным, и все телеграммы.

Вот текст меню:

*Обед 25 марта 1880-XXV-1905*

*Водка-закуска*

*Суп раковый*

*Расстегаи*

*Севрюжка паровая*

*Жаркое*

*Дичь разная*

*Осетрина*

*Салат.*

*Парфе ореховое, Кофе*

- Ну, моя маленькая женушка, итак, мы отпраздновали серебряную свадьбу с транспортом, - начал я, - отпраздновали и как будто неплохо. Как судьба нам сулит отпраздновать золотую?

- Нет, я до этого не доживу, - ответила Юличка, - не по силам. А сегодня было хорошо, радостно за себя, за тебя, за наших детей. Подумай: я осталась сиротой после смерти матери. Впоследствии, когда я подросла, старуха-нянька мне говорила не раз, что мама моя, умирая, за несколько минут до своей смерти благословила меня на счастливую жизнь. Но подумай только, мой дорогой, что меня ожидало? Насколько себя помню, отец, человек слабой воли,пил горькую после смерти матери. Сошелся с нашей экономкой, соблюдавшей лишь свои карманные интересы. О нас, детях, никто, кроме старухи-няни, не думал. Мы росли, как говорят на юге, "як горох при дороге". И выросли полузнайками. Лишь мой брат Володя окончил школу, а все остальные полуграмотные: еле-еле... Что ожидало меня в Сергеевке? Не знаю, не знаю. Но вот я встретила тебя, человека иной среды, полного жизни, энергии, работоспособного, жизнерадостного. С первых дней твоего приезда в Золотухине, ты еще у нас не бывал, не знал нас, а в Сергеевке уже все тебя знали. Почему? Я тогда не могла бы ответить на этот вопрос. И вот я как-то собралась ехать в Курск, увидела тебя на платформе, и у меня точно сердце оборвалось, застыло, перестало биться. Я ничего не сознавала, не чувствовала, предчувствовала что-то хорошее и невольно подумала: хорошо жить на маленькой станции - чисто, уютно, нет деревенской скуки... О дальнейшем я не думала, так как не могла себе представить тогда, что судьба нас соединит. Ты такой важный, гордый, крупный, из другой среды, не дворянин, а я - столбовая дворянка, маленькая,

невзрачная, малограмотная. А случилось по-иному. У нас уже большая семья, растим детей. Старшей дочери скоро 15 лет, почти невеста. Живем хорошо, значит, Богу угодно. И все, мой дорогой, было бы еще лучше, если бы ты не ворчал. Говорят, и твой покойный отец любил поворчать - это у вас наследственное.

На такую исповедь самого близкого человека я ответил приблизительно так:

- Помнишь ли, моя дорогая, после рождения Шуры приехала к нам в Золотухино моя старшая сестра? Как говорится, по ее носу видно было, как недоверчиво, недружелюбно она, появившись у нас в доме, оглядывала меня, тебя, наших детей. Все же, когда моя сестра уезжала через несколько дней из Золотухина, она мне сказала:

"Да, братец, ты, видимо, в рубашке родился, судя по твоей удачной счастливой женитьбе. Береги свою достойную жену". Этими несколькими словами умная еврейка поставила, что называется, крест на вековой национальной розни. О дальнейшем не говорю - ведь вся наша жизнь как на ладони. Скажу лишь еще раз то, что давно повторяю многократно: да, верно, я по природе ворчлив. По мере сил стараюсь превозмочь этот недостаток, но не всегда удается. А в остальном благодаря твоей доброте ведь между нами не было разногласий. Идет шестнадцатый год нашего счастливого супружества, проживем еще столько, сколько сулит нам судьба, и так же счастливо - мне надо было родиться в рубашке, чтобы встретить тебя, которая не только отдала мне всю свою жизнь без остатка, но и заставляет меня трудиться, чтобы из местечковых переулков выйти на большую дорогу. Спасибо, спасибо, дорогая! Пишу эти строки 27 марта 1936 года, через 31 год после этого

знаменательного юбилея. Почти никого уже не осталось из числа присутствовавших на моем юбилейном обеде. А бумажки сохранились все - я их сберег. Сохранят ли эти бумажки, вещественные доказательства живой жизни мои дети, внуки? Будут ли эти бумажки иметь для них такое же огромное моральное значение, как для меня, или нет? Кто знает?

Постигнут ли они, как причудливо, своеобразно разрисовала судьба мой жизненный путь и как все приходилось вырывать зубами у этой судьбы. Но я вновь забегая вперед.

День моего юбилея работы прошел блестяще. Парадный обед, речи, чествования меня, моей семьи, моих старших братьев не могли пройти бесследно. Я, что называется, раскис, осознал, что жизнь проходит не даром, создается что-то новое, не похожее на далекое прошлое моих предков. У меня сохранились две фотокарточки: одна снята приблизительно в 1880 году и другая в 1905 году после юбилея. Поглядите, дети мои, чем я был и чем стал.

Помню, в тот вечер, когда все торжества закончились и дети наши уснули, мы остались с мамочкой вдвоем и не могли не поделиться своими восторгами. Ведь на дороге немало старых агентов, были уже юбилеи других, почему же их чествовали не так пышно, торжественно, не так парадно? Мамочка решила этот вопрос легко: "Значит, так Богу угодно". Что ж, пусть так. Сказал же кто-то из философов: если Бога и нет, то его обязательно надо было бы выдумать.

По заведенному порядку я каждый вечер, ложась спать, обходил своих детей, целовал их спящими. На сей раз, после шумного юбилейного дня, целуя детей, я не мог не задаться мыслью: а что ждет их в жизни, как они пройдут свой жизненный путь? И вспомнил дивное лицо своего отца,

которого в детстве часто видел у своей постельки, глядящим в упор на меня, сонного или полусонного. Правда, давно это было, но тем радостней, приятней вспоминать. В голубоватом тумане не то вспоминается, не то чудится родной городишко, отцовский дом, униженные, затравленные евреи...

### **Железнодорожная забастовка 1905 г.**

Осенью 1905 года возникла железнодорожная забастовка. Я сначала ничего не понял - как, отчего, почему на нашей дороге прекратилось движение поездов. На запросы по телефону Москва не отвечала. Впоследствии выяснилось, что руководители забастовки захватили лишь главные узлы: Москву, Тулу и т.д., игнорируя промежуточные остановочные пункты, находившиеся в техническом отношении в прямой зависимости от главных узлов. А так как в мой участок ни Москва, ни Тула не входили, то я оказался отрезанным от центров. Надолго ли прекратилось движение поездов, мы не знали и не могли предвидеть. В поездах Москва - Севастополь тогда еще не было поездных буфетов, поэтому я полагал более целесообразным задержать курьерский поезд в Серпухове. Но волнующиеся пассажиры настоятельно потребовали отправки, уверенные, что забастовка прекратится через два-три часа, пока поезд будет находиться в пути до Тулы. Это предположение оказалось ошибочным, и курьерский поезд простоял около трех дней на глухом безлюдном разъезде Скобелеве, в восьми верстах от Тулы. Конечно, пришлось потушить паровоз, не хватало воды, пассажиры голодали. Другой пассажирский поезд, отправленный из Серпухова до возникновения забастовки, застрял на станции Бараново. И эти пассажиры тоже взвыли

от голода, питаюсь хлебом и еще чем-то, что можно было купить в ближайшей деревне. Но и пойти в деревню не всякий пассажир мог из-за осенней слякоти, непролазной грязи. Среди них была труппа петербургского театра Сабурова "Фарс" во главе с артисткой Грановской, и поныне успешно подвизающейся в Ленинграде в театре Комедии, уже в качестве заслуженной артистки республики. С этими артистами произошел забавный случай. Один из них купил где-то живого поросенка, которого никто зарезать не мог. Вспомнили, что в составе группы "Фарс" имеется врач. Обратились к нему с просьбой зарезать поросенка. Ничего не вышло. Выручил станционный сторож, содравший с артистов солидную по тому времени сумму за эту помощь.

К вечеру следующего дня забастовочные комитеты станций Москва и Тула сообщили, что никакие поезда не будут приняты и отправлены, поэтому пассажиров надо подкармливать на местах. Правда, многие пассажиры задержанных поездов уехали на лошадях в ближайшие города, некоторые ушли пешком, но и в вагонах осталось немало. Этих задержанных в пути людей по вине дороги мы кормили в буфетах за счет дороги.

На третий день забастовочные комитеты сообщили о предъявленных требованиях, политических и экономических, к которым линейные агенты, не принимавшие участия в забастовке, не могли, конечно, не присоединиться. Повторяю, забастовочные комитеты возникли и функционировали лишь в главных узлах: Москве, Туле, Орле, Курске.

Приблизительно 15 сентября приехало в Серпухов на лошадях много пассажиров, направлявшихся в Москву и Петербург на перекладных, так как Николаевская железная дорога (ныне Октябрьская) на линии работала нормально.

Там забастовки не было. В числе таких пассажиров, следовавших гужом, оказался великий князь Николай Николаевич, которого забастовка застала вдали от железной дороги, в его тульском имении. Как тогда передавали, Николай Николаевич ехал в Петербург будто бы по вызову царя на семейный совет по поводу предстоявшего объявления "свобод". 17 октября 1905 года, действительно, был опубликован манифест о "свободах" и утвержден доклад Витте о реформах. После этого забастовка прекратилась, и вскоре черносотенцы начали погромы. Били прежде всего, конечно, "жидов", поляков, татар и вообще инородцев. Я этих погромов не видел - миновала меня чаша сия, но газеты пестрели сообщениями. После объявления свободы печати, вместе с появлением кадетских, социал-демократических и эсеровских газет, брошюр, журналов, развернулась во всю ширь агитация черносотенных газет, обвинявших "жидов", Витте и иже с ними в ограничении самодержавия царя. Травить Витте как министра было рискованно, но как женатого на еврейке можно было обливать помоями сколько влезет. Так, видимо, некоторыми понималась свобода печати.

Я лично впервые свободно мог читать тогда левые газеты, которые до того попадались редко, случайно и проглатывались ночью тайком.

Лишь после декабрьского восстания того же 1905 года я уяснил себе смысл и значение этого движения. Но тогда уже начались правительственные жестокие репрессии: аресты, ссылки, судебные процессы. Я лично, имея на руках огромную семью (восемь человек детей) и являясь единственным кормильцем, держался в стороне от политического движения, будучи, надо полагать, трусом по

природе и политически, как теперь говорят, неграмотным. Все же на меня, как мне казалось, жандармы глядели подозрительно, что называется в оба, так как мой племянник и воспитанник Семен Вайнштейн, член Петербургского Совета рабочих депутатов 1905 года, был арестован и изредка упоминался в газетах. Мало того, когда на юге вновь возникли погромы, мне, не стесняясь, указывали, что во всем сами "жиды" виноваты. Надо было убереечь детей от этих оскорблений, и я делал все, что от меня зависело. Мамочка тоже боялась и всячески их оберегала.

Правда, был такой случай. Сима, находившийся в тюрьме, решил жениться на своей невесте Татьяне, которая как жена могла бы последовать за ним в ссылку. Само собой разумеется, что и Татьяна была у полиции на подозрении - она ходила к Симе на свидания в тюрьму, носила ему передачи, называясь его невестой. Чтобы оформить "законно" этот брак, так как Сима уже был крещен и числился православным, Татьяна обратилась к мамочке с просьбой оформить ее крещение в православие и принять на себя обязанности крестной матери. Невзирая на усиленно распространяемые в то время черносотенными газетами сведения о том, что забастовка и восстание - дело рук "жидов", мамочка не постеснялась присутствовать в церкви при обряде крещения Татьяны, хотя и под надзором полиции. Как искренне и глубоко веровавшая, мамочка была весьма довольна обращением еще одной грешной души в лоно православной церкви, сознавая в то же время, что это совершилось по необходимости. Венчались Татьяна с Симой в церкви Бутырской тюрьмы. Мамочка горевала, что не могла туда проникнуть.

После окончания судебного процесса над Советом рабочих депутатов в Петербурге, где был осужден и наш Семен, начались процессы во многих провинциальных городах. Вся страна притихла. Родные осужденных собирали деньги для отправляемых в Сибирь. И для Семена мы собирали, чтобы обеспечить его далекое путешествие в арестантском вагоне. Деньги были переданы тюремной администрации вместе с закупленными теплым платьем, бельем и обувью. Кроме того, какая-то сумма была зашита в полушубке, по указанию Симы, на случай побега. Тогда уже было известно, что при желании побега с места ссылки необходимо дать исправнику или еще кому-то определенную мзду за то, чтобы этот полицейский чин "обнаружил побег" на несколько дней позднее, когда бежавший ссылный уже находился вне пределов досягаемости. Конечно, такой побег можно было совершить лишь после водворения осужденного на место ссылки. Не помню точно, когда именно, но из газет стало известно, что Семен бежал за границу позднее многих, с ним одновременно осужденных. Конечно, его искали, но безуспешно.

### **Как росли, учились, чем интересовались наши дети**

Мне, конечно, очень хотелось бы рассказать, как росли, учились, чем интересовались наши дети. За завесой многих прошедших лет не все теперь рассмотришь слабым, 75-летним зрением. Все же попытаюсь, в уверенности, что дети сами пополнят мною упущенное и дадут оценку нам как родителям.

Леля росла тихой скромной девочкой. Усердно молилась "за папу, маму, бабушку и всех сродников", уверенная, что Богородица услышит эти молитвы и сделает так, как она просит. Училась сносно, хотя были мелкие перебои. Тогда, по совету матери, она прибегала к помощи молитв, ставила свечи пред иконой, чтобы Господь выручил. И Он выручал иногда. Это было, конечно, в раннем детстве, а затем само собой испарилось. Молчаливая, застенчивая, Леля не выделялась шалостями. Приблизительно лет с десяти Леля уже помогала матери - умывала, одевала Шуру и затем Женю, Володю. Гуляла с ними, любила их причесывать, прихорашивать. В этом, мне казалось, проявлялось естественное женское материнское чувство, стремление помочь матери и в то же время - поиграть с живыми куклами. Леля была старшей из наших детей.

Следующая девочка (Варюша) родилась после четырех сыновей - в декабре 1898 года, когда Леле шел уже девятый год, поэтому естественно, что на Лелечку смотрели как на помощницу матери. Это ей внушалось не только ходом событий, так сказать, хронологически, но также Марией Егоровной Филипповой и ее дочерью Анной Филипповной.

Павел Филиппович не обзавелся семьей, Анна Филипповна не вышла замуж, и мечта Марии Егоровны иметь внучат не осуществилась. Поэтому вся любовь была отдана моим детям, и прежде всего Лелечке как старшей. Мария Егоровна ее называла внучкой и так и представляла своим близким: "Моя Лелечка хоть и не в Москве живет, а будет получать лишь пятки", то есть высший балл за учебу по пятибалльной системе. Прекрасно сохранилась фотографическая карточка Лелечки около шести лет .

Шура. Старший мой сын, родившийся 23 ноября 1891 года на станции Золотухино здоровым бутузом. Как и всех, мать кормила его грудью, но лишь около шести месяцев, так как заболела брюшным тифом. Не знаю, насколько отразилось вынужденное искусственное питание на состоянии здоровья ребенка в дальнейшем, но в то время Шура был совершенно здоров, глядел крепышом. Начал ходить самостоятельно в десять месяцев, солидно вышагивал с сознанием собственного достоинства. Бывая с матерью в церкви, Шура быстро воспринял некоторые детали церковной службы и в возрасте четырех лет стал удачно подражать всему виденному: надевая на плечи одеяло вместо рясы, он втыкал в плетеное сиденье венского стула лучинки, якобы церковные свечи, и, размахивая, как кадиллом, самоварной крышкой, привязанной к бечевке, припевал: "Господи помилуй, Господи помилуй". Затем повторял еще какие-то церковные напевы, поэтому сложилось мнение, что Шура будет попом. Этого не случилось.

О болезни Шуры я уже писал. Писал также, где и как его лечили, к каким способам прибегали. Остается сказать, что я сам лечил Шуру, по личной своей инициативе и стремлению помочь во что бы то ни стало. Еще в возрасте пяти месяцев у Шуры бывало нечто вроде обмороков, лишения чувств. В этих случаях мамочка накрывала его с головой красным одеялом. Оставляла в покое, полной тишине. И действительно, через несколько минут ребенок оживал, приходил в себя. Если не ошибаюсь, эти припадки называли "младенчески-ми". Но я сам как лечебное средство признавал лишь воздух, воду, солнце. И мне казалось, что так же надобно лечить детей. Обтирать маленьких детей холодной водой я не

решался, так как мамочка сама купала ребят, не доверяя этого никому. Дети всегда были чисты, опрятны, много времени гуляли на свежем воздухе, прекрасно питались. Но вот насчет солнца, мне казалось, надо что-то добавить. Я верил в действие солнечных лучей и устроил свой комнатный солярий для детей. Шуру я грел в комнате на подоконнике много раз, подставляя солнечным лучам его грудь, спинку, ножки.

Я и теперь, через 45 лет после применения этого способа лечения, убежден, что солнечные лучи действительно тогда помогли Шуру. И я счастлив этим сознанием.

В приготовительный класс Серпуховской гимназии Шура поступил девяти лет отроду.

Женя. По своим душевным качествам он мне представлялся - и я сейчас в этом убежден - ребенком не от мира сего. Он никогда не грустил, не жаловался на что бы то ни было, находя утешение, удовлетворение в чем угодно, лишь бы не хныкать, не грустить. Я и сейчас мысленно вспоминаю его прекрасные глаза, полные доброты, ласки, преданности.

Почему-то мамочка одевала мальчиков в платьица до известного возраста. Это выпало и на долю Жени. У меня сохранился такой его снимок. Не помню, когда он был сделан, но полагаю, задолго до 10 сентября 1898 года, дня кончины Жени. Карточку считаю неудачной, не отражающей прекрасных черт этого выдающегося ребенка.

Володя. Я уже писал, с какими невероятными длительными страданиями для мамочки было сопряжено рождение этого ребенка. По своей природе Володя не был таким полным, гладким, пухлым, как Шура, но рос и развивался нормально, хотя и был не в меру живым, шустрым. В его глазках блестела отвага, решительность, стремление

преодолеть всякие трудности, ни перед чем не останавливаясь. Самостоятельно стал на ноги и зашагал смело, без посторонней помощи раньше всех моих детей. Живой, стремительный, он не мог спокойно оставаться в одном положении даже самое короткое время. У меня в семье был обычай фотографировать детей в возрасте семи-восьми месяцев. Пытались снять и Володю у опытного в этом отношении фотографа. И сколько он ни бился с помощью игрушек и всяких свистулек, ничего не вышло: задержать внимание ребенка на несколько мгновений было невозможно. Только поэтому первый снимок Володи удалось сделать лишь на руках у мамочки. Такой снимок у меня сохранился, конечно.

В дальнейшем он оставался среди ребят затейником, изобретателем всяких игр. Находясь среди старших, уже проходивших учебу (Леся и Шура), Володя рано научился грамоте. Учебу начал с подготовительного класса Серпуховской гимназии. Учился хорошо, получал при переходе из класса в класс награды. После моего переселения на Урал учился в Пермской гимназии.

Варя. Росла, развивалась нормально, выделяясь, как девочка, необычайной стремительностью, поспешностью действий. Ей всегда было некогда, все делала торопливо, спешно. Отсюда ряд происшествий, главным образом с посудой. Посуды она перебила невероятное количество. Припоминаю такой случай. Для чего-то я достал оконное стекло. Опасаясь, что лист могут разбить, я спрятал его от ребят над дверью, во фрамуге. Но Варя умудрилась где-то достать лестницу, влезть на эту вышку и там вдребезги разбить лист стекла. Высший номер акробатики и ловкости для девочки. Говорю "для девочки", так как мамочка считала,

что девочки должны расти скромными, степенными, как кисейные барышни, "не быть отчаянными". Варюша не оправдала этого ожидания: она отчаянно шалила. Резвилась, никогда спокойно не сидела на одном месте, за что девочки прозвали ее "Ваней". В раннем детстве, отчаянно бегая на гигантских шагах, серьезно поранила губу.

Научилась грамоте шутя, случайно, под влиянием дочери моего сослуживца, квартировавшего в здании Серпуховского вокзала рядом с нами. В раннем детстве обнаружила стремление к музыке, рисованию и изящным искусствам. Прекрасно рисовала масляными красками, изящно вышивала по канве, считаясь талантливой рукодельницей и способным художником- самородком в детстве, танцевала. От мамочки Варя унаследовала заикание. Мы Варю лечили в Москве, в особой школе, у какого-то иностранца, тратили на это немало средств, но безуспешно. Как нас уверяли, это следствие ее необычайной природной торопливости, стремлении всегда, во всем, всячески спешить. Кстати, о заикании.

В свое время у Юлички и ее брата Володи этот недуг прошел, когда они стали бороться с торопливостью в своей речи и действиях, отделались от спешки.

То же я видел в семье Филипповых. Павел Филиппович обычно говорил медленно, несколько нараспев. Мне объяснили, что это результат лечения заикания, от которого он отделался, только лишь преодолев свою детскую торопливость и став все делать степенно. Его сестра, Анна Филипповна, говорила без малейших признаков заикания.

В гимназию Варюша поступила уже на Урале и там же, в Перми, успешно окончила среднюю школу. Но об этом речь будет впереди.

Маня. Своей внешностью Маня резко выделялась среди остальных наших детей: черты ее лица, выражение глаз были нежнее, изящней, что мамочка и наша домашняя учительница, Мария Петровна Меньшова, весьма ценили, уверяя, что девочка должна быть интересной, красивой, чтобы иметь успех в жизни. Не берусь судить, насколько основательны подобные суждения, но мне казалось, что она стала кокетничать, если можно так выразиться, чуть ли не с того времени, как впервые в жизни самостоятельно шагнула, став твердо на ноги. Росла Маня доброй, ласковой девочкой. Не шалила, как Варя, даже как будто не резвилась, поэтому в большинстве случаев оставалась чистой, причесанной аккуратно. Не помню, когда, при каких обстоятельствах Маня научилась грамоте, но особым усердием она не выделялась среди остальных наших детей. Гимназию прошла сносно, ни в одном классе не застряла.

Вася. Первый ребенок, родившийся в Серпухове, в нашей новой вокзальной квартире.

Крестины Васи были обставлены пышно, парадно. Не знаю почему, но на Васю возлагались большие надежды. Рос Вася тихим, скромным мальчиком, застенчивым, за что старшие братья, как я уже писал, дразнили его "Пульхерией Ивановной". Я уже упомянул, что почему-то решено было отдать его не в гимназию, как старших, а в реальное училище, поэтому его отправили в Курск, к тете Мане. Сложилось ощущение его отчужденности от семьи - по сравнению с остальными детьми, остававшимися под теплым крылышком мамочки. Это длилось лишь один год, так как с нашим переселением на Урал я перевел Васю в Пермское реальное училище. Но с какими невероятными затруднениями удалось осуществить этот переход!

Учеба его шла непросто, но держал он себя важно, с достоинством. Сложилось даже мнение о его джентльменских навыках, привычках. О нем еще в детстве говорили: "Вася-джентльмен".

По окончании реального училища Вася поступил в Московский коммерческий институт, но вскоре (во время империалистической войны) был мобилизован, как и все учащиеся призывного возраста, отправлен в военное училище. Поэтому вуза он не окончил. Попал в театральное училище, оттуда на сцену.

## В Варшаве и Владимире

### Поездка в Варшаву, 1900 г.

В начале 1900 года, кажется, в феврале, мне впервые пришлось поехать на Запад, в Варшаву. Необходимо отметить, что, несмотря на возможность получить бесплатные проездные билеты, я за всю жизнь так и не удосужился побывать за границей. Почему? Правда, не знаю. Определенного ответа на этот вопрос дать не могу, не в состоянии. Могу лишь объяснить это природной местечковой косностью и страхом.

Я уже упоминал о моих земляках, братьях Беер, также транспортниках, работавших на Юго-Западных железных дорогах. Младший Беер, Юлий, был одно время начальником пограничной станции Волочиск. Если я обращался к нему с запиской, Юлий Беер легко добывал бесплатные билеты по австрийским дорогам до Вены и далее. Был даже случай, когда Юлий Беер дал по моему письму четыре бесплатных билета начальнику станции Курск Киберу и его семье.

Итак, лишь в сорокалетнем возрасте я впервые поехал в Варшаву. Правда, Варшава находилась не за границей, а в России, но все же город особенный, не Курск и даже не Москва. В Варшаве работал старший брат Юлички, Владимир, незадолго до того женившийся. Он усиленно звал нас к себе в гости.

Поехали я и Елена Евгеньевна (Леночка) по бесплатному билету моей жены, конечно, в вагоне I класса. Почему Юличка не поехала тогда в Варшаву - не помню. Думаю, не хотела оставить ребят без должного призора.

Линии Москва-Брест и в особенности Брест-Варшава произвели на меня отрадное впечатление. Действия железнодорожников во время стоянки нашего поезда на станциях были корректны, тверды, разумны. Чувствовалась близость Европы, постепенное удаление поезда от "Пошехонья". Так, например, на какой-то маленькой станции около Бреста дежурный помощник начальника станции приказал кондукторам нашего поезда быстро пройти по вагонам, спросить пассажиров - кто будет завтракать, так как завтрак будет подан в вагон на следующей остановке. На следующей остановке явились в вагон официанты с огромными подносами, чтобы покормить пассажиров на ходу поезда. Многие требовали "кулишек вудки", закусывали, пили чай, кофе - и уже затем официант спрашивал, кто что ел и пил. Официанты быстро, без малейших недоразумений со всеми рассчитались и со словами "дзенкую, пане" оставили поезд на следующей станции. Это не было похоже на наши порядки в вокзальных буфетах средней полосы России. При объяснениях с пассажирами железнодорожные агенты козыряли, старались угодить, были предупредительны, изысканно вежливы, выдерживая, однако, польский "гонор".

При тогдашней политике обрусения края железнодорожникам было запрещено говорить по-польски, но эти указания, видимо, не соблюдались, и по-польски говорили не только поляки, но и русские. Исключительное внимание мне оказал начальник станции Варшава, когда я к нему обратился с просьбой обеспечить купе для обратного поезда в поезде Варшава-Москва.

Варшава резко отличалась от Харькова, Киева, Москвы своей опрятностью, чистотой. Там я впервые увидел, как

мыли швабрами и мылом обыкновенные мощеные улицы, как люди извинялись, случайно задевая друг друга в толпе; вагон конно-железной дороги, разделенный на две части: для чистой публики и простого народа - для "хамов", как выражались ясновельможные паны.

Не могу не отметить такой эпизод. Мне понадобилось послать телеграмму, поздравить дедушку Аркадия Ионовича Щекина с днем рождения. Я сдал свою депешу на пассажирской станции Варшавско-Венской дороги. Дежурный телеграфист в мундире с высоким, почти до ушей, воротником, белом воротничке, манжетах не был похож на нашего телеграфиста-замазулю. Получив деньги, этот чиновник вопросительно посмотрел на меня: мол, что вам еще угодно?

- А квитанция? - вопросительно обратился я к нему.

- Как, разве мне не верят? Ведь ваша депеша поздравительная, а не коммерческая, зачем же вам квитанция?

- Да, но такой везде порядок.

Оказалось, что за квитанцию, кроме того, в Польше полагается особая плата (5 копеек). Я был сконфужен, так как у нас, в России, квитанция особо не оплачивалась, считалась обязательной - "на всякий пожарный случай". И квитанция не казалась излишней, так как само собой подразумевалось, что без выдачи квитанции телеграфист обязательно присвоит депешную плату, а телеграмму уничтожит. Таковы были времена и нравы.

Пришлось мне быть в варшавском, так называемом государственном театре. Смотрел балет "Лебединое озеро". Я ничего не понимал и не понимаю в хореографии, но так как польский балет считался выдающимся, то пошел

посмотреть. По-моему, балет как балет, такой же, как в Москве, а вот внутренний театральный распорядок иной, европейский. Не знаю, как на галерке, а в партере и ложах для каждого зрителя был отдельный бинокль (бесплатно) в особом футляре, прикрепленном к спинке впереди стоящего кресла или же барьера. У меня возникла мысль: как же так, неужели беспризорные бинокли не пропадают? Оказалось - нет, не было случая похищения или пропажи бинокля, принадлежащего театру. Чудеса, да и только.

После театра Володя предложил выпить чаю в цукерне (кондитерской). Мы засиделись, пришлось ехать домой на извозчиках. Типичный польский кучер, молчаливый, как мумия, с длинным-предлинным батогом (кнутом) в руке. По таксе любая поездка для одного пассажира стоила 20 копеек, для двух - 30 копеек. Зная это, я оплатил следующее извозчику. Каково же было мое удивление, когда извозчик, вернув мне деньги, достал из кармана свои часы и молча ткнул пальцем в циферблат. Я ничего не понял, а извозчик молчал. Пришлось обратиться за разъяснением к моей спутнице, Елене Людвиговне, жене Володи, коренной варшавянке. Оказалось, что мы подъехали к нашему дому после полуночи, в 0 часов 10 минут, а после полуночи такса удваивалась. Я, конечно, оплатил следующее, но казалось странным, почему извозчик не объяснил свои претензии, а молча ткнул перстом в циферблат часов? В дальнейшем я узнал, что по положению извозчик обязан был говорить со своими пассажирами лишь по-русски. Но они этого не хотели, всячески противились, поэтому с незнакомыми объяснялись мимикой.

Нет, это не Курск, не Москва, где, нанимая извозчика, торгуются до исступления, орут на всю улицу и, если в

конечном счете не дали извозчику на чай сверх условленной платы (хотя бы пятак), он тебя обязательно облает, а то и ругнет матерщиной. В то время имела большой успех книжка известного талантливого журналиста, сотрудника либеральной печати Владимира Михневича "Варшава и варшавянки". Я эту брошюру, конечно, прочел и, начиненный сведениями Михневича, приглядывался ко всем и всему на месте.

Осматривая город совместно с Володей, я не мог не обратить внимания на старинные костелы, запущенные, точно ободранные. Оказалось, что бездарное царское правительство запретило ремонтировать здания костелов, видимо, предполагая, что со временем католические храмы развалятся и исчезнут. Такова была политика русификации. А старинные здания церквей как назло по-прежнему стойко оставались на своих местах, возбуждая злобу, ненависть польских патриотов к русским чиновникам и их порядкам. Поэтому костелы были всегда открыты для молящихся. Я заходил в один из таких костелов несколько раз не во время церковной службы. Однако всегда находил там горько плакавших старушек. Я спросил: отчего, почему плачут эти женщины? Мне ответили: они оплакивают родную Польшу, молят Бога о восстановлении польского государства.

Для евреев Варшава была доступна во всех отношениях, там они могли селиться, торговать, работать сколько угодно. Варшава - настоящая, законная "черта оседлости" и в то же время большой культурный город. Благодать! Если я не ошибаюсь, в то время в Варшаве и, вероятно, во всем Польском крае не соблюдалась процентная норма в учебных заведениях для евреев: университет, гимназии, реальные и коммерческие училища были переполнены евреями. Зато в

Варшаве была "русская гимназия". Да, русская. Так и называлась, потому что туда принимались лишь православные, а католики, евреи и дети иных вероисповеданий не допускались вовсе в это привилегированное учебное заведение. Так проводилась политика обрусения края.

Жена Володи , Елена Людвиговна (мать Верочки , Коли и Марины), окончившая русскую гимназию в Варшаве, мне рассказывала, с каким трудом она попала в это учебное заведение будучи православной. Ее отец - католик, а мать - православная. По законам того времени детей подобных смешанных браков родители обязаны были крестить в православных. Как полагалось, ее окрестили по православному обряду. А через 10 лет, когда девочку решили отдать для учебы в первую "русскую" гимназию, возникло затруднение, так как имя отца Людвиг - не русское. Потребовалось разъяснение министерства (из Петербурга), и лишь после этого десятилетия Леночка, по документам православная, была принята в первый класс "русской" гимназии.

Пробыв в Варшаве около 10 дней, занятый осмотром города, театров, дворцов, музеев, я не имел возможности ознакомиться с бытом, нравами "свободных" польских евреев, но зато видел специальный их рынок, "еврейский" , у железной брамы (брама - ворота).

Не рынок, а большой город, с несметным количеством еврейских лавок, магазинов, ларьков, будок не только в каменных корпусах, но и на улицах, площадях, тесных переулках, дворах. Все продают, все покупают: от бриллиантов до ржавых, старых искривленных гвоздей и гнилых яблок. Не рынок, не базар, а бестолочь, ярмарка. Все говорят, жестикулируют, кричат, стараясь перекричать друг

друга. Ни одного русского слова: между собой говорят по-еврейски, с покупателями (не евреями) - по-польски. Покупателей в свои лавки не только зазывали, но и тащили за рукава, за фалды. Было это и со мной. В конечном счете я купил Юличке отрез на платье, и эта моя покупка имела большой успех по своей добротности и прочности. Конечно, торговаться можно было до бесконечности, до исступления.

Видимо, велика была конкуренция, поэтому порядок был такой: покупателя из магазина, лавки не отпускать без покупки. Сколько для сего требовалось умения изворотливости? Не торговцы, не лавочники, а великие артисты. Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет - и всяк на свой лад.

Совсем иное я наблюдал в центре города, на лучшей улице Маршалковской в польском магазине, где с нами объяснялся важный пан, хотя по виду и захудалый. Мы зашли купить перчатки. Варшавские перчатки всегда считались лучшими по качеству, а значит, являлись прекрасным подарком. Нам показали много перчаток разной цены, разных достоинств. Елена Евгеньевна спросила: нельзя ли уступить? Пан, заявил: "Торгуются лишь у железной браны, где запрашивают, а у нас этого, моя пани, нет". Быстро собрал с прилавка все выложенные перчатки и спрятал. Леночка была сконфужена. Не менее оригинальный эпизод имел место в фотографии.

Местные газеты поместили объявление большого частного ателье о том, что они прекращают печатать рекламу в газетах и на эти деньги выдают заказчикам премии: бесплатно увеличенные портреты. Пошел туда и я. Оказалось, что цены обычные: 10 рублей дюжина карточек кабинетного размера и бесплатно большой портрет, стоящий

не менее 5 рублей. В чем же секрет? Никакого секрета, а обычный разумный коммерческий расчет, основанный на учете людской психологии, вечном стремлении "получить на грош пятаков".

Заказчики, конечно, желали получить свой портрет в "роскошной" раме. Теснимый конкуренцией, фотограф скупил где-то по случаю значительное количество хорошего багета, стекол и занялся выделкой недурных рам, так называемых "роскошных", дававших некоторый барыш. И если принять во внимание, что это ателье избавилось от ежемесячного расхода (более тысячи рублей) на газетную рекламу, а о "бесплатных" портретах говорила вся Варшава, то остальное ясно.

Прошло с тех пор 36 лет. И сейчас еще цел и прекрасно сохранился у меня этот "бесплатный" портрет в "роскошной" раме. Правда, за раму я тогда уплатил соответствующее количество рублей, да за стекло, да за пересылку почтой. Но это не столь важно. Нас, и меня в том числе, тогда убедили, что увеличенный портрет дается даром. Что и требовалось доказать. Так боролись за существование конкуренты в Варшаве, где на еврейском рынке всякого, носившего галстук, величали паном, женщину в шляпке - пани, солдата - кавалером, горничную или кухарку - барышней, крестьянина - купцом, рабочего - милым человеком.

Володя мне показывал дома польских магнатов, из окон коих во время восстания 1863 года стреляли в проходившие русские войска. Владельцы этих домов тогда же были расстреляны или сосланы на каторгу, а домовладения реквизированы.

Тяжелое впечатление на меня произвел бывший дворец польских королей в Лазенках. Это что-то вроде Петергофа, а

фактически музей. Музей как музей, интересный как отражение былого величия и падения Речи Посполитой. Во дворце в Лазенках сохранилась королевская картинная галерея, состоящая почти всецело из толстомордых голых баб во всех видах. Такое я вынес впечатление из осмотра королевской картинной галереи в Варшаве. Когда-то Плутарх сказал, что "не в стене заключается сила города", а в мужах, живущих за этой стеной.

Таковы были мои впечатления о Варшаве в феврале 1900 года, на пороге XX века. С тех пор я там не бывал, но у меня все же сохранилось в памяти, что в то время Варшава была опрятней, чище, благоустроенней больших российских городов.

### **К концу 1900 года у нас уже шесть детей**

К концу 1900 года у нас уже было шесть детей, а с домработницей и Марией Петровной, занимавшейся с ребятами, семья достигла 10 человек, не считая беспрестанно приезжавших гостей из Курска, Сергеевки, Москвы. Средств не хватало, ощущался недостаток в деньгах. А вместе с тем доходов, кроме жалованья, у меня не было. Работать ревизором движения в подмосковном районе, в гуще текстильной промышленности без "доходов извне" казалось многим - даже моим близким - странным, непонятным. А между тем так и было. "Безгрешные" доходы имели все, кроме меня. Я не мог себе позволить этого, не хватало смелости, силы воли, умения. А может быть, и преобладала природная трусость. Не знаю. Мои соседи по квартире, начальники станции Серпухов (а их при мне сменилось трое), не раз в пылу откровения, после выпивки

бахвалились, что если бы, мол, им дать в руки такую благодать, как мой участок, то они не были бы так "трусливы" - это был намек на мое "неарийское" происхождение, природную трусость. Но это меня не смущало, я продолжал идти своим путем. Администрация дорог, зная это, 마리новала меня в Серпухове 11 лет. Но я сознавал, что скачок из черты оседлости в начальники станции Золотухино и затем второй скачок - с маленькой станции Золотухине в ревизоры движения подмосковного участка - это надо уметь заработать. И я был прав, не поддавшись соблазну. Правда, моя Юличка, как я уже упоминал неоднократно, умела сводить концы с концами когда угодно. Но эта ситуация имела для меня и моей семьи определенное воспитательное значение: мы себе не могли позволить ничего лишнего, каждая копейка была на счету, расходовалась разумно. Дети не могли не видеть этого, не могли не воспринять.

Беговая конюшня Андрея Аркадьевича Щекина давно пользовалась громкой известностью. Его знаменитый Обер и другие лошади брали на московском беговом ипподроме и в провинции лучшие призы. Тотализатором увлекались тысячи людей: играли постоянно, выигрывали, проигрывали. Через посредство Щекина я имел возможность бывать на московском беговом ипподроме бесплатно, мог сблизиться с наездниками, нелегально узнавать, на каких лошадях надо ставить, чтобы выиграть или, во всяком случае, не быть в проигрыше. Однако меня туда не тянуло. Я как-то попал туда в большой беговой день, и, когда увидел озверевшую публику, мне все опротивело. Там, на ипподроме, люди теряли человеческое достоинство ради возможности занять

несколько рублей, чтобы купить еще один-два билета в кассе тотализатора, - авось, выиграет, повезет.

А как заискивали перед наездниками, их женами, любовницами, знакомыми, собутыльниками, чтобы выведать, на какую лошадь и когда надо ставить. Это делали не только мужчины, но и дамы света, из "общества". Противно вспомнить.

### **"Взятки" от буфетчика**

Несмотря на скромный образ жизни, дети мои, несомненно, помнят "богатое" убранство нашего стола в Рождество и Пасху. Это делал буфетчик Марков, по установленным традициям, за свой счет в квартирах всех старших агентов для угощения визитеров, являвшихся поздравить с праздником. Такие "столы" готовились у ревизора, начальника участка пути, тяги, начальника депо, врача, начальника станции, их помощников. Эти столы, полные вин, закусок, всяких деликатесов, дичи, маринадов, окороков и проч., стоившие буфетчику больших денег, являлись фактической взяткой. Противиться этой взятке было бесполезно, и я волей-неволей пошел по стопам других. Буфетчика Агея Агеевича Маркова я знал еще "мальчиком" в буфете станции Курск, где он разливал чай и мыл посуду. Когда я в первое Рождество пытался было отказаться от присланных яств, явился сам Марков и заявил, что я не вправе нарушать обычаи, освященные временем, не нами заведенные, не нами установленные. Пришлось подчиниться, пойти в ногу с другими. В этом, считаю, мой грех, если можно так выразиться.

Необходимо пояснить, откуда берут начало эти обычаи. Станционные буфеты сдавались в аренду с торгов. Арендная плата с течением времени росла, как росло количество поездов. Так, например, в начале 1890-х годов московский буфет сдавался за 1000 рублей, а через 7 лет - за 3000 рублей. Сколько платил Марков за серпуховской буфет - не помню. Но во всех контрактах было оговорено, что все сотрудники дороги (линейные и управленческие) пользуются скидкой по прейскуранту в размере 40%, а паровозные и поездные бригады - более значительными льготами.

Администрация дороги и министерства путей сообщения исходила из тех соображений, что, скажем, такой большой благоустроенный зал, как Московский вокзал, - с кухней, кладовыми, оборудованными погребом, а главное, с обеспеченным контингентом пассажиров-потребителей нигде в городе нельзя снять за три тысячи на всем готовом (ремонт, лед, мебель, отопление, освещение), поэтому буфетчик обязывался подкармливать железнодорожников, а старших агентов буфетчик еще задабривал к Рождеству и Пасхе. На всякий случай. Мол, пригодится.

Какие же реальные выгоды извлекал буфетчик из этого задабривания? Известно, что поезда должны следовать по расписанию, и к приходу каждого пассажирского поезда буфет должен быть открыт для пассажиров. Это одна сторона дела, но и другая заслуживает не меньшего внимания. Кроме договорных условий с буфетчиком (контракт на три года) существовал еще циркуляр Синода, воспреещающий продажу водки до окончания церковной службы. А так как в каждом вокзале была икона, перед которой совершались всенощные, то на это время надлежало прекратить продажу водки. Русский человек любит выпить, значит, надо как-то обойти

синодское указание. Буфетчики это умело делали, а мы глядели сквозь пальцы: мол, Бог сам по себе, а выпивка и личные удобства - сами по себе.

Кстати, о Боге. Считалось, что все были верующими, на все сто процентов, а в действительности это было не совсем так. Подражая Орлу, Туле, Курску и другим станциям, служащие станции Серпухов решили построить привокзальную церковь. Всякими правдами и неправдами собрали с "доброхотных жертвователей" около 1000 рублей, учредили Комитет по сооружению храма. Председателем должен был стать, конечно, начальник участка пути - инженер и строитель. Но начальник участка не пользовался доверием, и на этот почетный по тому времени пост служащие избрали меня.

Я был сконфужен: не инженер, не строитель, с легким подмоченным стажем православия - какой же я строитель православного Божьего храма? Но меня убедили принять это решение, основанное якобы на доверии общества. Пришлось согласиться, покрывать отсутствие знаний находчивостью. Природная черта местечковых обывателей. Церкви не построили, но около года я все же числился председателем Комитета по сооружению храма. С тех пор прошло около 40 лет, моя голова теперь уже седа, как снеговая вершина, однако и поныне не могу без улыбки вспоминать, как попал я в такие забияки.

## **Во Владимире**

Прошло лето, приближалась осень. Во Владимире, на объединенной с нами Нижегородской дороге, освободилась вакансия старшего ревизора движения так называемого IV

района. Пробыв в должности участкового ревизора движения в Серпухове более 10 лет, я являлся первым кандидатом на эту вакансию. Администрация дороги не решилась обойти очередного кандидата, и бумага благополучно пошла в Управление железных дорог, начальником коего состоял уже упомянутый мною Шауфус. И назначение это состоялось, пройдя благополучно все инстанции. Для меня это являлось - после десятилетнего сидения в Серпухове - с одной стороны, запоздалым, а с другой - чрезвычайным событием моей жизни. Во время реорганизации дорог Курская, Нижегородская и Муромская оказались в одном управлении.

Дороги, различные по профилям, техническим и бытовым условиям, оказались у одного хозяина. Задача хозяина, как нам казалось, сводилась к объединению этих дорог и людей, их обслуживающих. Курская дорога, работавшая равномерно, с напряжением круглый год, считала себя передовой в сравнении с Нижегородской, обслуживавшей ярмарку ("ярманку"). Зимой после закрытия "ярманки", прекращения навигации по Волге дорога замирала, погружалась в зимнюю спячку. Мы, куряне, гордо называли нижегородцев "халатами", а они нас "хлюстами". Старания начальника дороги сводились к тому, чтобы смешать всю массу различных дорог, устранить рознь между ними. Для сего усиленно переводили курских агентов на Нижегородскую и наоборот, конечно, с повышением, чтобы устранить неудовольствие. В эту кашу попал и я. По обыкновению, пришлось приспособливаться к этой сермяжной среде, как мы ее гордо величали.

Уехал я во Владимир один, а семья осталась в Серпухове для продолжения учебы ребят на месте. Менять серпуховские гимназии на владимирские не хотелось, и, кроме того,

во Владимире не было казенной квартиры, а в Серпухове мне оставили квартиру на вокзале. Наконец, я предчувствовал почему-то, что не задержусь во Владимире. На нашей дороге уже назрел вопрос об организации отделений, и тогда старшие ревизоры на линии не понадобятся. Так и случилось в дальнейшем. Я устроился во Владимире. В служебных комнатах, один, там же расположилась моя канцелярия. Юличка ко мне приезжала с ребятами во Владимир.

На новом месте меня встретили, я бы сказал, если не дружелюбно, то во всяком случае лояльно, а я стремился прежде всего никого не задирать, как это было тогда принято в железнодорожной среде: знай, мол, как почитать начальство. Из событий того времени не могу не отметить мою случайную встречу с "первым Распутиным". Да, с первым, так как впоследствии был общеизвестный Распутин, которого убили в Петербурге, которого надо бы назвать "вторым".

Поселившись во Владимире, я столовался в станционном буфете. Там же в то время жил одинокий представитель государственного контроля, милый человек, некий Александр Николаевич Астафьев. Астафьев почему-то относился ко мне с исключительным вниманием. Он также столовался в буфете и всегда ожидал моего прихода, без меня не садился за стол. Ко времени нашего обеда обычно собирались врач, начальник участка пути, тяги и еще кто-либо из местных - поговорить, посудачить. Получалось что-то вроде клуба.

## "Первый Распутин"

Как-то раз опоздал поезд, с которым я возвращался с линии. Астафьев не стал обедать, ждал меня терпеливо, почти до вечера. Когда я вошел в зал и направился к тому месту, где мы обычно обедали, то застал там всю компанию в сборе. Здороваясь со всеми, я протянул руку сидевшему среди моих сослуживцев незнакомцу, предполагая в нем городского купца или фабриканта. Подавая мне руку, этот субъект что-то сказал неразборчиво, а я ответил обычное: очень рад. Тут же я услышал его дерзкую фразу: "Кто знает: будете ли рады?" Я счел себя обиженным такой дерзостью, ничего не ответил, резко повернулся и ушел в свою комнату. Пока я мыл руки, переодевался, за мной прислал Астафьев, мол, суп стынет. Когда я пришел в буфетную, этого неизвестного мне субъекта уже не оказалось. Вот что мне рассказал о нем Астафьев.

Начав работать мальчиком в местной фотографии, он вскоре обратил на себя внимание. Все его знали, всем угождал, всем кланялся на бульваре. Время шло, мальчик подрос, стал молодым человеком, занял место ретушера той фотографии и не без успеха. Таким образом, явившись из деревни малограмотным дикарем, он в городе обучился грамоте, стал читать газеты, работал. К сожалению, в моей памяти не сохранилась фамилия этого интересного субъекта. Время шло. Это было в разгар славы Сергея Юльевича Витте. Как-то утром, рассказывал мне Астафьев, неожиданно явился к нему в квартиру этот субъект с просьбой о помощи по "важному делу". Оказалось, хваленый ретушер написал премьер-министру Витте ругательное письмо и просил Астафьева исправить грамматические ошибки и правильность изложения. Астафьев отклонил эту просьбу, заявив

неожиданному гостю своему, что уж если он, ретушер, берет на себя смелость критиковать финансовые реформы министра Витте, то такое письмо надо послать без каких-либо поправок, в полной неприкосновенности.

Приблизительно через месяц во всех столичных и провинциальных газетах появилось сообщение: "С.Ю. Витте просит крестьянина, приславшего ему письмо, сообщить свой адрес". С этим газетным сообщением ретушер фотографии вторично появился в квартире Астафьева.

Оказалось, что письмо к Витте было послано анонимно, а теперь он струсил, опасаясь привлечения к ответственности за дерзкое обращение к сановнику. Вскоре после этого ретушер скрылся с горизонта, и долго его не видели нигде. Но курилка оказался не только живым, но время от времени стал появляться во Владимире франтовато одетым. С толстым бумажником, набитым сотенными, швырял деньгами направо и налево. Мало того, он оказался обладателем годового билета для "бесплатного проезда по железнодорожным и водным путям фотографу министерства путей сообщения". Мы все прекрасно знали, что такой должности в штатах министерства нет. В чем же дело? Что за загадка? Он будто бы рассказал Астафьеву следующее: сообщив Витте свой адрес, он через некоторое время был снабжен деньгами для приезда в Петербург. В Петербурге его привели на квартиру к Витте, с которым он много раз беседовал, получал деньги. Затем он купил себе поддевку, плисовые шаровары, сапоги бутылками, картуз. Подстриженный в скобку, наряженный в русский костюм, он являлся будто бы в Зимний, где царь беседовал с ним наедине, как с сыном народа.

Бывали будто бы случаи, когда всеильный тогда Витте действовал через этого подставного ряженого "сына народа", подготавливал почву для своих докладов.

Я с этим субъектом больше не встречался, но этот рассказ о близости бывшего ретушера к Витте, затем к царю слышал много раз не только от Астафьева, но и от многих транспортников, знавших этого "героя" со времени его появления во Владимире и после его отъезда в Петербург по вызову Витте.

На основании этих достоверных рассказов я его называю "первым Распутиным". Повторяю, к сожалению, в моей памяти не сохранилась фамилия этого проходимца.

### **Кнушевицкая Ольга Степановна - первая женщина на русских железных дорогах**

Из числа сослуживцев по Нижегородской железной дороге обязан упомянуть об Ольге Степановне Кнушевицкой, билетной кассирше станции Владимир. Эту первую женщину на русских железных дорогах нельзя не вспомнить добрым словом. Она начала работать на транспорте в апреле 1863 года. У меня случайно сохранилась вырезка из № 19 Вестника Московско-Курской, Нижегородской и Муромской дорог от апреля 1903 года, когда праздновалось 40-летие ее трудовой деятельности. Я познакомился с Ольгой Степановной по приезду во Владимир, а весной 1908 года присутствовал на 45-летию ее работы на транспорте. Она успела там же в 1913 году отпраздновать и 50-летний юбилей своей непрерывной работы. Я в то время уже был на Урале. Меня пригласили приехать, но мне не удалось и пришлось ограничиться приветствием по телеграфу. В дальнейшем, я

слышал, она доживала свой век у дальних родственников в Киеве, в тяжелой нужде.

Интересными были воспоминания Ольги Степановны о начале ее работы. Так, например, в 1860-х годах билетные кассиры работали без смены, единолично обслуживали все поезда. Приходилось вставать и ночью, а отдыхать в промежутках между поездами, коих было четыре. Кассу надо было, по правилам, открыть за час до прихода поезда. Продажа билетов прекращалась после второго звонка, за две минуты до отхода поезда. Как-то осенью, глухой ночью, рассказывала Ольга Степановна, пассажиров было мало, я быстро продала им билеты и присела на диванчик за билетным шкафом. Кассовое окно, как полагается, оставалось открытым. Видимо, рассказывала она, я задремала, сидя на диване в темном уголке, поэтому не слышала, как подошел к открытому кассовому окну фабричный рабочий и стал звать меня: "Ваше благородие! Ваше благородие..." Когда я услышала этот оклик, то быстро вскочила и, подойдя к кассовому окну, спросила: "Что тебе, голубчик, надо?" Рабочий - текстильщик, прищурив свои старые слезливые глаза, долго на меня глядел, плюнул в сторонку и со словами: "Тьфу, баба!" - потребовал билет до Петушков. Оказалось, старик-рабочий, надрывавшийся выкриками: "Ваше благородие!", ожидал, что появится чиновник в мундире со светлыми пуговицами, а к окну подошла девушка.

В дальнейшем, в 1890-х годах, произошел не менее интересный эпизод.

К тому времени уже существовали железнодорожные школы, общежития для ребят, приезжавших учиться с маленьких станций, линейных казарм, будок. Большинство

детей не имели обуви, белья, одежды. Все это надо было добывать благотворительностью, танцевальными вечерами, лотереями. В общежитии было более ста раздетых, разутых, голодных ребят. О.С. Кнушевицкая, бывшая в продолжение многих лет попечительницей школы, умела добывать для общежития все необходимое. Она не только сумела организовать при общежитии прекрасное огородное хозяйство, приобрести несколько коров, чтобы дети получали ежедневно свежее молоко, но и одевала наиболее нуждающихся, не задевая детского самолюбия. Под предлогом елочных подарков раздавались платица и штанишки, чулки, обувь и прочее. Если не хватало средств, Ольга Степановна ни перед чем не останавливалась. Ее, конечно, знали все местные купцы, фабриканты, землевладельцы, чиновники. Продавая в кассе железнодорожные билеты, она всегда напоминала о необходимости пожертвовать "в пользу детишек". Ее призыв не оставался без отклика. Был даже, как она нам рассказывала, такой случай. Богатый фабрикант, владелец текстильной мануфактуры, сквалыга, готовый за грош на что угодно, отказался пожертвовать кусок ситца (50 аршин, около 35 метров) на платица девочкам к рождественской елке. Надо было его заставить пожертвовать два куска ситца стоимостью около 10 рублей. Когда этот купчина подошел к кассе за несколько минут до отхода поезда купить билет до Москвы, Кнушевицкая потребовала для девочек два куска ситца.

- Не дашь ситца, и билета не получишь.

- Как, по какому праву такое насилие? Я буду жаловаться министру, в порошок тебя сотру.

- Как хочешь, - отвечала Кнушевицкая, - а билета сейчас не дам, в Москву сегодня не поедешь.

А время не ждет. В Москве неотложные дела на бирже, в амбаре. Люди ждут приезда "самого". Купчина швырнул 25 рублей вместо трех. "Сдачи не надо". Получил билет и уехал. Жаловался ли он министру - неизвестно. Но, когда вскоре в "Губернских ведомостях" появилась заметка, гласившая, что первой гильдии купец такой-то пожертвовал в пользу школьного общежития 22 рубля и столько-то копеек, купчина прислал Кнушевицкой три куса ситца для детишек к Рождеству Христову. Знай, мол, наших.

Приходилось мне встречаться с именитым купечеством: Сомовыми, Никитиными, Бугровыми и другими, фамилии коих не сохранились в моей памяти. При всей их скупости выпивка стояла у них на первом плане, конечно, в свободное от работы время, - иных радостей они, видимо, не знали и не искали. А на работе имели успех. Мне кажется, успех этот нельзя объяснить даже удачливостью, счастьем, везением, игрой судьбы или случаем. Успех зиждился прежде всего на глубоком изучении дела. Поэтому все эти большие и малые фабриканты, купцы, их приказчики шли впереди "полузнаек" железнодорожников. Я называю их "полузнайками", так как из всех известных мне тогда железных дорог Нижегородская являлась самой тихой, бездеятельной.

### **Ревизор при Управлении дороги в Москве с местожительством в Серпухове**

Я пробыл во Владимире почти полтора года без семьи. И, хотя я часто ездил в Серпухов, нас не мог не занимать вопрос: что же дальше, куда нас судьба забросит? Наконец,

меня назначили временно ревизором при Управлении дороги в Москве с местожительством в Серпухове. Из Владимира меня проводили с помпой: обед, адреса, фотографическая группа признательных сослуживцев, тосты, речи и т.п.

Даже подарок поднесли: золотой жетон. Я был тронут до глубины души. Во время обеда явились представители кондукторских бригад с особым адресом "отцу родному", как сказал главный кондуктор, возглавлявший депутацию. В конечном счете я уехал из Владимира, провожаемый всякими благими пожеланиями. Нельзя сказать, чтобы я себя прекрасно чувствовал на новой работе в Управлении дороги. Конечно, я не мог рассчитывать получить на родной дороге должность начальника отделения на линии как младший по возрасту и служебному стажу среди линейных ревизоров, но и поездки на работу из Серпухова в Москву были нележки. Правда, я мог брать работу домой, чтобы не приезжать ежедневно, но сама канцелярская работа мне не нравилась, я стал нервничать.

Как-то вечером меня вызвал по телефону из Москвы начальник движения и сказал, что из Петербурга получена запросная телеграмма, коей мне предложено место начальника отделения Пермской дороги. Я ответил, что утром буду в Москве, побеседуем. Об этом разговоре я, конечно, сейчас же сообщил мамочке. Считая меня умнее, работоспособнее, толковее всех ревизоров, мамочка, обрадованная столь лестным предложением, считала это вполне нормальным.

Я предполагаю, что столь большому ко мне вниманию я обязан Шауфусу, занимавшему тогда пост министра путей сообщения. Ночью, уложив ребят, мы с мамочкой долго

судили, рядили, какой дать ответ завтра. С одной стороны - лестно, а с другой - боязно ехать с большой семьей в такую даль, на окраину, где иные условия, иные обычаи. Кто знает, как меня там встретят, как примут и на линии, и среди администрации?

Знакомых там нет, меня никто не знает, я там никого не знаю. Вспомнил свое прошлое, местечковые нравы, черту оседлости... Значит, полагал я, меня там на Каме могут встретить враждебно, в штыки. А дети уже выросли, им будет больно, обидно за себя, за отца. Но я напомнил мамочке, что Дарвин не надул, у нас у всех одни почтенные родичи, одни предки, рядом прыгавшие с ветки на ветку где-то на экваторе. Решили: я дам согласие, мы поедем, а там - что Бог даст.

На другой день мое согласие было сообщено управлением Курской дороги по телеграфу в Петербург, а через несколько дней я получил назначение на должность начальника отделения эксплуатации Пермской дороги и стал собираться в путь-дорогу. Я решил ехать один, чтобы дать возможность ребятам закончить учебный год.

## На Пермской железной дороге

### Переезд в Пермь

В начале июня я уехал из Серпухова - сначала до Нижнего, а оттуда на пароходе "Пермь" по Волге и Каме в Пермь. До Казани со мною ехали мамочка и Володя, закончивший к этому времени свои экзамены. Работая полтора года на Нижегородской дороге, я имел возможность получать бесплатные билеты для проезда на волжских пароходах, но почему-то этим не воспользовался, и на сей раз, отправляясь работать на Урал, в первый раз путешествовал по Волге и Каме.

Мы ехали в первом классе, имели отдельную каюту со всеми удобствами, что восторженная мамочка, конечно, относила прежде всего к моим достижениям.

Погода благоприятствовала удачному путешествию, приводившему нас в восторг. В Казани мамочка и Володя пересели на пароход, следовавший обратно в Нижний, а я двинулся на восток, в неведомый для меня край. На прощание мамочка, конечно, меня долго крестила, обнимала, благословляла на новый ратный подвиг, и когда пароход в Нижний отчалил от Казанской пристани, и я остался один, то крепко задумался над тем, что ждет меня на далеком, диком, по моим представлениям, Урале. И неудивительно, ведь это был мой первый выезд на далекую окраину. Я нервничал, хотя мне уже было отроду 47 лет. Глядя на быстро текущие воды "матушки Волги", вспоминал Мельникова-Печерского, видел в отражении воды, как в зеркале, Стеньку Разина, его персидскую царевну, брошенную в воду в угоду пьяным друзьям-приятелям.

Перед мысленным моим взором прошли знакомые с детства места: захолустный Старконстантинов, обитатели этого городишка, тесные, грязные улочки, по которым суетливо двигаются длиннополые черные сюртуки, потертые, порыжевшие от времени. Я видел в отражении воды согнутые спины, понурые, хмурые лица своих былых единоверцев, несчастных, мною брошенных, оставленных, тогда как мой покойный славный отец всю свою жизнь посвятил этим несчастным, обездоленным, защищал их интересы, отстаивал их права. Они возбужденно размахивают руками, говорят спешно, торопливо, с интонацией восточного напева. Более сорока веков борется этот народ за свое существование: Египет, Малая Азия, Испания, Нидерланды... Беспрестанные смены надежд, предательств, горя, страданий...

Как выяснилось, в Казани на наш пароход сели подозрительные лица, точнее - шулера, о которых я много слышал. Они предложили мне и другим сыграть "по маленькой в преферанс лишь для препровождения времени". Я отказался. В конечном счете они нашли охотников сыграть "по маленькой", после преферанса собрали охотников в стуюлку, а под утро незаметно ушли на берег во время короткой остановки парохода у небольшой пристани. Днем выяснилось, что шулера обобрали наивную, доверчивую публику на тысячу с лишним рублей: кого на 20, кого на 50, а кого и на 100 с лишним. Меня миновала чаша сия. Припоминаю, к Перми пароход приходил рано утром, в прекрасный летний солнечный день. Все радостно блестело, ликовало. Ажурный железнодорожный мост на Каме казался сотканным из красивых, изящных кружев. Что ждет меня в

этой Перми, кто знает? Настроение у меня было прекрасное, и я бодро ступил на берег.

Вокзал оказался вблизи паровой пристани. Я быстро нашел начальника станции, назвал себя. Оказалось, что он, Александр Петрович Кузнецов, уже знает обо мне со слов Чурилова, уроженца города Курска, незадолго до того переведенного из Минска в Пермь помощником начальника движения Пермской дороги. Кузнецов принял меня почтительно, предоставил для отдыха парадные комнаты. Когда я приводил себя в порядок, Александр Петрович распорядился подать кофе и рассказал о работе Пермского узла, особенности коей заключались главным образом в перевалке грузов с железной дороги на Каму и обратно. С такой работой мне предстояло встретиться практически впервые. Когда я послал швейцара принести местную газету и он подал мне свежий номер газеты "Пермские губернские ведомости", первое, бросившееся мне в глаза объявление было о продаже медвежонка.

Да, подумал я, попал в такой край, где медведями торгуют, надо полагать, как в Курске мочеными яблоками. Вот влопался!

### **Начальник отделения эксплуатации Пермской железной дороги**

Администрация управления дороги отнеслась ко мне радушно, предложив остаться в Перми и не ехать в Вятку, как мы собирались с мамочкой - чтобы быть ближе к Москве.

Город Пермь оказался таким же, как и многие, известные мне раньше губернские города. Разница заключалась разве лишь в том, что пермяки "окали" несколько протяжнее

владимирцев, да еще улицы, расположенные параллельно течению Камы, именовались улицами, а расположенные перпендикулярно течению реки именовались проулками. В тот же вечер я отправил Юличке пространное письмо с подробным описанием своих первых пермских впечатлений и для шуточного запугивания послал вырезанное из "Губернских ведомостей" газетное объявление о продаже медвежонка, присовокупив, что в Перми медведи свободно разгуливают по улицам города.

Ни объявление, ни сообщение о медведях на улицах, как и следовало, моего друга не запугали. Она мне через несколько дней писала: "Напрасно, дорогой, меня запугиваешь. С тобой мне и нашим детям всегда будет хорошо".

Очень сожалею, что это милое письмо не сохранилось. Через несколько дней я совершил поездку по своему будущему отделению, познакомился с линейными сотрудниками, осмотрел станции, пути, пакгаузы и вступил в должность, приступив к руководству технической работой отделения. Тут мне прежде всего помог пример Шауфуса, который сам все умел делать, все знал, всем интересовался до мелочей. Он сам мог заменить любого работника на транспорте - до кочегара, стрелочника включительно. По мере сил я всячески стремился ему подражать, и как будто небезуспешно.

Необходимо отметить особое положение в то время окраинных дорог, в том числе и Пермской железной дороги. Эти дороги обслуживались тогда в большинстве случаев "летунами", изгнанными за разные провинности с центральных железных дорог и скрывавшими на окраинах свое прошлое. Были и обладатели фальшивых паспортов. Все

они перекочевывали с запада на восток по мере сооружения на окраинах новых дорог, развития рельсовой сети на Урале, затем в Азии. Все же на Пермской дороге был небольшой, но крепкий костяк транспортников, желавший и умевший работать. На этих людях я и сосредоточил свое внимание, близко с ними сошелся и стал успешно работать, вникая во все мелочи. Пермская дорога была, конечно, своеобразной и по своим топографическим условиям не была похожа на центральные Курскую и Нижегородскую дороги, поэтому мне приходилось не только внимательно давать каждое указание, но и самому изучать местные технические условия. Все это видели и как будто ценили. Короче говоря, начало на новом месте было хорошим, но не обошлось без инцидента: жандармская полиция, коей был послан мой паспорт для регистрации, возвратила его с уведомлением, что я "допущен временно" к должности начальника отделения.

Как временно? Почему? Никто из администрации дороги объяснить не мог. Имея в руках приказ министерства о назначении на Пермскую дорогу, я заявил начальнику движения, что если я тут не нужен, не желателен, то могу уехать. Меня просили не заирать жандармов, у которых свои взгляды, не придавать значения этой мелочи, так как основой является приказ министерства, а не жандармская бумажка, не подлежащая оглашению. В дальнейшем выяснилось, что жандармерия наводила справки обо мне как о близком родственнике Семена Вайнштейна, члена Петербургского Совета рабочих депутатов 1905 года. К концу июля я нанял в городе квартиру, оформил перевод ребят из серпуховских гимназий в пермские и решил ехать за семьей.

Конечно, мне потребовался отпуск и вагон для семьи. Пропуск служебного вагона министерство разрешило через Батраки-Челябинск из-за каких-то затруднений в Московском узле. Я подчинился, но, когда я собрался уже ехать, принесли мой рапорт об отпуске с такой резолюцией помощника начальника дороги Серикова: "Разрешить отлучку без содержания". Такого афронта я не ожидал и посчитал это не без основания личным оскорблением - никто не имел права мне отказать в том, чтобы привезти семью к месту работы.

Взволнованный, я пошел в кабинет к Серикову и заявил ему: "Не знаю, почему находите нужным плевать мне в бороду, ведь вы меня почти не знаете. Но это дело ваше, а мое право защищать свою честь. Хорошо, я уеду без содержания, но больше сюда не вернусь, а на ваши незаконные действия буду жаловаться министру". Повернулся и ушел.

Через некоторое время пришел ко мне в кабинет старший ревизор Лобанов, принес новую бумажку за подписью Серикова о разрешении мне отпуска на три недели для поездки за семьей с сохранением содержания и передал, что Сериков просит его извинить, он искренне сожалеет о случившемся. Он, мол, тут ни при чем - это дело рук Чурилова, который будто бы ввел Серикова в заблуждение, пользуясь его неосведомленностью в денежных расчетах. Я предал этот эпизод забвению, но в дальнейшем убедился, что Чурилову надо доверять с оглядкой. Я уехал в Серпухов через Вятку и Москву, а служебный вагон направили порожним через Челябинск. Дома я застал свою семью в хлопотах по сбору в дальний путь. Дети успешно сдали переводные экзамены: Леля - в восьмой класс, Шура - в

седьмой, Володя - в четвертый, Вася - во второй, а Варюша успела поступить в первый класс гимназии. Остальные еще не доросли до учебы. Всех мне удалось без особых хлопот устроить в пермских учебных заведениях, кроме "реалиста" Васи, для которого не оказалось свободного места в переполненном втором классе Пермского реального училища. Но в конечном счете удалось и Васю устроить. Конечно, мамочка замоталась до отказа в сборах в дальний путь, но к сроку все было готово.

Накануне отъезда из Серпухова нас пригласили в квартиру начальника станции, где товарищи и сослуживцы устроили нам прощальный обед. Было парадно, пышно, многолюдно. Вновь тосты, речи, подношения, адреса и т.д. в этом роде. Мамочка сияла не меньше, а может быть, и больше меня. Как водится в подобных случаях, все присутствовавшие на обеде болтали не в меру, боля "недержанием речи", как говорят врачи. Помогал прислуживать обедавшим гостям проводник Пермской дороги Колчанов, приведший в Серпухов для нашего переезда служебный вагон. Колчанов с нескрываемым удивлением глядел, как меня чествовали, так, как будто он ничего подобного не видел. Так, по крайней мере, он уверял моего старшего брата Лазаря, сопровождавшего нас затем от Серпухова до Перми. У Лазаря в это время был отпуск, он стремился мне помочь, быть полезным. И ему эта первая дальняя поездка доставила удовольствие. Он впервые увидел восточные окраины: Урал, Волгу, Каму. Правда, мой служебный вагон и другой, с вещами, на всем протяжении от Серпухова до Перми следовали с товарно-пассажирским поездом, так называемым "Максимом" ("крути Гаврила"), но тем легче было знакомиться с порядками на окраинных

дорогах, по которым я проезжал впервые. В общем, все шло гладко, кроме одного эпизода в Самаре, нас всех взволновавшего.

Воспользовавшись объявленной в Самаре длительной стоянкой, Володя с Васей отправились осматривать город. Конечно, часов они при себе не имели, проверить время не удосужились. А так как по инициативе Володи попали в кино, то об отходе нашего поезда, видимо, забыли основательно. Время шло, уже оставалось до отхода поезда несколько минут, наше волнение достигло апогея. Я решил отцепить свой вагон в Самаре и приступить к розыску Володи и Васи. Но оказалось, что заявить об этом уже поздно - до отхода поезда оставались считанные минуты, и я приказал проводнику Колчанову отцепить наш вагон на месте, без ведома дежурного по станции, хотя это представляло чрезвычайную опасность. Но что-то задержало на несколько секунд отправление нашего поезда, и в это время появились запыхавшиеся ребята. Маленький Вася ревом ревел, а нашему восторгу не было предела. Колчанов успел накинуть и завинтить уже снятую было вагонную стяжку. Все обошлось благополучно, и никто из станционных агентов не узнал о моих действиях и волнениях наших.

Кроме моего брата Лазаря с нами в вагоне ехала Женя Красноглядова, направлявшаяся через Челябинск в Иркутск к своему жениху М.И. Рождественскому, ссыльному политпоселенцу.

Проезжая по Самаро-Златоустовской железной дороге, я вспомнил рассказ моего сослуживца по Серпухову, инженера Антонова, когда-то работавшего на постройке этой дороги, о пограничном обелиске на границе Европы и Азии, который он сооружал.

При строительстве возник вопрос, с какой стороны обелиска укрепить доску с надписью "Европа" и с какой стороны - с надписью "Азия". Оказывается, надпись "Азия" должна находиться на европейской стороне, а надпись "Европа" на азиатской стороне обелиска.

Пограничную полосу нам пришлось пересекать два раза: при проезде из Европы в Азию по Самаро-Златоустовской дороге и затем, через сутки, на Горнозаводском участке Пермской дороги, между станциями Азиатская и Европейская, при проезде из Азии в Европу. Не знаю, как на других, но на меня эти обелиски произвели чрезвычайно сильное впечатление.

Мне говорили, что в 3 верстах западнее станции Хрустальная сохранился пограничный столб на границе Европы и Азии времен Николая I, чуть ли не периода декабристов. Этот столб стоял на большой дороге, так называемой Владимирке, по которой шли в Сибирь кандалные арестанты. У этого столба, при входе в Азию, обычно объявляли привал, отдыхали, прощались навсегда с родной землей. Агенты, работавшие на Урале с конца 1870-х годов, рассказывали мне, что на этом столбе они видели сохранившиеся карандашные надписи прощальных приветов многих крупных политических деятелей, шагавших в Сибирь в кандалах. Были и польские надписи деятелей восстания 1863 года.

Пока мы устраивались с квартирой в Перми, пришлось несколько дней прожить в служебном вагоне, стоявшем в тупичке у здания управления дороги. Наконец, переезд нас на квартиру был закончен с помощью брата Лазаря, предсказавшего нам в Перми счастливую жизнь, так как во время перевозки наших последних вещей шел дождь.

Таково, пояснил он, народное поверье. Устроились мы в доме машиниста Пермского депо Сапегина сравнительно хорошо: просторно, тепло, уютно. Мы занимали во втором этаже пять комнат, отдельную кухню, кладовую и прочие помещения. Освещение электрическое. За все платили около 50 рублей в месяц. Я ушел с головой в работу, дети готовились к началу учебы, а мамочка хозяйничала, довольная базарной дешевизной. Заяц, например, стоил без шкуры 5-10 копеек. Почему так дешево? Оказалось, на Урале народ зайцев не ест, так как имеются в избытке баранина, телятина, куры, утки, гуси и прочее. Зайцев тогда охотники не стреляли, а ловили капканами для использования шкурок. В городе заячье мясо ели немногие, не умели его готовить. Я встречал и чудаков, не евших баранины. Мамочка артистически шпиговала зайцев, и мы ими обедались.

Брата Лазаря я отправил домой из Перми не по железной дороге, а на пароходе по Каме через Нижний Новгород. Он был очень доволен - впервые совершал столь дальнюю поездку на пароходе. Так началась наша жизнь на Урале, вдали от близких, родных. Мамочка, как искренно и глубоко веровавшая, конечно, посещала церковь, горячо молилась о ниспослании нам всяких благ. Она не была ханжой, но верила искренно, и эту веру нельзя было не уважать.

Не могу не вспомнить курьеза с использованием телефона, установленного в моей квартире для служебных надобностей. Такие служебные телефоны были в квартирах всех старших агентов дороги, но пользовались этими телефонами преимущественно для разговоров о чем угодно, только не о службе. Лишь в случаях крушения поезда или иного необычайного происшествия старший телеграфист извещал начальство по этим телефонам о случившемся.

Ночью старший телеграфист не смел беспокоить начальство. А если случалось что-либо из ряда вон выходящее, он звонил домой начальнику конторы движения А.И. Болотову.

Алексей Иванович сам давал указания или же звонил начальнику движения, который связывался со старшими представителями служб, а те уже решали, надо ли ночью беспокоить начальника дороги. Такова была субординация. Я объявил телеграфистам, что, не изменяя порядка, установленного администрацией дороги, требую звонить мне на квартиру в любое время дня и ночи не только о происшествиях, но и о всех запросах, поступающих с линии, требующих разъяснения. Выслушав текст таких депеш, я тут же диктовал ответ или же разъяснял, что та или иная депеша терпит до утра. Такая непрерывная круглосуточная работа произвела фурор. Спрашивали:

"Когда Вайнштейн спит, почему не дает себе покоя?" Наконец, можно ли отвечать по телефону на депеши? Мало ли что там телеграфист напишет, ведь возможны и серьезные злоумышленные действия.

Проработав в Перми более десяти лет, я ни разу не имел никаких недоразумений с телеграфом на этой почве. Мне кажется, что в таких случаях все основано на взаимном доверии друг другу, уважении. Телеграфисты быстро привыкали к такой работе и меня не только почти не беспокоили зря, но не было ни одного случая искажения моих депеш, надиктованных по телефону.

На транспорте в мое время работало немало нечестных, недобросовестных людей. Везде были беспорядки, злоупотребления, кроме доставки носильщиками ручной пассажирской клади, и, я думаю, только потому, что взаимоотношения пассажиров и носильщиков основаны на

взаимном вынужденном доверии. Тут нет квитанций, расписок, а в то время и камер хранения еще не было. Носильщики хранили ручные пассажирские вещи у себя, под прилавком, в уголках, за печкой. Обслуживая одновременно нескольких пассажиров, можно ошибиться, спутать вещи, но не было случая, чтобы носильщик утаил какую-либо вещь или пассажир, поручив носильщику, скажем, две вещи, потребовал три или больше. А ведь и среди пассажиров немало воров, жуликов. Однако слово было и оставалось крепче письменного обязательства, расписки. Такова людская психология. То же было и в моих взаимоотношениях по телефону с телеграфистами. Короче говоря, я сразу на Урале так построил взаимоотношения с окружающими, что ко мне относились с уважением. В начале учебного года, в сентябре 1908-го, нас с Юличкой избрали в родительские комитеты мужской и женской гимназий, нагрузили общественной работой. Если не ошибаюсь, это был один из первых случаев избрания женщин в родительские комитеты, так сказать, начало женского равноправия. В то время в женских гимназиях директорами были мужчины.

Приблизительно в октябре у мамочки случился выкидыш. Случилось это ночью, под утро. Знакомых врачей, кроме своих, железнодорожных, у нас еще не было. Естественно, пришлось обращаться по телефону к железнодорожным врачам. Спросонья, конечно, отнекивались, и лишь после долгих переговоров приехал местный участковый врач А.Н. Чернеевский, или Черняевский, как он себя называл для некоторого сходства с известным генералом русско-турецкой войны Черняевым. Опытная акушерка уже была на месте. Черняевский даже в комнату мамочки не зашел. Он давал указания, советы акушерке из

соседней комнаты, заявляя, что опасается занести заразу. Какую заразу? Осталось невыясненным. К счастью, все окончилось благополучно, мамочка быстро стала поправляться, а через несколько дней и с постели встала.

Старшие дети наши - Леля, Шура, Володя, Вася - учились весьма усердно, даже Варечка, поступившая в первый класс гимназии, старалась не отставать от старших. Остальные еще были малышами. Если Машу можно было считать не по возрасту солидной, степенной девочкой, то Боря и Коля - почти ровесники - были отчаянными сорванцами. Если Маня играла с равными себе девочками, то Боря и Коля водили компанию без разбора со всеми встречными-поперечными: лишь бы было весело.

Нам пришлось сменить квартиру: из дома Сапегина переехали ближе к гимназии и месту моей работы - конторе отделения, помещавшейся в здании управления дороги. Первое время, в хлопотах, не обращали внимания на частые отлучки Бори и Коли. Затем проследили - оба оказались верхом на заборе в компании сына ближайшего лавочника по имени Васька. Этот отчаянный мальчишка по прозвищу Васька-лавочник, не скажу, чтобы был плохим, но его удали и шалостям не было предела.

Забраться не только на высокий забор, но и на крышу сарая или соседнего дома он мог, как кошка, в два счета. Коля и Боря, естественно, ему подражали, что представляло некоторую опасность, и страдали при этом штанишки, чулки, курточки, рубашки, башмаки. Костюмы ребят приходилось беспрестанно чинить, штопать и вне всяких сроков реставрировать. Сначала это нас печалило, а затем привыкли, уверенные, что мальчишки не могут не шалить,

не могут не быть "отчаянными", как выражалась покойная мамочка.

Немало было тогда хлопот и с Васей. Он был во втором классе реального училища, но шалил, как пригостишка. Жалобам на его шалости не было предела.

В это время оканчивалась постройка линии Пермь-Екатеринбург через Кунгур - фактически удаленный территориально второй путь старой Горнозаводской линии, но меньшего протяжения, со смягченными уклонами. Эта новая линия готовилась к сдаче в эксплуатацию, ее должны были присоединить к моему II отделению. Начальник дороги потребовал, чтобы я поселился в Перми II (Заимке), куда примыкала новая линия. Туда же предстояло переместить и мою контору.

Приблизительно в это время состоялся первый на Пермской дороге съезд начальников отделений для выработки плана работы и согласования наших действий.

Начальником Екатеринбургского отделения был Топорнин, коренной уралец, а на Вятское отделение был назначен начальник движения Самаро-Златоустинской дороги старик Болотов, у которого я когда-то был в подчинении. В бытность мою начальником станции Золотухино - в начале 1890-х годов - Болотов короткое время был начальником движения Московско-Курской дороги. Мы помнили друг друга, встречались на Урале почти по-дружески, хотя по возрасту и служебному стажу Болотов был значительно старше. У меня поныне сохранился любительский снимок "трех китов", как нас называли тогда на Пермской дороге. Снимок сделан в моем служебном кабинете, во время нашей работы, очевидно, весной 1909 года.

## **В Перми II (Заимках)**

В Перми II (Заимках) устроились мы хорошо. Расположенный в сосновом бору отдельный дом с террасой, двором, сараем, ледником был для моей большой семьи очень удобен, если не считать отдаленности Перми II от городского центра, где находились учебные заведения. Но и это неудобство было вскоре преодолено организацией "ученических" поездов для всех, поселившихся на этой городской окраине.

В 1910 году в моей семье произошли два знаменательных события: 25 марта исполнилось 30 лет моей работы на транспорте, а 28 августа родилась наша младшая и последняя дочь Надюша. О своем тридцатилетнем юбилее я специально никому не говорил, поскольку считал себя новичком, пришельцем на Урале, и не считал возможным чем-либо отметить эту дату. Старательно замалчивая это событие, уверенный, что никому не придет в голову наводить обо мне справки по послужному списку, я накануне уехал на линию - в Чусовую, Кизел и Усолье, заведомо подгадав к этим дням объезд станций угольного района с проверкой их работы.

Но - "никто, как свой", как гласит старинная поговорка. Меня выдали мои старшие братья Иосиф и Лазарь, а также сослуживцы Нижегородской дороги - их поздравительные телеграммы, поступившие на железнодорожный телеграф, были сообщены по телефону моим сотрудникам в контору отделения, а оттуда переданы для меня на линию. Железнодорожный телеграф, узнав, что я нахожусь в пути, еду с товарным поездом, наводил обо мне справки, чтобы не задержать доставку поздравительных телеграмм, поэтому

сообщение о юбилее быстро распространилось, и где бы я ни показывался в тот день, меня всюду поздравляли. К вечеру я получил поздравительную телеграмму и от своих сотрудников из Перми. На Пермской дороге эти поздравительные телеграммы произвели известное впечатление еще и потому, что на этой окраинной дороге юбилеев не было. Пермская дорога была построена известным железнодорожным подрядчиком Петром Ивановичем Губониным в 1878 году, всего лишь 32 года тому назад. Состав транспортных работников, как на всякой окраинной дороге, часто сменялся. А если и были на маленьких станциях "старики", то о юбилеях никто и не помышлял. Не было принято начальством отмечать такие даты. Начальство часто сменялось и об этом не думало-не гадало. После возвращения с линии я поблагодарил вспомнивших обо мне лично и письмами. Пришлось пойти в фотографию, сняться и послать несколько карточек друзьям и товарищам. Один такой снимок у меня сохранился поныне в копии, заснятой сыном Николаем. Необходимо отметить, что, так сказать, застрельщиком в поступивших на мое имя поздравлениях явился в этом случае ревизор движения Нижегородской дороги Константин Иванович Надеждин. Он первый вспомнил об этой дате, а с его легкой руки пошло дальше.

### **Рождение младшей дочери Надюши**

Рождение младшей нашей дочери Надюши было некоторым образом для нас неожиданным, учитывая мой и мамочкин возраст. Мне было около 50 лет, Юличке 42 года. Мы считали, что в таком возрасте дети не только не могут быть, но и не нужны, так как не успеем их воспитать, как говорили тогда, поднять на ноги. Останутся, значит,

беспризорными сиротами. Но случилось по-иному. Когда мамочка почувствовала себя беременной, она, как всегда, с полной верой сказала: "Значит, так Богу угодно". Конечно, ни о каких абортах тогда не могло быть и речи - это считалось недостойным, позорным поступком. Леля уже была тогда взрослой девушкой, окончившей гимназию, готовилась ехать в Петербург учиться на Высших курсах, Шура учился в 7-м классе гимназии, Володя - в 5-м классе, Вася - в 4-м классе, Варя - в 3-м классе, остальные малыши - Маша, Боря, Коля - подросли, стали сознательными.

Мамочка с глубокой, искренней верой в судьбу, в счастливое будущее покорила неизбежности иметь еще одного ребенка. Она лелеяла мысль родить девочку - хорошенькую, добрую. И 28 августа 1910 года это свершилось - родилась девочка. На всякий случай при родах присутствовал врач. Роды были трудными, мамочка долго мучилась, стонала, кричала. Я сидел в соседней комнате как на иголках, думал, вспоминал былое, гадал о будущем... Наконец-то, раздался крик новорожденного. Крик здоровый, ясный, повелительный. Открылась дверь, ко мне зашел доктор, поздравил с благополучным рождением дочери, сказав: "Ну и деваху родила вам Юлия Евгеньевна - богатыря". Через некоторое время, когда мне разрешили зайти к роженице, мамочка лежала бледная, без кровинки в лице. А глаза сияли радостью, восторгом. Когда я ее поцеловал, она сказала: "Посмотри, Гриша, какая хорошенькая девочка". Я посмотрел. В пеленках что-то ворочалось, повелительно орало здоровой глоткой. Признать такой комочек "хорошеньким" могла только мать, носившая и родившая свое дитя в великих муках. Да разве отец, видящий в этом "куске мяса" свое второе Я.

И я поцеловал "хорошенькую" девочку, пицавшую, как жаворонок, вывалившийся из гнезда. Так появилась на свет наша младшая дочь Надюша, естественно, ставшая затем общей любимицей, "лучше всех". Годы шли быстро, события их торопили. В 1911 году Шура окончил гимназию, поступил на медицинский факультет Казанского университета. Почему Казанский университет и почему медицинский факультет? Казань была тогда ближайшим к Перми университетским городом, а медицинский факультет был избран по тем соображениям, что Шура, как болезненный мальчик, должен знать медицину. Леля поступила на Бестужевские курсы и уехала в Петербург. И Леле, и Шуре я посылал по 25 рублей в месяц на полный пансион. И этих денег им хватало "на все", умели распорядиться своими скромными средствами. Сказалась преемственная мудрость матери, сумевшей вырастить, воспитать, обуоть, прокормить столь большую семью при сравнительно ограниченных средствах.

Не приходится распространяться о том, как мы все лелеяли маленькую Надюшу. Не помню точно, когда именно в доме появилось новое лицо, так называемая "Надя Большая", воспитывавшая нашу младшую, любимую дочурку. Для Надюши не жалели никаких усилий, никаких средств, даже в такое время, когда старшие дети быстро росли, требовали немалого внимания. Не сомневаюсь, все дети подтвердят, что при наличии домашней работницы и старших детей, становившихся взрослыми, буквально не было случая, когда бы мамочка сама, персонально не поднималась с постели раньше всех, чтобы самой напоить чаем школьников, снабдить их завтраками, каждому помочь одеться. Этого она никому не доверяла. У нее не было

разницы между пригостишкой и гимназистом 8-го класса. Все ей были одинаково дороги, близки, одинаково хороши.

У меня сохранился отрывок письма Шуры, отправленного из Казани в Пермь братьям Володе и Васе. Юный студентик первого курса поучает в этом письме младших братьев, как беречь любимую мамочку. Это письмо относится ко времени появления у мамочки нервного тика на лице, возникшего после рождения Надюши. Впоследствии эти нервные подергивания прекратились.

28-го сентября Дорогие Володя и Вася! Как вы поживаете? Простите меня, что раньше никак не собрался вам написать. Живу я хорошо, только вот обедаю не каждый день. Иногда дома сварим кофе, купим сосисок - вот тебе обед. А когда пойдешь в кухмистерскую, то и там дадут тебе вместо супу воды кипяченой, а в ней маленький кусочек подошвы. На второе битки (2 шт.), но такие, что я сразу два могу положить в рот. Вот что значит жизнь не дома, где мамочка все сделает вкусно и хорошо. Сегодня получил письмо от папы из Вятки. Оно очень неутешительное. Он пишет, что у мамы опять происходит подергивание левой стороны лица. Это очень скверная вещь и может кончиться очень печально. И вот в чем дело!

Я, дорогие мои братья, обращаюсь к вам, в особенности к тебе, Володя, вполне серьезно и прошу вас подумать об этом. Я не могу винить маму или кого-нибудь в том, что нас плохо воспитали, потому что воспитать девять человек детей дело нелегкое, тем более имея такое доброе сердце, как у мамы. Она даже боится отказать кому-нибудь из нас в чем-нибудь по доброте своей. Сейчас же у нее до того истрепаны нервы, что ее волнует малейший пустяк, который для здорового человека, конечно, ничего не значит. Ты уже настолько

взрослый, что должен понять это, тем более что ты через два года кончаешь гимназию и станешь вполне самостоятельным человеком. Ты знаешь, что лишиться матери такой семье, как наша, - значит, потерять очень много; тем более такой матери, которая всю свою жизнь отдала исключительно нам. Еще раз прошу тебя подумать об этом серьезно и также воздействовать на маленьких. Как идут твои дела в гимназии? Как я жалею теперь, что халатно относился к новым языкам. Все лучшие пособия на немецком или французском языке, так что будешь ли ты инженером, юристом, естественником, - все равно знать какой-нибудь язык необходимо. Жаль только, что все мы осознаем это слишком поздно и не пользуемся всем вовремя. Мне сейчас приходится много заниматься, предметы все серьезные и нельзя их запускать. Некоторые очень трудно даются, а это объясняется только неподготовкой. Ведь ты знаешь, что может дать гимназия - ничего, отсюда ясно, что каждый сам должен с собой заняться, конечно, не латинским языком или Законом Божиим, а серьезным чтением и т.п., чтобы не быть таким профаном, какие в большинстве случаев выходят... (на этом обрывается) Это письмо хранилось у Юлички. Я его нашел после ее кончины, не подозревая о существовании такого письма, делающего честь не только Шуре как автору, но и той, которая сумела воспитать, вырастить таких детей.

В 1911 году я болел ишиасом - воспалением седалищного нерва. Очень страдал, меня лечили дома прижиганиями, а затем отправили в Вятскую больницу. В 1912 году мне дали двухмесячный отпуск для лечения. Чтобы подлечить ишиас и больные ноги, я поехал на курорт Саки, недалеко от Евпатории, и решил взять с собой восьмилетнего Борю.

До моего отъезда на юг мы фотографировались всей семьей, пользуясь приездом наших студентов на летние каникулы - Лели из Петербурга и Шуры из Казани. Долго собирались, готовились к этому снимку и, наконец, 10 июля 1912 года, накануне моего отъезда, снялись. Не помню, по какому принципу фотограф Якунин нас рассаживал, но одно крепко запомнил: настоящее мое желание и требование, чтобы маленькая Надюша находилась у меня на руках. Чем вызвано было мое требование? Я вспомнил снимок семьи моего покойного отца и малыша Акимушку у него на коленях. Меня прельстила столь трогательная идиллия, которую решил повторить. Этот снимок я заказал в таком количестве экземпляров, чтобы каждый член семьи мог получить карточку на память. Это единственный снимок всей нашей семьи в полном составе, с малыми и взрослыми детьми. Мой экземпляр этого снимка храню бережно в своем коллекционном альбоме. Обратите внимание: у ног мамочки Надюшин "мишка", и поныне сохранившийся у моей старшей внучки Леси Коровиной для преемственной передачи кому-либо из ребят дальнейшего потомства. В такой большой семье, как наша, платица, пальто, шубки и прочее шилось не только для самого владельца костюма, но и для младших братьев и сестер.

Такие, переходящие от старших детей к младшим костюмы ребятишки именовали презрительно "обносками". Если не ошибаюсь, лишь одна общая любимица Надюша не носила "обносков". До нее они не доходили, так как изнашивались до отказа старшими. Надюше шили все новенькое, одевали с иголочки. От старших и близких Надюша получала много всяких подарков как общая баловница, выставляемая везде и всюду, как говорили

прежде, на показ. И, надо сознаться, на эти обновы денег не жалели, покупали лучшее, дорогое. Припоминается, например, Надина шуба, которую она носила, пока совершенно не выросла из нее. Затем эта шуба досталась нашей старшей внучке Лесе Коровиной. Потом детям Володи - Ниночке и Шурику. Как будто эта шуба цела и поныне, и ее будет донашивать маленькая крошка Юличка, дочь Надюши.

Во время нашего с Борей пребывания в Саках и Евпатории газеты были переполнены сведениями о юбилейных торжествах, посвященных Отечественной войне 1812 года. Было опубликовано и особое повеление царя предоставить льготы по образованию потомкам героев - участников войны с Наполеоном. Мы давно мечтали одного из сыновей направить во флот. Но эта мечта не могла быть осуществлена: в Морской корпус и гардемаринские классы принимали лишь детей потомственных, столбовых дворян или получивших орден Владимира третьей степени, который давал потомственное дворянство. По приезде с курорта мы обсудили с мамочкой опубликованные "юбилейные льготы" и решили использовать "предков". Нам было известно, что Андрей Григорьевич Криштафович, отец Елены Андреевны Криштафович, по мужу Красногладовой, то есть дедушка Юлички и прадед наших детей, участвовал в войне с Наполеоном, был в Париже, как передавали семейные предания. Короче говоря, он был героем Отечественной войны, и наши дети как его потомки имели право на объявленные льготы. Надо было лишь достать документы.

Мы написали заявление в адрес Полтавского губернского дворянства, за подписью мамочки. Через некоторое время я получил из Полтавы необходимые документы и "Копию копии указа об отставке Андрея Григорьевича Криштафови-

ча". По предъявлении этих документов в гимназиях и реальном училище наши дети были освобождены от платы за обучение. Для нашей огромной семьи эта льгота явилась существенным подспорьем.

Как-то мне пришлось случайно беседовать с одним из воспитателей так называемых гардемаринских классов. Узнав, что мы хотим отдать одного из сыновей во флот и является он "потомком героя Отечественной войны", этот воспитатель мне сказал: "Нет ничего легче осуществить такое желание. Напишите прошение морскому министру Григоровичу лично, приложите все документы, и ваш сын будет принят как исключение, но исключение желанное. Ведь у нас немного потомков героев 1812 года".

Этот совет мы с мамочкой решили использовать для Васи. Юрисконсульт помог написать прошение морскому министру, Юличка его подписала. В этом прошении она упомянула свой "счастливый брак" со мной, не столбовым дворянином, наших хороших детей и просила доложить об этой просьбе царю, если почему-либо министр не сможет взять на себя разрешение этого вопроса.

"Потомки героев Отечественной войны 1812 г." были тогда в моде, документы у нас были, и мы ни минуты не сомневались в успехе. Каково же было наше разочарование, когда через некоторое время мамочка получила из Петербурга огромный пакет за пятью печатями с уведомлением морского министра:

"Ваша просьба не может быть доложена Его Императорскому Величеству". И все. Отчего, почему не может быть доложена? Почему министр сам не разрешил этот вопрос - неизвестно. Я тогда же изорвал эту бумагу и бросил в печь. А жаль. Эта бумага служила бы яркой иллюстрацией. Вопрос,

полагаю, ясен: министр не желал допустить "жида" в командный состав флота, куда евреев не брали даже в качестве матросов.

Привожу подлинный текст удостоверения, полученного из Полтавы.

*Удостоверение*

*Выдано это удостоверение из Полтавского Дворянского Депутатского Собрания Юлии Евгеньевне Вайнштейн, урожденной Красногладовой, вследствие ея прошения, для представления при возбуждении ходатайства о бесплатном обучении ея детей, в том, что, как видно из имеющих в собрании дел о дворянстве рода Красногладовых и Криштафовичей, она, 2-жа Вайнштейн, есть действительно законная дочь Капитана Евгения Ивановича Красногладова и жены его Елены Андреевны, урожденной Криштафович, дочери Капитана Артиллерии Андрея Григорьевича Криштафовича, героя Отечественной войны 1812 года. (Наст. Документ № 941)*

*Октября 19 дня 1912 года.*

Кроме этого удостоверения морскому министру Григоровичу была послана также полученная из Полтавы копия послужного списка Андрея Григорьевича Криштафовича. Там подробно были обозначены походы, в коих он участвовал в войне с Наполеоном, отличия при сражениях и проч., однако министр Григорович не только не счел себя обязанным удовлетворить законную по тому времени просьбу мамочки, но имел дерзость ответить официально, что просьба о приеме сына в гардемаринскую школу не может быть доложена царю.

Таковы были времена. Таковы были нравы.